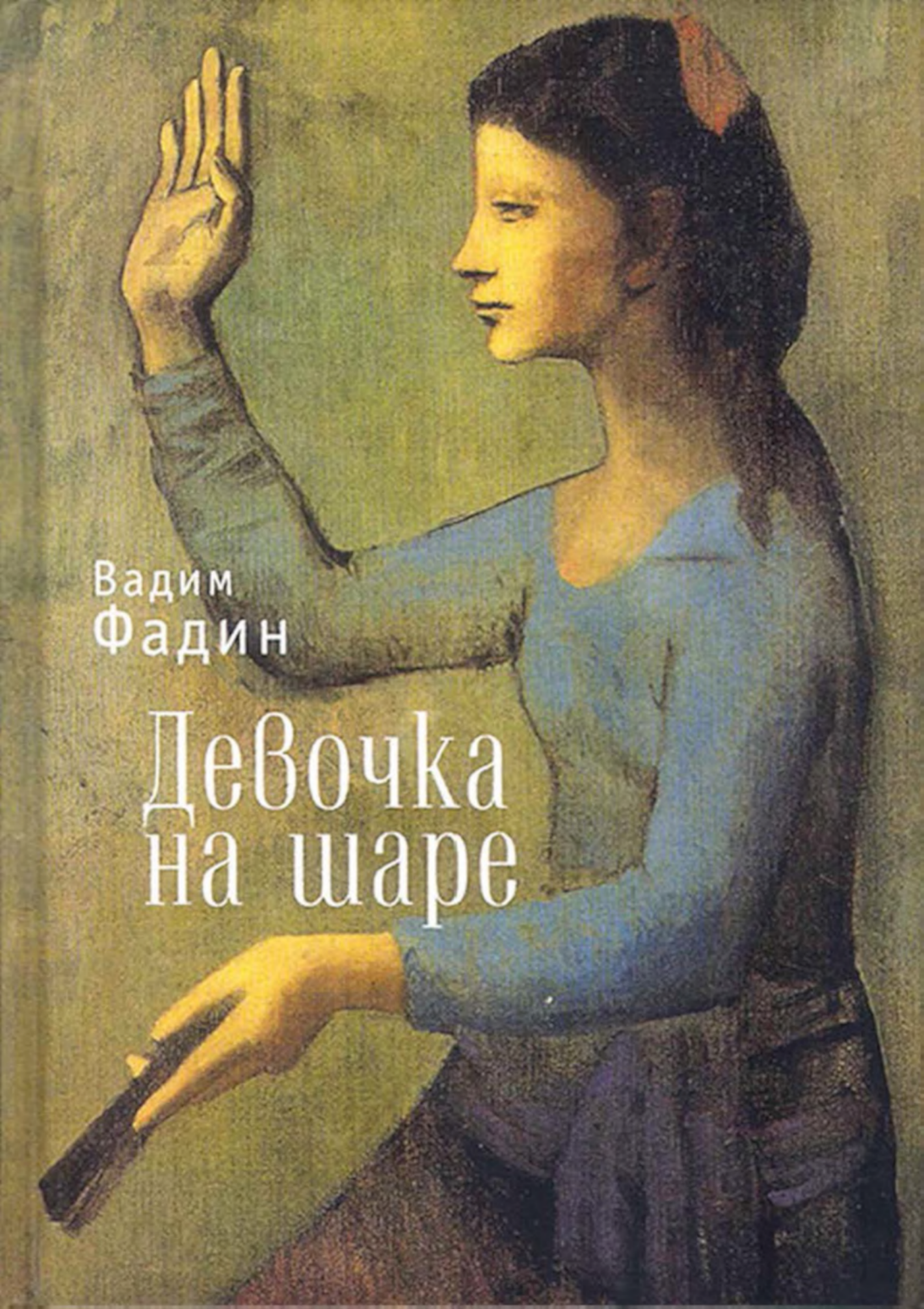

Вадим
Фадин
Девочка
на шаре

АЛЕТЕЙЯ

Вадим
Фадин

Девочка на шаре

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Ф 154

Фадин В. И.

Ф 154 Девочка на шаре / В. И. Фадин. – СПб.: Алетейя, 2018. – 220 с.

ISBN 978-5-907030-33-6

Поэт и романист Вадим Фадин и сам затрудняется определить жанр большинства вещей, собранных в настоящей книге: иные из них – одновременно и рассказы, и притчи, и эссе. Критик Александр Люсый однажды определил так: исходы. В самом деле, персонажи Фадина постоянно ищут места, где можно вообразить себя свободными. Такого места, однако, не найти и на шаре.

С этими не совсем привычными произведениями органично соседствуют и вполне реалистический очерк о собаке, и эссе о литературе.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-907030-33-6
9 785907 030336

© В. И. Фадин, 2018
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018

* * *

Как необычно зренье поутру!
Мне детский мяч — планета небольшая;
там девочка затеяла игру,
пытаясь устоять на шаре.

Ей стоило качнуться лишь слегка$$
и начал шар неверное движенье.
Не задержу его — скользнёт рука,
не догоню (смешное положенье),

в песке увязну: экая напасть!
А мяч — в пути, неровными кругами.
Она ж — довольна. Чтобы не упасть,
переступает цепкими ногами

по шару, глобусу, по маленькой Земле,
встаёт босой стопой, не разрушая,
на горы, крыши, куклу на столе,
на девочку, стоящую на шаре.

Автопортреты:

«Автопортрет редко бывает удачен, ибо в выражении глаз всегда остаётся напряжённость: гипноз зеркала, без которого не обойтись.»

В. Набоков

с музой

Больные своей работой писатели склонны при обострении недуга скрываться от семей. Ещё не так давно им охотно шли навстречу, и в особых домах, где они находили приют, всякому беглецу предоставлялась комната с двумя спальными местами — на случай, если того посетит муза; именно так, убого трепля её имя, пытались шутить многие из попавших в убежище впервые — вот и я оскоромился в своё время, да и позже повторялся не раз, не смущаясь банальностью мысли. В каждой шутке есть доля шутки, но каждая — должна восприниматься всерьёз.

Долгое уединение в ожидании упомянутой девы приводит к частому общению с зеркалами, и постояльцы в писательских приютах настолько не стеснялись своих отражений, что почти неизбежно приходили к мысли сохранить оные для потомков.

Пиша автопортрет, художник начинает с себя. Муза, даже сидящая на коленях, и, тем более, фон обречены дожидаться очереди, и всё же та и другой определяют позу самого автора; для писателя верная — за письменным столом. С этого предмета и начнём.

Удобнее прочих мне казались столы приюта в Дубулты — такие обширные, что редкий писатель успевал захламить их за отведённый ему месяц: для работы обычно хватало какой–нибудь шестой доли их суши, и была особенная прелесть в мечтаниях о путешествии в остающиеся неведомыми уголки; что же касается писательского портрета, то вряд ли кто–нибудь мог придумать для него лучший антураж: над внушительными плоскостями этих столов пристойно выглядели и самые заурядные лица.

Автопортрет — трудный жанр. С одной стороны, прообраз находится под рукой, и если память растеряла какие–то мелочи, то всегда можно обратиться к первоисточнику; в то же время здесь не обойтись без зеркала, а в нём, как известно, правая сторона видится левой — и наоборот; перепутав их, можно ненароком солгать. В дубултских комнатах трюмо стояли рядом со столами, и при взгляде чуть сбоку стекло, я помню, отражало мои раскрытые тетради, а дальше — окно и стены; лишь подоконник мешал включить сюда ещё и море. Выходило, что для меня портрет в интерьере являлся вдобавок и портретом в пейзаже, и это было справедливо, оттого что смолоду только в этих соснах, на этом берегу я мог быть самим собою; красоты природы не сыграли тут решающей роли — скорее, дело было в атмосфере, мало осквернённой большевизмом, от которого в России давно не дышалось. Впервые попав под Ригу ещё мальчиком, я разглядел, конечно, всего лишь новую страну со скромной долей экзотики, но позже, взрослея, мало–помалу стал слышать здесь несравненный запах свободы; чем больше я в ней нуждался, тем лучше и слышал, тем сильнее рвался в эти края — вдохнуть. Только постепенно, вследствие частых моих маленьких эмиграций сюда, мне стала близка и здешняя природа, и я так сросся с её родным обрамлением, что и местные жители нередко обманывались, принимая меня за своего: возможно, за много лет черты лица изменились сообразно картинам местности. Между тем, моих друзей это влияние не коснулось, вот и муза оказалась девушкой русской, без поправок, и я опасался, что попади она в эти места одна, над нею непременно учинилось бы какое–нибудь хулиганство.

Впрочем, будем соблюдать порядок: мы договаривались прежде фона прописать лицо автора (я выбрал внешность, присущую тому в начале восьмидесятых). Рассматривая его, как решено, над столом, полезно попробовать поменять так и этак освещение: может статься, следы улыбок и огорчений лучше проявятся при свете не рабочей лампы, а скупого светильника в пивной: дело в заведённом обыкновении в первый же по приезде на новое место день, пока ещё не начата работа, наведываться в ближайшее питейное заведение, где за долгой кружкой легко разговориться с кем угодно и так узнать, чем нынче жив местный народ. В Дубулты, правда, этот опыт мог бы сорваться, оттого что в собеседники вполне могли попасть отдыхающие из санатория, настроенные, как правило, против здешних жителей, языка и климата; но в этот раз за моим столом сидели пусть и русские, но уроженцы этих мест — строительный рабочий и врач. С доктором мне не понадобилось даже начальной пристрелки: мы

ненароком взяли одну и ту же ноту обиды за свою принадлежность к оккупантам — став соучастниками в грязном деле, мы не знали, как выйти из шайки.

Разговаривая негромко, мы всё же привлекли внимание проходившего мимо парня. Молча прослушав изрядную часть нашего диалога, он наконец попросил спички — по–латышски. Врач протянул ему коробок — с латышским же «пожалуйста». Парень ушёл — мы и не посмотрели, куда, — а через несколько минут официант поставил на наш стол неожиданный (мы ещё не осушили свои) кувшин пива.

— Это вам от латышей, — сказал он.

Опыты со светом оказались успешными: в полумраке зала, усугублённом чернотою дубовой мебели, лицо, по контрасту, обозначилось отчётливо, неосвещённый же фон содержал, видимо, подробности, каких до сих пор не удавалось найти в безысходной столичной жизни. Теперь я был готов к неожиданностям, в том числе и ко встрече с музой. Она не заставила себя ждать.

Как известно, чтобы встретиться с соседом, лучше всего отъехать от дома подальше. Так теперь вышло и у нас с Музой. В Москве я соскучился по ней, москвичке, впадал в панику, воображая, что забываю её, и даже не раз ловил себя на неспособности вспомнить какие–то её черты (тем более, что автопортрет с нею ещё не был написан), а тут от прибытия поезда до нашей встречи прошло всего несколько часов, словно мы сговорились загодя. Муза буквально столкнулась со мной на тротуаре, едва я распрощался с врачом; разговор с ним был настолько свеж, что невольно мелькнула мысль об ещё одной соучастнице.

— Ты нисколько не изменилась, — неловко начал я.

Она и в самом деле выглядела юной, как и несколько лет назад.

Я не стал выяснять, ради кого она приехала на взморье: не хотелось знать о своих соперниках и не хотелось ничего более — да иного и не оставалось, — кроме как пригласить Музу к себе; при этом я предвидел трудности, каких не умел обходить.

В дубултском доме я ожидал соседства с давно знакомыми людьми, в том числе и с такими, с кем знался домами; трудно было решить, как лучше представить им Музу — кузиною, секретарём, но только не женою, оттого что их не могло быть две, и не музою, оттого что это состояние тут обыкновенно не называли вслух — кто из застенчивости, а кто и из суеверия. Она, умница, всё поняла раньше меня и, упреждая, заявила, что станет приходить по ночам, когда я работаю.

— Но сейчас ты не откажешься от прогулки? — с надеждой спросил я. — Вдоль моря?

Никто из знакомых не встретился на берегу. Линия прибоя казалась бесконечной, неожиданные препятствия вроде моста, поворота дороги или винного магазина не могли бы тут сбить с мысли или заставить оборвать на полуслове тираду, и меня поэтому не только не тянуло отделываться в разговоре междометиями, но приятно были следить, как слова во множестве сцепляются между собою, складываясь в протяжные, как кромка моря, цепочки, достойные даже и высокого содержания и рассмотрения их отвне души, что–то вроде: «Чудак, занимающийся не своею душой, а моею, увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею, хотя может быть и печальней того, и, что важно, правее...»

Продрогнув на ноябрьском ветру, Муза не стала дожидаться ночи, а так и осталась со мной, войдя в дом налегке, как минутная гостья, и не вызвав подозрений.

Мы сразу же спустились в бар пить кофе. Точнее, я пошёл первым, чтобы по пути позвонить домой, а она задержалась у зеркала — работать над образом.

Жена не замедлила выговорить за поздний звонок, хотя и сама понимала, что мне прежде следовало осмотреться, чтобы нашлось, о чём рассказывать на второй после прощания день. Я начал с восторженных похвал рабочему месту; впечатление от пивной осталось при мне. Жену более интересовали размеры не стола, а комнаты; я ответил уклончиво, но это не помогло.

— Что, если я приеду на праздники? — предложила она.

До красной даты оставалось меньше недели.

— Это же обычный двухдневный уик–энд, — осторожно возразил я, думая, как это непорядочно: даже не дав мне прийти в себя, снова сбивать с темпа.

— Тебе, по крайней мере, будет с кем выпить.

— Вот уж с чем не бывает проблем, — засмеялся я, оставив за скобками своё отношение к этим так называемым праздникам. — В крайнем случае всегда можно выпить с Музой.

— Жди, когда она тебя посетит.

— Ты не поверишь, но она тут как тут. Неспроста же я так рвался сюда. Вообще, мне всё здесь по душе, и тянет написать и то, и другое, и я уже видеть не могу чистой бумаги: так и хочется марать её, не разгибаясь.

На время визита жены мне пришлось бы разогнуться, но она сделала вид, что не поняла намёка:

— Не ревную я к твоей музе, не бойся.

— Две женщины не уживаются в одном доме.

Разговор закончился на неопределённой ноте.

В баре я оказался единственным посетителем и, оглядевшись, выбрал столик под барельефом Моисея (не под Авиценной же было садиться), откуда через стеклянную стену можно было видеть свою лоджию на втором этаже: мне хотелось, чтобы туда вышла Муза — я сделал бы ей знак, ненужный, конечно, но вместо этого мне пришлось обернуться на стук её каблучков и просто встать навстречу.

Кофе нам сварила красивая молодая женщина, приятно полная. «Эх, не будь здесь Музы...», — начал я, но не стал додумывать до конца.

— Позвонил? — небрежно поинтересовалась подруга.

— И получил пренеприятное известие: она грозится приехать.

— А как же я? — простодушно воскликнула Муза.

— Представь, я задал Розе этот же самый вопрос. Она пообещала не спугнуть тебя.

— Мило с её стороны.

«Увы, никогда, никогда уподоблен не будет Матфею», — с сожалением думал я, глядя, как за окном шевелится под ветром трава, и начиная сомневаться во времени года — ноябрь ли стоит на дворе. До снега, видимо, было далеко, и пейзаж радовал летними, хотя и приглушёнными красками — зелёной, голубой и жёлтой, — положенными, соответственно, на хвою, небо и стволы сосен. Этот вид был ещё не лучшим, мне больше нравился открывавшийся от двери моего номера: коридор сразу за нею заканчивался стеклянным торцом и казалось, что, сделав лишний шаг, можно ступить на берег — на верхушку невысокой дюны; в пределах зрения была композиция из песка, нагого дерева и прибоя. Безлюдный берег я, наверно, мог бы наблюдать вечно, равно как и то, что видел сейчас из бара — поросший блёклой травою бугор. Мой стол был пока недосягаем, только я не бездействовал и здесь, за кофе, пусть приземлившись и пустив корни, но мыслью оставаясь в вольном просторе, не знающем смены сезонов, а то и столетий — вопреки мнению о пресловутом спиральном движении человечества с узнаванием повторяющихся вертикалей. «С земли хорошо различимы витки бесподобной спирали, — проговорил я в том же ритме, что и у моря, — какой–то пружины, чьи кольца пространство души распирали...»

— Кого я вижу!

Как я и предполагал, в доме писателей неизбежны были встречи. Первый же из его обитателей оказался моим знакомым — детективщиком Матвеем («Уподоблен не будет Матфею», — решил я).

— Моя помощница, — представил я Музу, не солгав.

Присутствие девушки Матвей воспринял как должное.

— Когда–то писатели ходили в этот бар пить коньяк, — мрачно заметил он, втискивая за стол своё грузное тело.

— Странные времена, — согласился я и хотел было развить тему сухого закона, но спохватился: — Пойдём ко мне, выпьем за встречу. Как можно догадаться, я привёз кое–что.

Но он не пил во время работы. Мне это было понятно, я и сам противно трезвел от первой же рюмки, по меньшей мере до утра выпадая из того неверного состояния, какое способствует нашему труду. Меняя разговор, он задал вопрос невпопад — о семье. Секретов от музы у меня не водилось, но мой пространный ответ причинил бы ей неудобство. Матвей и сам понял это, быстро перебив себя комплиментом Анечке — мастерице варить кофе.

— А ведь, сдаётся, не женское это дело, — продолжил он о кофеварстве. — Есть что–то незавершённое в этой мизансцене — женщина перед огнём... А хочешь, я подарю тебе, по случаю приезда, тему? Женщина под дождём! Сам бы написал, да не мой жанр.

— Кошка под дождём уже была, — напомнил я.

— Так то — кошка.

— Под дождём — подождём, — найдя плохо спрятанную рифму, я вспомнил давно сочинённое: — Оставьте книгу мокнуть под дождём!

— Экий ты, право, варвар.

— Каюсь...

— И он туда же! Что за мода пошла болтать о покаянии, тогда как всякая мода — это словесность и ложь? Достаточно было выйти фильму, который никто так и не увидел, как его уже цитируют! Да ведь и сама мода — не на покаяние как таковое, а всего лишь на название картины.

— А не могло быть, — остановил его я, ощутив острое желание защитить сразу всех, — не могло ли так быть, что каждый созрел для осознания своей вины или доли в общей вине, и достаточно стало одной капли, намёка, чтобы начался обвал? Хотя, честно говоря, идея общей вины мне не по душе — оттого, что я имею наглость не считать себя частичкой общей массы.

— Это довод только для бесед с самим собой, — махнул рукой Матвей. — Вот, кстати — Бог с нею, с женщиной под дождём, — дарю ещё одну тему: составь книгу из писем самому себе. И ответов на них. В такую вещь вместишь даже больше, чем в дневник.

Мой автопортрет — не сродни ли он такой книге? Я глянул на музу, и она кивнула.

Первое письмо себе я решил написать в тот же вечер, хотя и понимал, что лучше всё же было бы позвонить.

В комнате я начал с того, что подошёл к зеркалу. С лицом, увиденным там, не стоило и пытаться изображать кающегося грешника; любой посторонний скорее нашёл бы, что я тоскую по прежним грехам. К тому же и с композицией тут обстояло непросто: центральной фигуре пристало либо пасть ниц, либо прятать, в пароксизме раскаяния, лицо в ладонях — но как, скрыв таким образом черты, передать сходство? Для этого надо быть мастером. Мне же больше нравился первоначальный замысел — человек за огромным столом. В обоих случаях, правда, не находилось места для музы (позу Саскии я отверг как избитую), — мне словно намекали на необязательность видимого её присутствия; невидимого же я ожидал вдоволь, во всяком слове или мазке.

В другой обстановке я бы долго мучился, выбирая, теперь же особенно не раздумывал, да и Муза помогла подсказкою, и принялся за дело, не представив толком, как будет выглядеть готовое изделие, а записывая подряд всё приходящее в голову — в надежде разобраться после. Наверно, никто другой не сумел бы лучше использовать отведённое время: до приезда жены мне удалось сделать то, на что в другой раз ушёл бы месяц, и всё ж она приехала некстати: мой запал ещё не иссяк, и до естественного перерыва в работе было далеко.

День приезда Розы пропал для письма целиком. Встав ни свет, ни заря, я собирался заняться делом до завтрака, но обеспокоился отсутствием музы; я не нашёл её ни в доме, ни у моря. Берег был, как всегда, безлюден, только вдалеке, на пределе распознавания, угадывалась расхристанная фигура, вполне способная оказаться Матвеем; тотчас выяснилось, что фигура не одинока, из-за неё выдвинулся кто-то поменьше, и я возомнил, что узнал Музу. Сам виновный во всём, ибо кому, как не мужу, пристало справляться с женою, я почувствовал себя неважно. Отвернувшись, я увидел в противоположной стороне ещё одну пару, снова опознав Музу, и понял, что отсюда надо уходить.

Добираясь потом до вокзала, я всё придумывал оправдания, утешения и способы извлечь пользу из нового положения; единственным, что нашлось светлого, была возможность без лишних потерь посвятить воскресный вечер органному концерту. Радость от этого вышла, однако, слабая.

В первую ночь, едва Роза уснула, я тихонько выбрался из постели и сел за стол, хотя и знал, что так, с налёту, не напишется ни строчки: мне всегда требовалось, разогреваясь, подолгу просиживать над чистой страницей, прежде чем находилось, что писать; нынешнее же настроение и подавно никто не назвал бы рабочим. Внутренний голос советовал не тратить время попусту, но я упрямился — и, не

просидев и десяти минут, услышал, как кто-то поскрёбся в стекло. Первая отгадка — синичка! — была простой и неверной: птицы спали, ночных же будто бы не предполагалось в здешних краях. Пришлось встать и отворить балконную дверь. В комнату проскользнула Муза. Я нервно оглянулся на жену — она не шевельнулась; чтобы не разбудить её, пришлось надолго отложить выяснение того, как девушка очутилась в лоджии — не сидела же она там весь вечер, — а лишь пробормотать под нос что-то об опасности любительского скалолазания.

— Посижу у тебя, — шепнула девушка, устраиваясь в кресле.

Внезапно я успокоился. Убеждённость в том, что письмо при гостях — пустая затея, пропала вместе с опасением, что проснётся жена; устроившись на рабочем месте, мне ничего не оставалось как что-то написать, чтобы глаза не раздражала пустая бумага, и первые слова, сменяя на пробу друг друга, затолкались в голове. Радость по этому поводу оказалась преждевременной, потому что меня скоро сморил сон — так скоро, что не удалось дойти до постели, а просто — уронить голову на исписанный лист (что-то всё же успело там написаться). Сон длился, наверно, всего несколько минут, но за это время Муза успела уйти. Прочтя написанное под её немую диктовку, я сказал себе, что теперь заслуживаю и сна в постели.

Нужно было надеяться, что Муза сумеет прийти и следующей ночью; так и вышло, но она перестаралась.

Мы с женой лежали ещё обнявшись, ещё только возвращались, каждый — своим путём, в будничную обстановку комнаты, как я услышал, что к нам скребутся — на сей раз в дверь.

— Что это? — сонно пробормотала Роза.

— Кошка тут бродит. Под дождём.

Наверно, мы говорили достаточно громко, чтобы нас услышали в коридоре — во всяком случае, там перестали скрестись. Всё сошло бы гладко, как накануне, если б я не забыл запереться на ключ. Едва жена ушла в ванную, как входная дверь скрипнула, и в проёме показалась Муза — в шубке, в пуховом платке. Мне было от чего прийти в ужас, и я чуть не замахал на девушку руками, но, встретив её спокойный взгляд, только вздохнул. Сняв сапоги, она забралась с ногами в кресло; к тому времени я успел натянуть джинсы, но не был уверен, что Роза выйдет в халате.

— Полночи шлялась по пляжу: тянула время, — пожаловалась Муза. — Ноги закоченели — как ледышки. Зато принесла тебе в подарок свечу. Она горела в песке, у самой воды.

Я стал греть её ступни в своих руках; когда–то, в школьные годы, на катке часто приходилось таким манером согревать озябших подружек. За этим занятием и застала меня Роза.

— Оригинальный сюжет, — заметила она, остановившись на пороге; халат на ней был, но застёгивать его Роза сочла излишним.

— Вечный мой соавтор, — продекламировал я, представляя ей Музу если и не помощницей, то товарищем по несчастью — и нисколько не покривив душой.

— Надо думать, и главный твой герой? — ехидно продолжила цитату жена.

Девушка зябко поёжилась, и Роза заметила это.

— Не хотите ли чаю? — предложила она, ещё не понимая своеобразия своего туалета.

Муза покосилась на хорошо ей знакомую китайскую заварную кружку с крышечкой.

— Я вскипячу, — назвался я.

— Хотелось бы лечь, — протянула жена, обратив, наконец, внимание на своё дезабилье, но не принимая запоздалых мер.

— Такой ветер у моря, — пожаловалась Муза, деликатно отворачиваясь.

— Я читала что–нибудь ваше? — вежливо поинтересовалась жена, уже со своего законного места в постели.

— Если она — вечный мой соавтор... — постарался я свести всё будто бы к шутке.

— Но я впервые слышу, что ты...

— Возле «Перле» пьяные устроили танцы в воде, — продолжила Муза. — Языческое буйство, притягательное и страшное.

— Без стриптиза, надеюсь?

— Что–то было похожее прежде, в теченье веков, — пришла в голову строчка, и я взял карандаш. — Кажется, мне придётся поработать часок.

— С соавтором?

— Не помешаю, — произнесла Муза, не ставя ни чёткого знака вопроса, ни точки.

— Жаль, что я не догадалась тоже уйти к морю, — произнесла Роза с возросшей едкостью. — Одна! Ночью! Было бы что вспомнить.

— Не всё потеряно, — огрызнулся я, возясь с кипятильником.

— Какая наглость!

— Почему же? Если тебе хочется...

— Хочется? Танцевать голой в воде, чтобы ты потом растирал мне ноги? Теперь ясно, отчего ты с таким удовольствием ездишь сюда в самое непотребное время, в слякоть...

Погода стояла сухая и ясная, а слякотью мучились как раз в Москве, но я не возразил: развивая тему, не избежать было б упоминания о прежних свиданиях с музой.

Наверху, в комнате Матвея, послышались шаги. Он не признавал домашних тапочек и вечно стучал каблуками у меня над головой, безумно раздражая не самим звуком, вполне безобидным, а именно непривычкою менять обувь.

— Выхаживает интригу, — неприязненно заметил я, утверждаясь в мысли, что нет, не будет уподоблен. — Лучше бы обдумывал свои преступления, лёжа в ванне — есть же классический пример.

— Можно сказать ему, — отозвалась Муза. — Если нужно, я схожу.

— Нет, нет! — перепугался я. — Ни за что. В крайнем случае — вот же телефон.

Недоставало ещё, чтобы она ушла к другому; случись так, мне стало бы не до изящной словесности.

— Вы, собственно, где живёте? — вдруг спросила жена.

— Это зависит... — замялась девушка. — Впрочем — в Черёмушках.

— Милое название. Но я спрашиваю не о Москве.

— Уже поздно, — прервал я затянувшийся дамский разговор. — Попробуй заснуть. А мне и в самом деле надобно немного посидеть.

Бросив на прощание яростный взгляд на Музу, жена отвернулась к стене. Честно говоря, я не ожидал от неё такой терпимости. Разумеется, Роза не собиралась засыпать, а думала подслушивать и подсматривать, но это было её право, и это не могло помешать нам. Она только попросила уменьшить свет — ненужно, оттого что и так единственным освещённым предметом в комнате был мой блокнот с набросками автопортрета; трудно было представить, как это великие писали при одной свече.

Сейчас свеча, отражаясь в зеркале, мешала различить другое отражение; моё лицо ещё кое–как угадывалось (особенно — очки), очертания музы приходилось уже воображать, зато жены как бы и не существовало вовсе — настолько она по–рембрандтовски растворялась в тёмном фоне.

с понятыми

Работа сочинителя перед зеркалом трудна тем, что, описывая себя, неловко бывает давать волю воображению; то, что в других случаях называлось бы художественным вымыслом, здесь считается ложью, и если в вольных сочинениях третьи лица дозволяется наделять попутчиками, преследователями, супругами либо конвоирами или же, напротив, щедро одаривать уединением, то при честном письме от первого лица не удаётся ни приблизить к себе кого–нибудь лишнего, ни про-

гнать навязавшихся чужаков. Последние бывают столь настырны, что, пиша себя, устаёшь замалёвывать то и дело проступающие на фоне многие лица соглядатаев, и стоит ненадолго отвлечься, как мирный автопортрет начинает походить на картину Босха; диву даёшься, каких уродцев посылают доглядывать за мною. Если же отступить от такого полотна подальше, чтобы их подлые черты стали неразличимы, получается, пожалуй, только хуже: рассыпанные по холсту их физиономии видятся тогда нездоровой розовой сыпью, как при краснухе или кори. Мне и в самом деле уже в довольно зрелом возрасте (далёкое это было время) пришлось переболеть краснухой; раньше она считалась детской болезнью, но на моих глазах поражала и взрослых, почему–то оказываясь наиболее опасной для художников — неважно, поэтов или живописцев. Вызывающий её микроб с годами совершенствовался, народные средства вроде суровых или красных ниточек скоро устарели (кроме водки, конечно, — не исцелявшей, но приносившей верное облегчение), и приходилось выдумывать всё новые лекарства; говорят, будто наконец нашли даже и подходящее, да наш терпеливый и не падкий на новинки народ так долго собирался его испробовать, что одна болезнь перешла в другую. Лечась у себя дома и по–своему, то есть соскабливая старые мазки жёсткой щёткой, я однажды переусердствовал и счистил с холста вместе с сыпью и собственное, выписанное с огромным трудом лицо — очень кстати, потому что когда меня вскоре призвали к ответу неизвестно за что, я сумел привести замечательный довод: вот оно, дело жизни, моё полотно, на котором соглядатаи есть, а меня — нету. Врачи, впервые наблюдавшие сыпь в отсутствие пациента, только переглянулись; он же, мнимый больной, возгордился изобретением нового жанра — автопортрета в состоянии алиби.

Итак, поинтересоваться моим бытием пришли — без меня. Помимо непременных уродов в компанию затесались и двое понятых: немолодая лифтёрша Лида и сапожник дядя Паша, живший на первом этаже, возле лифта, в каморке без кухни и уборной: как раз напротив его двери и сидела на своём жёстком стульчике востроносая Лида. О них известно было то лишь, что одна «стучит», а второй — пьёт, как сапожник; думаю, что Лида о нас знала куда больше.

Этой паре, видимо, следовало бы поразиться убранством жилища, по нашим представлениям — скромного (о том, как жили они, я мог судить лишь по виду дяди–пашиной каморки, дверь в которую вечно стояла настежь, так что всякий входящий в лифт видел, что вся её обстановка состоит из лежанки, стула да сапожной оснастки; где и как жила Лида, можно было — и не хотелось — только догадываться). Они и

впрямь были поражены — я бы никогда не догадался, чем: отсутствием кабинета; Лида так и спросила: «Где же они работают?» Мой ответ был бы непрост: я и сам не понимал, как во всей просторной квартире не нашлось места не то что для рабочей комнаты — дерзкая мысль о ней даже не приходила мне в голову, — но и для письменного стола: для письма я использовал чертёжную доску, кладя её одной стороной на деревянный подлокотник дивана, другой — на рояльный винтовой табурет, наращённый стопкою книг. В этом доме не верили в необходимость моих умственных занятий, отчего, наверно, о них и узнали чужие. Лида, едва ступив в прихожую, сразу завертела головой, ища место преступления; но моя доска в отсутствие хозяина всегда стояла за шкапом.

Всё же вопрос о кабинете, едва заданный, повис в воздухе: уже стало ясно, что тут не хватает большего. Понятым было невдомёк — я и спустя долгое время не хотел объяснять им, — что на сложившейся картине осталось белое пятно, что там присутствовали и случайные прохожие, и они сами, понятые, и мелочи антуража, я же был тоже, но — не там.

Родители на эти дни куда–то уехали, и моим сестре и подруге, ещё не ставшей женою, а в сей неподходящий момент забежавшей отдать какую–то книгу, пришлось играть роль хозяек. Неуверенность незваных гостей они почуяли сразу, и если сестра потерялась и сама, то подруга, смекнув, улучила момент и на всякий случай осторожно проводила дядю Пашу на кухню. Делом минуты было налить ему чайный стакан водки.

— Надо соблюсти, — к её великому удивлению, возразил он и аккуратно слил половину обратно в бутылку, а выпив залпом остальное, проговорил, наверно, обо мне: — Порядочный был мужик.

— Что это вы — словно о покойнике? — возмутилась моя девушка.

— Так ведь другая слава пойдёт.

Слава и впрямь в любом случае теперь ожидалась иная; задумавшись об этом, подруга не слышала, что понятого уже звали, хватившись. Тот, доедая на ходу огурец, ушёл незаметно для неё, хотя с первого раза и не вписался в дверной проём: половина стакана была, видимо, не первою. За его дальнейшими приключениями в дороге не наблюдал никто, и никто не помог ему выбраться из стенного шкапа, куда он забрёл вместо комнаты. Меня, впрочем, не было и там.

Искали, однако, не меня, а какую–то мелочь — бумажную, разумеется. Сестра, выдерживая расспросы, разводила руками: с каких это пор я позволял ей знакомиться с глубинами портфеля, в котором, за неимением стола, хранился весь мой жалкий архив? Настойчивые требования пришельцев скоро подействовали, и она раскаялась, но помочь

им всё равно не могла. Чертыхаясь, те продолжали действовать самостоятельно, но без толку, и даже ставшая венцом всего разделка свежего судака (мы жили над рыбным магазином) не принесла им успеха.

— К допросу, к допросу надо переходить, — вдруг занервничал младший из сыщиков, не совсем ещё урод, а всё–таки карлик.

— Без субъекта?

— Сами справимся. А понятые подтвердят.

Усевшись друг напротив друга, они принялись допрашивать с пристрастием. Поначалу дело шло споро: имя, отчество, год рождения были известны заранее, год смерти они, к счастью, прочеркнули, и лишь с особыми приметами вышла заминка; пришлось призвать на помощь женщин, но и это не помогло, оттого что те разошлись в оценках — заспорили, например, о цвете моих глаз: сестра настаивала на сером, подруга — на голубом, а лифтёрша твердила об очках. Истина в споре не родилась (участники не были единомышленниками), и главный из тех двух писарь решительно проставил в нужном месте «б/ц», что означало: без цвета. Находись я рядом, запись рассмешила бы меня, но я узнал о ней позже, слишком поздно, и тогда испугался за автопортрет, отчаянно не желая малевать себя белоглазым, но вскоре, впрочем, вспомнив о своём праве на художественный вымысел и тем успокоившись.

Разделавшись с формальной частью, гости принялись сочинять скучный боевик, отчего понятые окончательно перестали понимать, что к чему. Лида то и дело вздымала взгляд к стенным часам, словно ждала, не могла дождаться моего возвращения, а дядя Паша на глазах терял всякое представление о действительности. Сдавая, он тщетно пытался что–то сказать лифтёрше, тоже изменившейся от волнений настолько, что первоначальное сходство её с доберман–пинчером, курящим папиросу, переменилось на сходство с чёрной крысою. Мычание сапожника мешало ей прислушиваться к говорившемуся в комнате не для неё, но едва она будто бы невзначай прикрыла рукою ухо с его стороны (а с другой, наоборот, приставила ладошку раковинкой), как дядю Пашу наконец прорвало:

— А сапоги у другого чинил, — торопливо, пока получалось, посетовал он.

Между тем уродец уже предъявлял какие–то бумаги — будто бы найденные, а в действительности минуту назад сочинённые им самим: строчил он усердно.

— Мы неграмотные, — трезво предупредил сапожник.

— Мне лучше знать, — охладил его уродец, от которого несло сырой рыбой.

— Наше дело извозчичье, — смиренно проговорила Лида, потупив острые чёрные глазки. — Куда велят, туда и едем.

Куда ехать, не знал сегодня никто; не обнаружив моих бумажек, сыщики поскучнели и, наверно, давно бы уже исчезли, когда б их не удерживали запахи из кухни (рыба ещё не подрумянилась). И всё же им не повезло: на исходе жарки прозвенел телефон, больший уродец забубнил в трубку о своих достижениях, но на том конце провода слушали плохо или плохо слышали и, перебив, призвали агентов в контору. Заторопившись, те не сообразили, что должны увести с собою понятых.

Оставшаяся без командиров Лида притворно вздохнула:

— Жди теперь до ночи, пока о нас вспомнят.

— Теперь совершенно нечего ждать, — испуганно возразила подруга. — О вас не вспомнят никогда, и лучше, не теряя времени, распорядитесь собой сами. Можете хоть махнуть на какую–нибудь из великих строек коммунизма, хоть что.

— Нас тут как будто на пост поставили…

— Только будто. Вот, рыбки поешьте — и свободны, — нашлась сестра.

Так им всем и запомнилась эта вечеря, в масштабе один к трём: четверо едоков рыбы. Не хватало, правда, летописца, чтобы увековечить действо: я появился через день. Ничего не подозревая, помахивая тем самым портфелем, я взбежал, пропуская ступени, к лифту — и остановился, удивлённый пространными словами Лиды, с которой мы обычно только раскланивались, не более:

— Тут позавчера искали…

— Что или кого?

— Сдаётся, вас. Хотя, раз не устроили засады, то, может, бумагу какую?

Неопытный, я всё–таки подумал, что она, видимо, таким манером предупреждает, и надо уносить ноги — и унёс бы, если б на голоса не выглянул дядя Паша.

— Что она болтает? — довольно связно выговорил он. — После нас там никого не осталось. Сам я, правда, не помню.

В квартире и в самом деле не было ни сестры, ни засады — я почуял это ещё с порога, как часто чуешь особенную пустоту помещения, из которого все ушли, но не поленился заглянуть за шторы и в шкафы (честно говоря, из последних меня интересовал только холодильник). Не найдя ничьих следов, я включил магнитофон — выбрав, по настроению, концерт Сары Воэн, — и, выпив отцовской водки, задумался над своим положением. Получалось, что спасаться бегством можно

было погодить: в хронике минувшей недели мои черты не запечатлелись. Ничего бы не изменилось и в том случае, если бы в эти дни я вообще не жил на свете: я не отбросил тени, зато приметы сапожника и лифтёрши, о роли которых пока приходилось гадать, явно были где–то отмечены — неважно, где. Самым скверным было то, что они все знали обо мне что–то, а я сам пребывал в неведении — относительно и этого «что–то», и тайных их намерений. Будучи единожды призваны, они могли счесть своим долгом продлить начатое и отныне присутствовать при каждом моём действии — всякий заметил бы, как отчаянно хотелось этого Лиде. Лишь бедному сапожнику было не до того: он либо пил, либо зарабатывал на водку, приколачивая бесконечные набойки. Перед моими глазами так и стояла несуществующая картина Босха, в самом уголке которой (внизу слева) тщательно выписанные уродцы обжирались жирной рыбой, а рядом с ними, сгорбившись, тачал сапоги знакомый человек. С волнением я всмотрелся в остальную толпу — моего лица, слава Богу, не попалось, как не попалось и сирой безликой фигуры. «Что ж, пусть пишет», — позволил я незнакомому автору.

Вскоре приехали с каких–то берегов родители. Не знаю, что поведала им моя сестра, только они ничем не показали, что знают о происшедшем. И в те же дни умер дядя Паша. Проститься с ним пришло на удивление много народу. Протиснувшись при выносе тела вперёд, я вдруг понял, что не смею заглянуть в открытый гроб: ещё неизвестно было, чьё лицо придётся там увидеть.

берлинские

«На фоне Пушкина, и птичка вылетает...» Отчего–то, снимаясь, надобно помещать себя непременно «на фоне», и ярмарочные фотографы малюют для этого изумительный антураж; их жертвам остаётся только просовывать голову в дырку, навстречу птичке. Художников, пишущих кистью, часто занимает нечто другое, и бывает, что, работая портреты, они пренебрегают подробностями обстановки: им попадаются настолько разные лица, что дай Бог хотя бы разгадать выражение каждого — тут уж не до плохо различимых околичностей. Иное дело автопортреты: сколько их не пиши, изображаемые черты остаются одними и теми же, разве что портятся от времени, и повторение их может надоесть так, что коль скоро всякий раз не дозовёшься Саскии, то придётся выдумывать всё новые и новые костюмы и декорации — сдерживая себя, чтобы соблюсти меру и не вынести природные черты вообще за скобки. Тут хорошо бы иметь особые воображение и ловкость, потому что подходящего фона может не иметься вовсе и его поиски превратятся чуть ли не в цель жизни, когда во всём уже так и будет мерещиться один фон, фон, фон; вот и я в России существовал, литератор, вне издательств, а позже, когда вокруг начались перемены, то — вне собраний единомышленников, так что если и различался кем–то, то словно бы и не на сцене, а в пустоте; только попав в новую страну, я в многочисленных отражениях увидел не себя, а, чего не ожидал, себя — в ней.

Автопортрет в день рожденья

Автопортреты, понятно, пишутся не всякий день: и жизнь прекрасна, и мир нескучен, а своё лицо — что ж, оно всегда под рукой, и не расскажи о нём нынче, оно и завтра не убежит — разумеется, о случаях его потери я наслышан и, как водится, полагаю втайне, что дурное происходит лишь с другими, более того — с незнакомыми, и раз так, то избранное нами дело можно откладывать до бесконечности, то есть, видимо, именно до потери лица, воспрепятствовать чему могут лишь сила воли и твёрдо назначенные сроки. Для нашей своеобразной (буквально: свое–о'бразной) работы наверняка известна единственная благоприятная пора, вроде парада планет или дня ангела; но последний — день, всё–таки, не мой, но ангела, тёзки–великомученика, моим же, по праву, скорее окажется день рожденья. Его и выберем.

То, что в этот день трудно, как и при сухом законе (привет Дос Пассосу), оставаться трезвым, значения не имеет, поскольку портрет призван отобразить лицо — цветущее ли, мёртвое, постное или оживлённое вином — любое, подобно тому, как всё это с оригинальным пристрастием отображают зеркала; не стоит мучиться, пытаясь решить, пить ли, не пить либо пить, но поняв систему, коих известно великое множество: сколько людей, столько и систем. Поскольку и я человек, то не премину внести свою лепту: пить можно сколько влезет, но только если не собираешься потом перейти от обеденного стола к письменному. От доброй чарки мой бедный ум надолго теряет способность витать в придуманном пространстве, вылавливая там метафоры; иное дело, если после нескольких дней непрерывной работы колёсики в голове раскручиваются так, что остановить их хотя бы на ночь возможно лишь силой — тогда и пригождается пресловутая чарка. Моё правило годится, однако, для любого в любом месяце числа, но не для дня рожденья, когда приглашённые в дом вправе обсуждать изменившиеся за год черты виновника торжества независимо от его состояния.

В этот раз не нашлось ни званых, ни избранных, а местом действия стала крохотная японская закусочная, куда я через весь город приехал отведать саке. Не перечесть напитков, перепробованных мною за десятилетия практики — от самогона и технического спирта до всяческих джинов, грапп, текил и ромов, — и только вкус тёплого саке оставался незнакомым. Вот я и решил сделать себе подарок, заполнив пробел.

Не различив вывески, я было прошёл мимо нужного заведения: заглянув на ходу в окно, я предположил внутри контору либо мастерскую — скромность обстановки отвечала моим представлениям скорее о недавней советской, нежели о японской культуре. Три полочки на стенах, составлявшие всю мебель по эту сторону прилавка, не располагали к долгой трапезе и исключали всякие мысли о гейше на коленях.

Счастливчик Джим из смешного романа Кингсли Эмиса умел состроить гримасу человека, съевшего лимон; отчего же не — выпившего саке? Возможно — благодаря знакомству автора с предметом: принявшие это причастие знают, что одна общая мина тут невозможна. На лице впервые выпившего, когда бы за ним наблюдали с улицы (увы, Паризер штрассе немноголюдна), легко можно было бы увидеть изрядную гамму отражений: ожидание подвоха, решимость, озадаченность, разочарование и наконец — снисходительное одобрение. Закуска изменила бы названный ряд, но русскому человеку обойтись без неё проще, чем заказать — из–за неумения есть палочками и незнания того, полагается ли вообще закусывать саке. Впрочем, независимо от ответа художник из России, а тем более — автопортретист, не понимающий иноземной манеры пить, не заедая — не занюхивая, хотя бы, — непременно сунул бы в руку модели ржаную корочку.

В нашем списке упущено ещё одно выражение лица: восхищение тем, как был подан напиток: в горячем керамическом кувшинчике, изящно перевязанном, чтобы не обжечь пальцы, бумажной ленточкой.

Здесь уместно вспомнить одну нашу соотечественницу–туристку, искавшую в Японии семена икебаны.

Автопортрет на империале

Кстати, о птичках: впервые оглядывать новые места удобнее всего с высоты птичьего полёта. Такая точка зрения достижима не везде и не тотчас: рождённый не ползать, наш прямостоящий брат всё же вынужден тут прибегать к помощи кое–каких орудий — если не крыльев, то хотя бы лестниц; по одной из них можно взобраться на второй этаж автобуса сотого маршрута, известного торопливым приезжим, согласным за неполный час получить неполное представление о Берлине: он идёт из восточного сектора, через его безобразный центр, к центру — западному, каковым считается Цоо, район зоопарка; виды обоих несравнимы, равно как и прочие парные пейзажи обеих частей города, как и черты недавних разных Германий, которые всё ещё, вопреки Киплингу, пытаются сойтись вместе.

Проезжая через город, турист видит различия лишь в архитектуре, прочие же если и заметит, то не осознает; но и застройка может сказать о многом — о том, например, что после войны на Востоке, не помня родства, сносили развалины, чтобы на их месте построить уродливые, по советской моде, коробки, а на Западе немцы свою половину восстанавливали такою, какой была. Вот и нужную нам сегодня автобусную остановку окружили панельные дома — более, конечно, аккуратные, чем в каком–нибудь Свиблове, но и менее, чем там, уместные.

Город, между тем, состоит не из одних фасадов; почти не зная восточной зоны и вздумав прогуляться почти от дома до остановки пешком, я поневоле вспомнил петербургские тротуары, которым, жалея обувь, предпочитал, в нарушение правил, проезжую часть (не на Невском, конечно, а там, куда не водят экскурсантов); пробыв в северной российской столице неделю перед самым отъездом в Германию, я понял, почему тогдашний питерский мэр проиграл выборы. Возможно, сейчас я применил нечестный приём, использовав столь сильное сравнение: стенам и панелям Санкт–Петербурга (последним — в одном только смысле) по своему состоянию далеко даже до гэдээровских, но надо понять и автора, живущего на другой половине.

Так или иначе, позировать перед зеркалом я пока не мог: лицо, из–за воспоминания о родных дорогах, было менее, чем когда–либо, достойно кисти.

Итак, автобус рванул на Запад (именно так, рванул: эти туши отличаются удивительной резвостью, так что ездить в них стоя непросто — но ведь почти никто и не стоит), и уже через пару минут по левую руку открылся парк; чего–то в этом роде я и ожидал — Берлин очень зелен, в нём не счесть скверов, парков, кладбищ и даже садовых участков с крохотными дачками, и при своих поездках наземным транспортом я только и знал отмечать: вот у этого пруда, вот по этим аллеям я ещё не гулял, да ведь негде было взять на них на всех время, отчего и пришлось теперь глядеть поверх крон и оград, постигая законы перспективы с империала, откуда можно увидеть удивительные вещи, особенно если сидеть в первом ряду; глядя тогда не вбок, а вперёд, никак не удаётся соотнести расстояния и углы зрения, и всякий раз, когда у кра-

сного светофора автобус подкатывается к остановившейся там легковой машине, мне, оттого что я довольно скоро перестаю видеть её впереди и внизу, кажется, что водитель не рассчитал или забылся и сию секунду произойдёт авария, да и произошла уже, и наша громада либо заглотала несчастную машинку почти до передних фонарей, либо расплющила в тонкий лист жести. Однако обычно обходится без происшествий, что выясняется тотчас, едва зажигают зелёный свет.

Моей соседкой на переднем диванчике оказалась молодая блондинка. Она подняла ноги на поручень, ограждающий стекло, но не прямо перед собою — так ей тесно было бы, — а захватив и мою сторону, и мне прежде пейзажа приходилось различать её розовые пальчики, довольно подвижные; по мере нашего углубления в город девушка то, казалось, указывала вторым пальцем куда надо смотреть, то — большим — обозначала своё восхищение увиденным: во! Боюсь, что из–за этого я пропустил за окном много примечательного. С другой стороны, будь стекло зеркальным и я наконец принялся бы за автопортрет, мне бы очень мешало отражение её тупоносых подмёток (в каталогах выставок так бы потом и значилось: «Автопортрет с подмётками неизвестной дамы», тушь, помада, лак, настоящая кожа»).

На третьей или четвёртой остановке некстати появился фотограф. Чтобы причалить, автобус тупо наезжал на него, обеспокоенного лишь наведением в мою переносицу своего дальнобойного ствола и препятствием тому в виде всё тех же нелепых подмёток с приставшей жвачкой на одной; сначала я, видя не то и не с той стороны и считая помеху прелестным украшением, не понимал его промедления. Понемногу наша машина подмяла под себя этого смельчака, которого я уподоблял партизану со связкой гранат, однако взрыва не последовало, а минуту спустя на нашем этаже появился сам народный герой, живой и невредимый.

— А я вас узнал, — заявил он по–русски, усаживаясь через проход от меня.

Видимо, я переборщил с рассылкой автопортретов по телевидению.

— Фотооператоры вам не требуются? — не теряя времени, на всякий случай поинтересовался он.

— Думаю, что они не требуются в фотоателье, что через дорогу от студии. А нам не требуются ни телеоператоры, ни ведущие программ. С работой нынче туго.

— Чем чёрт не шутит. Всегда лучше спросить, чем промолчать — чтобы потом не думалось. А классный здесь получится кадр: вы и эта девица вверх ногами.

— Получился бы, когда бы вы сменили объектив: в такой тесноте с телевиком делать нечего.

Сменной оптики у него не нашлось, и снимок пропал. Один Бог знает, какие приключения ожидали бы меня, не забудь он дома свои принадлежности. Потом мне всё мерещился этот не снятый кадр, вовсе не предосудительный, попади он в добрые руки, — единственный след, который остался бы от моего путешествия на империале; без него же — блондинка, выйдя где–то на полпути, пропала навсегда. Немного спустя сгинул и фотограф. Мне не было и нет до них дела, но, быть может, нам неспроста приходится ежедневно расставаться навеки с десятками, а когда и с сотнями людей: этим поддерживается постоянное ощущение потери.

Между тем, кое–кого из них следовало бы забывать ещё до встречи.

Теперь со мной не было ни отражения, ни соседей; оставалось смотреть в окно — запоминая либо вспоминая. Слава Богу, за разговорами я не заметил, как мы миновали Александер–пляц, и теперь катили по улице, с которой когда–то началось моё знакомство с Берлином. Будучи тогда здесь проездом и имея в распоряжении всего два или три часа, куда ещё мог я пойти? Берлин — не Париж, и мне по книгам была знакома одна Унтер–ден–Линден (что на русский переводится примерно как Подлипки — москвичи меня поймут); на неё мы с женой и направились. Дело было зимой и вечером, то есть давно стемнело, но голые липы не мешали смотреть на противоположную сторону — только смотреть оказалось не на что, не находилось чудес зодчества, а лишь — очередные коробки. Разочарованные, мы всё же дошли до Бранденбургских ворот, возле которых вовсю шла стройка и за которыми было черно (ещё и мороз трещал не по–немецки) и пусто — правда, я знал из карты, что там начинается Тиргартен, парк. Повернув восвояси, мы были вознаграждены, найдя в другом конце улицы прекрасные старинные здания — последние, быть может, приметы бывшей империи. Позже я проходил здесь не раз, но и по сей день не привык и всё радуюсь им. В сегодняшней же поездке подобные здания были не последними — впереди ждал дворец Бельвю; прекрасный дворец — но вот тут–то Санкт–Петербург и Петергоф вспоминаются уже с другим чувством.

Лицо, как знают живописцы, у каждого своё, и (об этом они не догадываются) почти всякому оно впору и кстати; душе одного зрителя любезны фонтаны и статуи, а другого — старинные, фигурного литья, водоразборные колонки. Тиргартену пришлись впору просвечивающие сквозь листву сквозные современные звонницы; мы привыкли видеть их хотя и особенными, но зданиями, здесь же это были всего лишь мно-

гоэтажные рамы для подвески колоколов; подумать, так и в самом деле нелепо требовать от них чего–либо, кроме удобства: главное, чтобы возможно было звонить (по ком? — увы, есть, по ком) — особенно, если колокольня построена как памятник.

Автопортрет в маске

Посадив к себе на колени женщину, художник её–то обессмертил, но сам не выиграл нисколько; ремесленникам, чей век короток, не стоит повторять сюжет. Вдобавок, даже и нечаянное упоминание этой особенной позы звучит здесь двусмысленно; здесь — это вблизи немецкого телевизора, где многое происходит, конечно, и на коленях, и ещё Бог знает в каких положениях, — и пусть бы так оставалось и дальше, только в меру, — но беда в том, что насмотревшись хроники и многочисленных специальных программ, приходишь к выводу, будто старые добрые способы любви изжиты напрочь, вытесненные скучными фокусами.

В этой части наблюдаемой картины краскам не хватает сочности, и примерно того же недостаёт и слуху: решительному противнику так называемой ненормативной лексики в литературе, мне в иностранной толпе бывает тоскливо без умеренно её увлажняющего родного матерка. С этим, увы, ничего не поделаешь, оттого что каждый из нас в отдельности, а затем и каждый народ лелеет свои представления о свободе. Для меня свобода (в том числе) — выступая по телевидению, не выходить за рамки живого языка, издавна установленные в приличном обществе (что как раз на телевидении и не принято), чтобы жители потом узнавали манеру речи, но не позу и не лицо — мне вовсе не нужно, чтобы посторонние оглядывались на улице; они и не оглядываются, потому что передача — русская, а город — немецкий, и из–за этого неузнавания меня не покидает ощущение присутствия на весёлом карнавале: то ли я и на съёмках сижу в маске, то ли надеваю её, выходя наружу.

В городе, где живёшь вольным художником, приятно оставаться невидимкой.

Автопортрет невидимки — пустой экран телевизора; портрет невидимки — чистое поле компьютера, на котором биографу только ещё предстоит набрать текст, но он медлит, теряясь в выборе шрифтов, ведь не всяким напишешь «Игумен Пафнутий руку приложил». Умение изящно изображать буквы, помнится, относилось к числу исключительных дарований. Теперь всё это бесконечно далеко, как далека всякая другая жизнь, — игумен, моя библиотека, Яковлев в роли, — и тем не менее забавно, что в Берлине можно прожить, не зная немецкого слова:

круг знакомых — это, натурально, земляки (а у меня ещё и давнишние приятели), журналы, в которых я печатаюсь в Германии, выходят на русском языке, соответственно и прочие мои рабочие интересы не распространились за пределы родной речи, русские газеты продаются по всему городу, а книги можно читать — из русских библиотек; к перечню нужно добавить ещё и врачей, выбираемых из числа либо знающих наш язык, либо просто русских — как же иначе обстоятельно пожаловаться на здоровье? Что же до магазинов, то в супермаркетах, где мы покупаем продукты, общение с персоналом сводится к приветствиям и взаимным благодарностям: расплачиваясь в кассе, сумму можно прочесть на табло.

В «сотом» автобусе я впервые прокатился после года проживания в Берлине, не ожидая увидеть ничего для себя нового — и не увидел. Но сделай я это и в первые дни, итог был бы приблизительно тем же: в отличие от Парижа и Лондона, повторяю, Берлин мало знаком и по литературе, и — тем более — по живописи, и если мои российские представления о нём оказались ничтожны, то ничтожною оказалась и ошибка в них: я думал найти германскую столицу более, скажем так, заграничною, но пресловутого обморока от вида полных прилавков у меня, уехавшего из России после 91–го, а именно — в 96–м году, приключиться не могло, общий же облик этого безусловно приятного на глаз города примерно отвечал моим ожиданиям, сгущённым из досконального знания местности трёх наших прибалтийских, то есть тоже западных, республик. Я, хорошо понимая, как выглядел со стороны в их пределах, вообразил, как выяснилось, то же самое и на немецком фоне. Соответственно и быт устроился здесь так, как тому следовало быть, не хуже.

Автопортрет без собаки

Самое верное отражение было бы — со псом: в нем жила — так и отлетела — часть моей души.

Позировать с чужими собаками стало бы ложью; к тому ж, общаться здесь с ними, вовсе не понимающими по–русски, непросто, и достаточно искушённый зритель автопортрета немедленно заметил бы подделку. Я бы — заметил.

Всё же, и не зная языка, свою породу они признают: для встреч с единственным в округе ризен–шнауцером мне, бывшему хозяину такого же, впору надевать спецовку — так бурно он радуется. Между тем ни его хозяйке, ни ему самому я ничего не рассказывал о своём покойном ризене: всё ясно и так.

Содержать собаку на эмигрантское пособие немыслимо: пусть еда недорога и налоги терпимы, но услуги ветеринаров никому из нас не по средствам — их, если, не дай Бог, случится беда, не оплатить и всем миром. Вот и квартира у меня такова, что ни за одной стеной нет соседей и никто не слышал бы лая, вот и славный сад застит окно махровой сиренью, а я живу без собаки. Остаётся смотреть на чужих, благо их — множество на берлинских улицах: нет, всего их не больше, чем в Москве, но больше — на улицах, оттого что собакам тут нет нужды сторожить квартиры, и их не оставляют одних дома, а, жалея, берут по возможности с собой — за покупками, в гости, в кафе.

Готовясь к отъезду из России, мы с женой, успокаивая, говорили нашему псу, что поедем вместе, объясняли, каким образом он поедет; если бы нельзя было его вывезти, то остались бы и мы. Он — не дождался...

Одна советская семья, встреченная нами в Германии, поступила иначе: прожившего с ними одиннадцать лет ризен–шнауцера (опять–таки!) оставила своим знакомым; совершили это они будто бы в два приёма, с репетицией, и старый пёс будто бы отнёсся к предательству спокойно — но надо знать ризенов, их выдержку и человеческую глубину переживаний. Что он теперь думает о людях!..

Наш пёс продолжает жить с нами как миф. Вот и автопортрет оказался без него невозможен.

Автопортрет в оконной раме

Всякая тема исчерпаема.

Вполне возможна такая любовь художника к себе, чтобы никогда не перестать писать автопортреты — при том даже, что с каждым новым ему будет труднее и труднее находить не использованный прежде фон — какой–нибудь да окажется последним: не век же скитаться человеку по свету, меняя дома. Мне названный жанр изрядно надоел — и тем не менее я жду не последнего изделия, а следующего за ним, и приглядываюсь к зеркалам. Та, с дудочкой в руке, потерявшая было меня из виду, кажется, вот–вот снова постучится в дверь, вынуждая бросить то суетное, чем доводилось пробавляться в её отсутствие, и приступить наконец к работе над шедевром (то есть думать, что — над шедевром; другое дело, как потом оценишь уже готовую работу); только бы успеть записать за нею, вечно торопящейся. Известно, правда, какие страницы диктовала она Данту, — что ж, не всякий диктант приходится ученикам по вкусу, но и выбора не дано, и тот, кто отринет нашу флейтистку,

обречён впустую играть словами. Она, бывает, уклоняется от встреч, и тогда поиски и преследования её могут приобрести вид болезненного пристрастия; мне, например, в последние годы то и дело мерещилась невнятная фигура — не то первая любовь, не то и вправду муза; наконец знакомый профиль будто бы промелькнул в ночном окне разрушенного дома, замыкавшего наш сад, заселённый птицами — от грачей до сорок, — вернее, прикасавшегося к левому дальнему его углу так, что с моего рабочего места, если откинуться на спинку кресла, видны были пустые проёмы верхнего и мёртвые стёкла нижних этажей, а над кромкой стены — крест кирхи (описать этот пейзаж возможно только в прошедшем времени: к прошлой весне это ненужное здание аккуратно разобрали, и теперь я наслаждаюсь совсем другим видом — на открывшийся по пояс храм).

Призрачный огонёк в окне ещё нетронутой тогда развалины привиделся мне летом. Уже раздевшись на ночь и погасив свет, я заметил мерцание за чужим стеклом, но удивился тому лишь, что в окрестности кто–то способен бодрствовать дольше меня (предположение, что там уже встают, не пришло мне в голову); приписать тамошние бдения бездомным было бы явной ошибкою, потому что не до часа же волка терпеть им со своим скромным ужином. Нет, тут было, бесспорно, что–то более серьёзное, и я заточил карандаши и задумал наскоро, в считанные минуты до свидания с хранительницей странного огня живописать не самоё неверную деву, а упомянутый дом, руины, так кстати спрятанные в глубине квартала — использовав, разумеется, как фон; то, что я постоянно возвращаюсь мыслью к заднему плану, к незначительной обстановке, говорит скорее не о забывчивости, а лишь о кризисе выбранного жанра, ведь автопортрет с музой мною уже написан, только не сейчас и не здесь, а страшно давно, в прошлой жизни, как говорят наши эмигранты, — в несуществующем теперь писательском доме под Ригой. Та вещь была сделана мною с любовью, а все эти здешние... Нет, язык не поворачивается отказать им в любви, хотя бы отеческой — пусть я приступал к ним всего лишь будто бы для тренировки глаза и руки, за отсутствием иной, кроме собственного отпечатка в зеркале, натуры, но мне дороги усилия, предпринятые для достижения неведомой цели: многие мои сотоварищи плодят изображения себя всего только для сокрытия недостатков собственной внешности, но моя из одних лишь недостатков и состоит, тут уже ничего не исправишь, и оттого я так забочусь об антураже.

В ночных городах светится столько огней самого разного толка, что, наблюдая из отдаления или с высоты, не станешь гадать о свойствах

и происхождении ни каждого, ни даже каждой тысячи, но в зажжении этого, в брошенном доме, я увидел некий знак — оттого что заждался музы. В течение жизни у иных художников бывает множество любовниц (жён — и тех может случиться несколько), и только муза если и осчастливит знакомством, то лишь — одна. В первых двух случаях всегда находится возможность более или менее равноценной, особенно на посторонний взгляд, замены, однако неявка этой единственной третьей чревата, увы, самыми предсказуемыми последствиями. Некоторые, устав ждать, так отчаянно её призывают, так усердно подстраивают случайные встречи, что им уже начинает мерещиться не только то, чего не будет, но и то, чего не было. Вот и мне в неверном, словно бы таящемся от людей, словно бы запретном свете в необитаемом строении почудился знакомый очерк.

Когда мы виделись в последний раз, меня поразило, что она не изменилась со времён нашей юности, переменился только её взгляд на самоё себя: осознав наконец цену себе, она стала принимать собственную неотразимость как должное (раньше меня занимало, что чувствуют, не испытывают ли неловкости женщины, на которых смотрят и которых желают все, — теперь перед глазами был живой пример); возможно, поэтому — нет, нет, мы с нею отлично ладили и в этот раз, но всё же... — больше мы не встречались. Мне пришлось заняться более прозаической, чем прежде, работой, из–за которой стало не до девушек, и только в последние месяцы, запоздало сообразив, видимо, что седина давно уже утвердилась в голове, бес потихоньку вернулся к проказам, начав прощупывать ребро. В расчёте на приключение я и двинулся к развалине, одновременно пытаясь припомнить, всё ли в порядке на моем верстаке, в достатке ли там перья, кисти, краски, зеркало наконец.

Заглянуть в окно оказалось непростым делом: разделявшая владения лёгкая проволочная сетка не выдержала бы моего веса, а удобный для лазания старый грецкий орех рос чересчур далеко от ограды; пришлось строить пирамиду из садовой мебели. С вершины этого зыбкого сооружения взгляду открылась пустая комната с белыми стенами, посреди которой спиной к окну стояла, покачиваясь, женщина со свечой в руке; она готовилась танцевать либо декламировала стихи, и её зыбкая фигура показалась мне знакомой (странно было, что её так пощадило время). Вдруг она повернулась лицом, и я, собравшийся было окликнуть давнишнюю приятельницу по имени, вздрогнул, увидев чужую старуху с проваленным или перебитым в драке носом.

Она не испугалась, а легко махнула рукой, приглашая.

Отыскать нужное помещение оказалось нетрудно: дверей в доме давно не осталось, некоторых перегородок — тоже, и можно было идти просто на музыку и свет.

В освещённой люминесцентной трубкой комнате я застал целую компанию девочек с блёстками на коже и с голыми пупками и молодых людей в майках и джинсах; все они, лёжа на полу — кто на спине, а кто как, — дёргали свободными частями тела в такт тому, что испускал их слабенький магнитофон, а именно — ритмичному «бум–бум» на басах. Старая женщина, оказывается, пела, пытаясь сдобрить этот затяжной аккомпанемент хотя бы какою–нибудь мелодией.

Этой ночью толпы вполне приличной молодёжи ночевали в берлинских парках прямо на травке, вот и эта компания, видимо, в поисках ночлега случайно, на огонёк, забрела в нашу незнаменитую развалину; загадкой было то лишь, как их занесло из центра в столь неблизкий район. Только что, в полночь, провожая московский автобус, я видел их обезумевших от свободы сверстников, расположившихся на привокзальной площади: те приехали на машинах да так в них же и остались жить на стоянке; из недр автомобилей разносилось всё то же «бум–бум» — непомерно громкое, и тем не менее перекрываемое многоголосым свистом (шустрые продавцы у выхода из метро едва и мне не всучили полицейский свисток); это происходило буквально под стеной зоопарка, и можно было только посочувствовать тамошнему зверью, обречённому на бессонную, полную страхов ночь. Многие танцевали. Мой автобус сильно опаздывал, и я вынужденно с интересом приобщался этой ночной жизни. Неподалёку от меня девушка с зелёными волосами самозабвенно прыгала и скакала, кажется, третий час кряду. Похоже было, что никто не собирался спать; между тем, им, бездумно тратящим силы, предстояло провести на ногах, в той же тряске, ещё и весь следующий день: они собрались здесь со всей Германии на Парад любви.

Моих сверстников в своё время возбуждали более интеллигентные звуки (но ведь и то правда, что тогда и молодёжь была толковее, и вода мокрее, и снег белее); вот и сейчас старая женщина пыталась наложить на ритм «техно» джазовую мелодию. Эллы Фитцджералд из неё не получалось, но пела она грамотно. Я подумал, что через день, когда участники парада разъедутся восвояси, стоит зайти к ней, чтобы поболтать о прежней жизни; нам, я думал, найдётся что вспомнить.

В знак приветствия подёргав под сатанинский ритм плечами и отказавшись от предложенной кока–колы, я попятился назад, в тёмный коридор (между тем, на дворе быстро светало). Мне пришло в голову немедленно написать что–нибудь о доброй джазовой поре.

без музы, но в музее

Музы добры и редко оставляют своих избранников, разве что одалживают друг дружке, и если моя в последнее время не попадается на глаза, то вполне возможно, что она, шаловливая и капризная, просто прячется где–то рядом, наблюдая исподтишка. Могло, правда, случиться и так, что меня вдруг перепоручили другому ведомству и теперь не дева с янтарными глазами приоткрывает, для живописания оных, свои прелести, а стоит за плечом невидимый ангел. Во всяком случае, работа моя пока идёт, как шла, так что слишком беспокоиться о пропаже не приходится, и я даже усмотрел в новом одиночестве светлую сторону: разглядывая однажды себя после бритья, я трудным путём пришёл к выводу, что мне просто позволили немножко отдохнуть, ведь описывать одновременно два лица, особенно если при этом обладательница второго претендует на объятия, куда труднее, чем — одно–единственное. Как бы там ни было, а жанр автопортрета не иссяк, и знакомые изображения продолжают попадаться не только в зеркалах; места для этого находятся самые неожиданные. Вот и Нью–Йорк не избежал…

До сих пор я дерзал пересекать океан только мысленно, и всё же, ступив наконец на американскую землю, немедленно обнаружил там свой след.

Обратный, след этой земли во мне, отпечатался давным–давно (так что ещё неизвестно, который из них вернее назвать обратным), и я теперь не изумлялся новым, диковинным картинам, а узнавал хорошо знакомые. Всё это было видано–перевидано, пристрастно рассмотрено на снимках в журнале «Америка», иное даже выучено наизусть, и наяву многое совпадало с представлениями, и концы сходились, и в этом не было удивительного, а удивительное открылось в том, что советская пропаганда, описывая Штаты, не лгала. Нью–Йорк и впрямь предстал городом контрастов: и богатство прямо–таки сочилось из пор Манхэттена, и мрачные заводские территории походили на Путиловский завод начала века (двадцатого, конечно), каким я мог его себе вообразить по пролетарским романам, и джаз не захирел, как в Европе, и ужасало чёрное и гремучее, особенно на мой берлинский слух, метро, и попавшийся под руку служащий не ведал, где находится Россия, а знал только страну Европу, и не хотелось уходить из картинных галерей, и бездомные ночевали где попало. Один из них при мне устраивался на ночь на полу Пенсильванского вокзала прямо у ног полисмена, иные же… Скамейки на Пятой авеню, у Сентрал–парка им приходилось занимать загодя, и они засветло — нет, не ложились всё ж, а усаживались каждый на своей, до поры пристроив рядом тележки с постельными принадлежностями: коробками из толстого, мягкого картона, подушками, тряпьём. Я как раз спешил мимо, в седьмом часу решив дойти до музея Гуггенхейма пешком — и опасаясь, что он вот–вот закроется.

Посетители в музее, вероятно — из–за позднего часа, были расставлены так редко, что не могли бы переговариваться, и живую речь я услышал лишь поднявшись на два или три этажа: экскурсовод на русском языке просвещала двух мужчин, одетых вполне прилично, то есть никак не смахивающих на наших новейших богатеев, только которым и по карману заокеанские вояжи; я прислушался — нет, не просвещала, а беседовала будто бы на равных. Тогда подключился и я. Почти тотчас, затруднившись что–то объяснить клиентам и словно ища подмоги, она обернулась ко мне:

— Ну, вы–то знаете это, вы у нас не впервые.

Поленившись разуверять её и кивнув в знак согласия, я подумал, что узнать меня она могла лишь в том случае, если сюда добрался один из автопортретов; однако позднейшие его поиски в соседних помещениях оказались напрасными — рукопись, видимо, раньше висела на знаменитом спиральном балконе, который сейчас ремонтировался снизу доверху. В более мирное время портрет просто перевесили бы ненадолго в один из боковых залов, но я допускал, что мою несерьёзную физиономию сочли неуместною в эти печальные дни: после одиннадцатого сентября минуло всего три недели. Наверно, мне стоило бы пересмотреть и последующие сюжеты, чтобы уже не писать больше одно и то же, хотя бы и в разных антуражах.

Тема недавней катастрофы казалась запретной: свежие развалины, под которыми ещё оставались тела, не могли соседствовать на полотне ни с какими писанными лицами. С другой стороны, не для прогулок же летел я в Новый Свет, а с намерением работать, и коли уж свет был новым, то можно было надеяться на какой–нибудь необычный материал. И в самом деле, балуясь со светом, можно достичь самых неожиданных эффектов, ведь с моделями в зависимости от освещения иной раз происходят странные вещи, когда вот и сеанс окончен, и драпировки убраны в шкап, а выключишь лишнюю лампочку — и в новом свете вдруг предстанут совсем новые черты, прежний диалог станет неуместным, и всю работу придётся начинать сначала.

Ещё мечась по залам аэропорта в поисках пропавшего чемодана, я машинально вглядывался во встречных, но тогда собственный багаж занимал меня больше, и первые из запомнившихся лиц попались только позже — на фотографиях. В Квинсе, где я поселился, посреди крохотного скверика лежал валун, утверждённый там, быть

может, в честь и память солдат второй мировой, а то и Гражданской войны; с лицевой стороны его закрывал лист фанеры с надписью от руки «Мы никогда не забудем» и десятком фотоснимков погибших в сентябре молодых улыбающихся людей. На земле среди свежих цветов горели свечи.

Подобные места были рассыпаны по всему городу. Ежедневно я проходил мимо огромного щита с такими же фотографиями, установленного возле Мэдисон Сквер Гарден, и видел, как и к этому, и к другим щитам то и дело кто–то подходил с цветком или со свечой, и лица всех этих подходивших выражали одинаковое недоумение, оттого что преступление было бессмысленным. Телевидение, однако, в эти же дни показывало, взывая к состраданию, афганских детей, осиротевших или потерявших кров в итоге акции возмездия, — и упорно забывало показать хотя бы одного из двух тысяч детей американских, в одночасье ставших сиротами из–за того лишь, что какого–то варвара раздражило соседство с нашей культурой. Немного спустя другое телевидение в другой стране повадилось после терактов в Израиле показывать похороны не их жертв, а подстреленных террористов, словно подсказывая зрителям, по ком стоит скорбеть. Так и в России до сих пор на наших домашних экранах всё высвечивают то одного, то другого «бандита с человеческим лицом», маскирующегося под мирного пастушка, тогда как всякому нормальному человеку за каждым таким небритым пейзанином отчётливо видится козлиная морда его страшного вождя.

С этим что–то нужно было делать, и никто не знал, что, и я покуда искал убежища.

Синяя пустота музея, обвитая находящимся в починке балконом, встревожила: тёмный объём был слишком велик для одинокого посетителя, озирающегося в надежде первым увидеть затаившегося за какою–нибудь стремянкой снайпера (всё–таки не самолёт из Бостона с пилотом–самоубийцей, а именно — зловредного стрелка), и только в боковых залах удалось выдохнуть задержанный в лёгких воздух: в этом затерянном мире, кажется, ещё не проведали о кознях дьявола, и я помалкивал, чтобы не расстроить гармонию.

После сентября мне не пришлось изменять своих взглядов на зло и добро — они так и остались на отведённых им с детства местах, — однако я укрепился во мнении, что победить нынешнее зло человеческими и человечными способами невозможно и что накопившееся ожесточение мирных людей в конце концов обернётся каким–нибудь ужасом.

В убежище, среди картин, я вдруг показался себе человеком десятого числа, не чующим завтрашней атаки: окружавшие меня портреты совсем не походили на картинки с кладбища, расклеенные по Нью–Йорку, а музей Гуггенхейма — на мавзолей, вокруг и внутри которого могли бы совершаться недобрые ритуальные действа. Счастливо позабыв о только что оставленной мною простреливаемой площадке и узрев в перспективе анфилады юную парочку, я подумал, что лет сорок назад затащил бы очередную свою подружку (музу, разумеется) в подобное тихое место, чтобы нацеловаться вдоволь; если теперь это будто бы не возбраняется делать где угодно, на юру, то нам тогда приходилось использовать для того же вокзалы, бурно прощаясь подле отправляющихся поездов. Мавзолеи, правда, и сейчас не место для шёпотов и объятий, даже этот, в котором я что–то не разглядел могилы предводителя, хотя и приходил сюда, оказывается, не один раз. Но не спрашивать же было о ней экскурсовода.

— Видите, как вырождается этот жанр? — испытующе глядя на меня, спросила она.

Глупо отозвавшись на вопрос вопросом, и оттого смутившись, я узнал, что она имела в виду автопортреты.

— Зеркала будто бы не стали тусклее, — смущённо пробормотал я, из лени умолчав о том, что наш предмет вполне может сохраниться и не в живописи, а в прозе, и оставив при себе догадку о подозрительности модного интереса к зазеркалью.

— Я разбила одно, — призналась она. — Утром одиннадцатого.

Уже немолодая, женщина была верующей, но мне не по силам оказалось убедить её в грешности суеверий: выдумав за собою вину, она упорствовала; между тем никто из её близких не был в то утро в башнях, да и целых зеркал оставалось в доме столько, что впору было зазывать проходящих мимо самовлюблённых портретистов.

— Но что вы сказали о вырождении? — запоздало откликнулся на давешний вопрос один из её подопечных. — Только что здесь мне попался совсем свежий.

Он готов был вести показывать.

— Время нынче не то, — поддержал я экскурсовода. — Столько вокруг боли (да вы же из России, не мне вам рассказывать), что становится уже не до любования собой. Вам наверняка известна мысль: не писать стихи после Освенцима…

— …значит признать *их* победу, — тихо возразила женщина.

С нею согласились все, понимая, что отныне ничто в мире, даже поражения, больше не будет выглядеть по–старому.

мой, но — другого человека

Живописцы, наверно, считают иначе, но писатели обращаются к автопортретам часто не от хорошей жизни, а оттого, что не могут сыскать доброго сюжета для иной работы; тогда только и остаётся что сесть перед зеркалом. Тем не менее потом, написав себя (или о себе), они радуются ничуть не меньше, чем могли бы, закончив обычную вещь.

В течение жизни можно написать и несколько, и много автопортретов, и вообще одни их и писать, почему бы нет, однако настоящее удовольствие удастся получить только от первого, оттого что облик изображённого там человека, распоряжающегося вашей судьбой, предстанет совершенною неожиданностью. В более поздних радость открытия вытеснится огорчением от того, как портится с годами характер автора, и вы чем позднее, тем больше внимания будете обращать на фон; выбирать его будет с каждым разом всё труднее, зато может вдруг подвернуться такой, что прежде был немыслим: например, музей на Манхэттене. Кстати, именно там меня предупредили о вырождении жанра, и впервые своего зрителя я увидел там же, хотя искать его следовало бы скорее по библиотекам — дома, в Москве: если музе пристало летать за мною по всему свету, то его–то никто не обязывал… Однако и дом у меня нашёлся теперь совсем в другом месте, и жанру пришло время изменить: он стал требовать невозможного, отчего предметы, свойственные заднему плану, оказывались впереди, а пейзажи засорялись лишними людьми.

Писательский дом в Дубулты уже несколько лет как был то ли заброшен, то ли разруше, то ли продан чужим — слухи в наших краях ходили разные, — но в любом случае прежним постояльцам вход туда был заказан. В каком–то смысле это оказалось даже и к лучшему: теперь я мог поездить по миру; минувшим летом, например, я очутился на острове по дальнюю сторону Европы. Тамошние камни выглядели поживописнее балтийского песочка да только не пригодились как фон: мне совсем неожиданно открылась несовместность автопортретов и моря, отразиться в воде которого не удавалось ещё никому; иное дело, если живёшь у пруда или тихого лесного озера и можешь любоваться на их водной глади перевёрнутыми деревьями и деревнями, а подойдя поближе и склонившись — собственным лицом, и без того перевёрнутым. Меня же занесло на морской остров, лишённый не только прудов, но самого жалкого ручейка; вечная пена прибоя не оставляла надежды.

За неимением тихой воды пришлось, приостановившись, посмотреться в стекло витрины. Моё отражение забавно повторилось очерком манекена; тот, правда, был одет иначе, и сравнение вышло в его пользу:

я бы сейчас тоже сменил брюки на лёгкие шорты, но для этого пришлось бы возвращаться в отель.

— Потерпим, — махнул я рукой, и манекен нагнулся поближе:

— Что вы сказали?

Поистине, следовало переодеться: от перегрева могло померещиться ещё и не такое.

Как бы там ни было, но в наших чертах нашлось столько общего, что трудно было отделаться от впечатления, будто в стекле отражается одно лишь моё, но — двоящееся лицо; сообразить, что я просто–напросто вижу стоящего рядом со мною на тротуаре человека, удалось не сразу. Поняв, что с жарой шутить нельзя, и что витрина без манекена принадлежит крохотному кафе, я решительно шагнул внутрь, чтобы заказать колу со льдом. Человек в шортах остался на улице — для того, наверно, чтобы я окончательно перестал считать его своим зеркальным портретом и не попытался причесаться, глядя на чужую растрёпанную ветром шевелюру.

Раньше я слыхал, что такие встречи не приносят счастья. Но деться было некуда, эта — уже произошла.

Теперь уже можно было не бороться с болезненным двоением глаз, не совладавших с солнечным светом: я смотрел из глубокой тени. Человек по ту сторону стекла не мог бы разглядеть меня, я же с каждой минутой всё больше убеждался, что моё зрение тут ни при чём, я и в самом деле видел его прежде — хотя бы при бритье. Он закурил, и я, обнаружив, что он левша — я же бывал левшой только в зеркалах, — глупо подумал, что в здешнем левостороннем движении он должен чувствовать себя как рыба в воде.

Питьё немного освежило — достаточно для того, чтобы перестать понимать, отчего я вдруг разволновался; теперь меня занимал неожиданный вопрос: чем может оказаться двойник писателя — тоже писателем? Если внешность, как говорят, в точности отвечает нашему внутреннему устройству, то нечего и спрашивать, мой абсолютный двойник должен был бы скопировать не только овал лица и форму носа, но и особенности ума, и наклонности, и оказаться не просто коллегою, но автором копий всего, сочиняемого мною, — писать то же самое, слово в слово; смысла в этом не было, а была перспектива вечных споров из–за авторства. С другой стороны, природа, склонная, как известно, к шуткам, могла предложить в качестве двойника и полного моего антипода: читателя. С ним начались бы свои трудности — нет, не надуманное противопоставление наших занятий, оно–то пошло бы только во благо, а то неудобство, что всё, для меня белое, для него было бы чёрным и

мы не сошлись бы в главном — в понятиях добра и зла, Бога и дьявола. Меня что–то не тянуло к такому двойнику.

Единственные в кафе два столика были составлены, почти вплотную, углами один к другому, так что можно было, сидя за — разными, оказаться с кем–то в самом прямом смысле плечом к плечу; примерно так и получилось у меня с тем, кого я, так пока и не рассмотрев подробно вблизи, склонялся называть двойником; соскучившись, видимо, ждать, он зашёл в помещение и, повторив мой заказ, устроился за свободным столом.

— Вы — Вадим, — не выясняя моих возможностей, а сразу по–русски, заявил он.

— Вы, надо пронимать, тоже, — брякнул я (потому что как же ещё могли звать моего двойника) — и не угадал: мною он не был и упустил удобный случай стать, когда в Москве к нему бросилась с раскрытыми объятиями женщина — моя, как выяснилось, знакомая.

— Неужели такое сходство? — деланно усомнился я.

— Такое ли, нет ли, да только если уж обозналась любящая девушка…

— Вы не догадались спросить номер телефона? — пробормотал я, понимая, что если — да, то они могли продолжить знакомство — вплоть до самых замечательных сцен, именно тех, каких не бывало между нами. — Мы потерялись.

— Потрясающей красоты дама. Жаль, что я не решился сыграть вашу роль. Она ведь было не поверила отказу, а продолжала говорить как бы с вами: что–то о стихах, о сонетах, о венках.

— Это её тема, — объяснил я. — Она ведь муза.

— Все они музы время от времени.

— Эта — ещё и по паспорту, бессрочно. А вы, я вижу, далеки от искусств.

— Искусств! Надо зарабатывать на хлеб.

Нельзя было удержаться, чтобы не поддеть:

— И на коньячок. Думаю, недёшево приехать сюда из России.

— Вы думаете… Сами разве не оттуда же?

Мне показалось странным, что Муза не просветила его, и я неохотно объяснил, что живу неподалёку. Затем пришлось сказать и о своих здешних занятиях — о том, что работаю по специальности; там, у них, похвалиться этим мог далеко не каждый, и мой двойник, имевший диплом военного инженера, не был исключением. Теперь он торговал каким–то сырьём — даже получая, как он заверил, от этого своеобразное удовольствие.

— И ещё… — он замялся, — консультирую.

— Ну, консультант–то у нас был только один.

Он явно не знал, о ком я, но не стал переспрашивать, а я, сопоставив силы, признался:

— Мне бы там не выжить.

— А вы говорите — сходство, — словно бы попенял он. — Ламброзо пусть отдохнёт.

— Позвольте, я пересяду к вам.

Оказавшись наконец лицом к лицу и собираясь сравнивать, я был смущён неожиданным открытием — тем, что для сравнения не нашлось предмета: я не помнил своей внешности настолько, чтобы суметь разобрать её по чёрточкам: не знал на память, какие у меня уши, глаза, рот, не представлял себе, что особенного в губах, в улыбке, разве что мог назвать число коронок — но этого как раз и не требовалось. Обычно, бреясь, я видел в зеркале только свою кожу, причёсываясь — волосы, но не обращал внимания на их окрестности; весь облик целиком меня будто бы не интересовал, и я знал на память не эти ежедневные отражения, а лишь старые автопортреты . Но и среди них не было двух одинаковых.

— Вижу, вы не верите своей знакомой на слово, — заметил он, недовольный моим чересчур пристальным взглядом.

— Слово музы? — насмешливо вскричал я в ответ, одновременно спрашивая себя, имеет ли та, даже расставшись с поэтом, право на слова, и отвечая, что, увы, имеет, а если и не имела бы, то, всё равно, без её выдумок я — ничто, и двойник в этом случае тоже оказывается никем: нуль на нуль равно нулю, и тому же равен человек, вышедший из зеркала, в котором отражён. Никто, в котором никто не отражён. Подобия не всякий раз приходятся ко времени и ко двору, и тот, кто прочтёт у Борхеса, будто зеркала отвратительны, потому что умножают количество людей, пусть не спешит отвергнуть или опровергнуть эту необычную мысль. Я бы распространил её и на автопортреты.

Пейзаж в окне напротив

Поехав вечером в чайный магазин, в котором давно уже не бывал, Пётр поразился виду знакомой улицы — неубранной, с тёмными витринами и с чёрным бугристым льдом на тротуарах; была оттепель, и дикие автомобили окатывали зазевавшихся прохожих солёной жижей. Можно было подумать, что вместо центра столицы Петра занесло в глубокое захолустье. Собственно, нового в этом не было, он привык жить в опустившемся городе и уже словно бы не замечал ничего вокруг, но сейчас понял, что, уехав наконец навсегда, не станет тосковать об оставленном — напротив, будет гнать от себя воспоминания о здешней тоске, символом которой вполне может послужить эта бесснежная, чёрная Мясницкая; вообще, ему казалось, что в памяти останется только единственный образ — чернота. В перемены к лучшему больше не верилось, и от повседневной фантасмагории Пётр отдыхал лишь вечерами, в одиночестве, тем более, что из окон своей квартиры видел не городскую застройку, а парк, за старые деревья которого спускалось солнце; колдобины на дороге были неразличимы с его этажа. На подоконнике всегда лежал полевой бинокль, через который он часто смотрел на гуляющих детишек, а то и на девушек, не подозревающих, что за ними наблюдают издали. Пейзаж, однако, менялся, и со временем Пётр незаслуженно лишился своего невинного развлечения: внизу устроили какую–то возню, езду грузовиков и тракторов, размесили грязь, и мало–помалу, загородив собою и парк, и закаты, вообще — три четверти неба, перед окном поднялась стена бездарного здания.

Дом построили с досадной быстротою, и, скрываясь от нечаянных соглядатаев, Пётр жил теперь за спущенными шторами — не только когда ложился спать или когда приходили женщины, но и, особенно даже, если работал за письменным столом — при этом он не терпел ничьих взглядов. Прежде он, вставая поразмяться, непременно подходил к окну — отвлечься, помечтать, — но эту привычку пришлось оставить, оттого что новая стена, школярски расчерченная на квадраты с квадратными же дырами посередине, вызывала у него стойкое уныние, особенно в тёмное время, после того, как там дружно сдвигались занавески, за которыми не угадывалось больше никакого движения, так что впору было усомниться, живут ли там люди.

Они там жили, и однажды вечером Пётр, распахнув, при погашенной лампе, раму, увидел перед собою девушку. Свет у неё горел слабый, а расстояние было всё–таки приличным для невооружённого глаза, так что многие мелочи Петру пришлось домыслить, а другие остались неразгаданными, например, странно подвижный зелёный фон за девичьей спиной. Чтобы остаться незамеченным, он отступил в глубину комнаты, тогда как девушка принялась неторопливо снимать с себя одежду, всего–то состоявшую из трёх вещей — майки, джинсов и трусиков; сбросив последнее, она с удовольствием потянулась. Пётр отчаянно жалел, что за ненадобностью давно спрятал куда–то свой бинокль. Он стыдился того, что подглядывает, как мальчишка, но и отворачиваться от ослепительного портрета в интерьере казалось глупостью; впрочем, об интерьере он подумал с некоторой заминкой, заподозрив в общей картине какую–то несуразицу. Ему немедленно требовалась оптика, и Пётр лихорадочно называл в уме самые невозможные для хранения места, пока вдруг не вскрикнул, вспомнив: галошница! Он стремглав помчался в переднюю — бинокль и в самом деле покоился среди старой обуви.

Мнение Петра о прелестях девушки останется при нём, заметим лишь в скобках, что и он — не камень; в то же время его пристрастное отношение к предмету вряд ли повлияло на ход событий. Началось с того, что девушка боязливо попробовала ногой воду и нашла её достаточно тёплой, хотя мало ещё кто купался об эту пору. Осторожно, не зная, видимо, дна, она пошла вперёд и вдруг, решившись и набрав воздуха, окунулась с головой, подняв брызги — возможно, и поплыла, только теперь Пётр не видел её из–за подоконника. Ему ничего не оставалось как изучить обезлюдевший пейзаж, зачатки которого встревожили его поначалу. Перед ним был крутой заросший берег; против заходящего солнца плохо было смотреть. Но Пётр всё же разглядел сквозь редкую майскую листву добротный рубленый дом на лужайке. Изображение застыло, как на фотографии, и нужно было дожидаться возвращения купальщицы, но солнце село прежде того, и Пётр перестал различать что–либо.

Глядя на тёмные стекла напротив, Пётр потряс головой; как–то непохоже было, чтобы он спал.

— Я–то сетовал, что мне закрыли вид! А тут закат проходит насквозь, — воскликнул он наконец, но эти слова не отразили его смятения, и вообще не слишком соответствовали его мыслям.

Подождав ещё немого в надежде на какие–то изменения, Пётр смирился с тем, что сегодня больше ничего не покажут, и принялся за свои привычные занятия.

Назавтра он проснулся в прекрасном настроении, но и с лёгкой грустью, как и всегда после приятного сновидения, подробности которого начинают ускользать; только увидев брошенный в кресло бинокль, Пётр понял вдруг, что всё, вспоминаемое им сейчас, случилось наяву. Бросив взгляд на противоположный дом, он нашёл нужные окна занавешенными и, усмехнувшись, сказал себе, что вовсе не ждал увидеть никаких знаков на освещённой солнцем стене, что накануне, видимо, перетрудился и чересчур распалил воображение, что такое, как с ним, и со всяким приключается хотя бы раз в жизни и что раз в жизни любая девушка может, раздеваясь, оставить окно открытым.

В конце дня у Петра были гости, и ему пришлось отложить обычную работу и расслабиться. Произошло это без подготовки, просто позвонили два старых друга и почти тотчас заявились с бутылками и снедью, и он, подосадовав было на помеху своему распорядку, скоро сказал себе, что и в самом деле устал и только ждал подобной оказии. Накрыв стол не по–холостяцки, а сервировав его, несмотря на возражения друзей, по всем правилам, Пётр сознательно допустил единственное нарушение, поставив под водку не рюмки, а стаканы, в каких подают виски со льдом; наполнив их изрядно, почти до половины, он провозгласил:

— Уравняем интеллекты.

Уравняв, они неторопливо закусили дешёвой колбасой, и один из гостей не удержался от замечания:

— У них там так не пьют.

— Но у них и едят не так, — возразил второй.

— Не хлебом единым...

— Но и одним только хлебом, потому что нам не достать другой пищи. Слава Богу, что хоть как–то полегчало — с духовной.

— Тоска, — сказал первый.

— А там — ностальгия.

— Но что такое ностальгия? — задумался Пётр. — В сущности, это тоска по местам своей молодости, но они недостижимы и здесь, потому что изменяются вместе с тобой.

— Если бы мы были нужны здесь! — с горечью воскликнул первый гость. — А мы тратим жизнь на стояние в очередях. Представь Моцарта, который вместо того, чтобы писать музыку, уже зазвучавшую где–то там, внутри, стоит в хвосте за перловкой! Это не то, что слушать скрипача слепого! А у нас почти всякий талант нищенствует. Это становится почти профессией.

— Значит, из–за куска сыра? — печально спросил второй. — Спой, светик, не стыдись.

— Налей–ка ещё.

— Слишком высокий темп, — покачал головой Пётр, всё же наливая. — У них там так не пьют.

— А мы — будем? — спросил один из друзей, а другой одновременно с ним сказал другое: — Вот и давай пить, пока можно. Никто и нигде нас не ждёт. Дружба, знакомства, связи — возможны лишь здесь, и наши честолюбивые мечты и наши блестящие идеи останутся витать никому не заметными флюидами в воздухе, Бог даст, какого–нибудь деревенского погоста под славным осенним дождичком.

— Но и такой погост возможен — не там.

Начавшись в такой минорной тональности, случайная пирушка грозила превратиться в горькую попойку, когда бы сотрапезники исподволь не подвели друг друга к тосту, который с первых минут держали в уме — за отсутствующих дам, — немного просветлившему души. Их потянуло к приятным воспоминаниям и лёгкому хвастовству. Хозяин дома тоже поддался общему настроению, хотя, единственный из трёх, был в последнее время по–настоящему одинок, расставшись с женщиной и не имея пока желания и видимой возможности прибиться к какой–нибудь другой; он пока ещё находил в своем новом положении больше преимуществ, чем неудобств.

Проводив потом гостей до метро, Пётр с удовольствием вернулся в пустую квартиру, зная, что теперь никто не помешает ему провести остаток вечера по своему усмотрению — на диване, за письменным столом, перед проигрывателем или в ванне. Но, заперев за собою дверь, он вспомнил о вчерашнем, испугался, что опоздал, и, подбежав к окну, рывком откинул штору: перед ним снова был женский портрет на фоне пейзажа.

Пётр, естественно, ожидал, что сюжет если и будет развиваться, то в том же времени, в каком пребывал он сам, и пусть бы оптические эффекты наблюдались сами по себе, но ничего не могло быть проще, чем познакомиться с девушкой, живущей почти окно в окно с ним. То, что он увидел теперь, озадачило его: листва в чужой комнате поредела, обозначая смену весны, через сезон, сразу на осень; деревянный дом, к тому же освещённый внутри, стал виден совсем хорошо. Строго и старомодно одетая девушка прохаживалась по берегу невидимой реки, словно барышня в кинофильме из старинной жизни. Окончание купаль-

ного сезона не огорчило Петра, и без того навидавшегося обнажённой натуры; в мыслях у него было другое: ему хотелось выяснить природу странных живых картин — девушка наверняка помогла бы ему в этом, но он не знал, как сию секунду связаться с ней, ни разу не взглянувшей в его сторону. Спустя минуту её, очевидно, окликнули из дома, и она, глянув туда, а потом, всё–таки, на Петра и кивнув головой так, словно позвала его, поспешила скрыться внутри. В доме её ждала пожилая пара, занятая укладыванием одежды в кофры и коробки. Окно было достаточно большим для того, чтобы Пётр увидел, как богато обставлена комната, где происходили сборы: он отметил и старинную люстру, и камин с фарфоровыми часами, и китайскую вазу. Девушка остановилась на пороге. Судя по жестикуляции действующих лиц, старшие недоумевали, отчего она не участвует в общих хлопотах; девушка слушала молча и вдруг, увидев что–то лишнее в кофре, выхватила это оттуда и, разворачивая свёрток на ходу, унесла в глубины дома. Вернулась она с виноватым видом, но ей не попеняли на поступок и она сама стала доказывать что–то, довольно горячо, то и дело указывая на окно (получалось, что — на Петра), словно не была согласна с общим отъездом. «Не хватало только, — улыбнулся Пётр, — чтобы тут заколотили какого–нибудь Фирса».

Затем действие перенеслось в дальние, недоступные биноклю помещения, а в этом погас свет.

Судя по всему, на следующий день Пётр мог увидеть в загадочном окне снежные сугробы у покинутого дома, и, значит, если он хотел познакомиться с девушкой и раскрыть её тайну, это нужно было сделать немедленно. Вычислить номер её квартиры не составляло труда, но он решил не наносить визит, а написать письмо. Тут сразу возникли трудности с обращением: никакие «уважаемые господа» или «леди и джентльмены» не казались ему подходящими для дружеской записки; впрочем, другие строки дались не легче, и рождённое в муках дитя не выглядело красавцем:

«Дорогие соседи!

Прожив долго бок о бок, я не имел чести быть представленным Вам, более того — не ведал о нашем соседстве. Нечаянно мне стало известно о Вашем намерении оставить Ваш чудесный уголок. Я понимаю, что с этим связаны как естественные переживания, так и обычные бытовые трудности. Не сочтите за дерзость предложение участия с моей стороны в обоих случаях, то есть утешения и физической помощи.

Искренне расположенный к Вам Пётр Евланов».

Столь важное и срочное послание он не смел доверить черепашьей неряшливой почте, а чуть свет сам опустил его в почтовый ящик сосе-

дей. Ответ не заставил себя ждать: уже в полдень Пётр держал в руках диковинный конверт с почтовым штемпелем, на котором ничего нельзя было разобрать, кроме даты. Загадав, что если текст будет написан женской рукой, то из страны они уедут вместе, он дрожащей рукой достал сложенный втрое листок. Машинописный текст гласил:

«Дорогой Пётр Евланов,

весьма признателен за Вашу горячую готовность помочь в хлопотных и спешных сборах. Тронутый Вашим вниманием, я, вероятно, огорчу Вас сообщением о том, что не только малейшие приготовления в дорогу закончились накануне, но и машина подана, и в момент чтения Вами этой записка мы будем далеко от Ваших краёв. Искренне сожалею, что нам не довелось встретиться.

Искренне Ваш М. Кронин, эсквайр».

Пётр невольно поднял глаза на окно: не верилось, что за аккуратными шторами скрывается брошенная квартира — никто не уезжает навсегда, оставив дорогие занавеси. Подумав, что они, возможно, поручили кому–то охранять дом, он быстро спустился на улицу, вошёл в уже знакомый подъезд и поднялся в лифте. Перед дверью лежал плетёный коврик — такой тоже никто бы не стал бросать. Пётр нажал кнопку — звонок прозвучал довольно резко, но на него не спешили отзываться. Позвонив ещё несколько раз, он уже собирался уйти восвояси, когда из соседней квартиры вышла немолодая расплывшаяся женщина. Пётр мгновенно обернулся к ней, спрашивая, не здесь ли живут Кронины. Почувствовав, как в ожидании ответа забилось сердце, он удивился себе: что ему до судьбы этой чужой семьи, если квартиру скоро займут новые жильцы, а пейзаж в окне останется прежним? В последнем он, впрочем, не был уверен.

— Давно их не встречала, — ответила женщина.

— Сдаётся, будто они съехали вчера вечером, — подсказал Пётр. — Это правда?

Она покачала головой:

— Я бы заметила. Сами подумайте: эти грузчики, брань, топот. Нет, только не вчера.

Пришлось послать Кронину ещё одно письмо. Теперь Пётр нетерпеливо ждал сумерек. Работа, естественно, не шла на ум; он говорил себе, что дважды виденная издали девушка не интересует его, но понять феномен пейзажа считал своим долгом. Он сейчас дорого бы дал за возможность увидеть странную комнату при дневном свете, но шторы были непроницаемы; вряд ли и вечером найдётся кому раздвинуть их. «Вот и останется, над чем ломать голову до гробовой доски, — грустно

заключил он и, как и ежедневно, проговорил про себя американскую поговорку: — А ведь сегодня первый день твоей оставшейся жизни». Ему неведомо было, где он проведёт её, оставшуюся: отъезд был решён и нужные документы лежали в кармане, а Пётр всё откладывал последний шаг — не из–за тяжести разрыва, а из–за нынешнего труда, который намного быстрее мог бы закончить там, в зазеркалье, но который мог бы пригодиться людям только здесь. Не он один испытывал такие затруднения — вот и те друзья, что провели у него прошлый вечер, и они балансировали на пороге, понимая не только то, что дома не ценят их талант, но и то, что в чужой земле придётся распорядиться последним по–новому — либо не распорядиться вовсе.

Вчерашнюю пирушку Пётр вспомнил совсем не случайно: он внезапно так упал духом, что теперь ему казалось, будто лишь её повторение может поправить дело. Колебался он недолго.

— Однова живём, — сказал он по телефону одному из тех двух.

Тот не стал спорить против очевидного.

— Нас уже двое, — сказал вскоре Пётр второму.

За столом Петра подмывало рассказать им о своем несостоявшемся приключении, но он думал, что ему не поверят или, поверив, посмеются над взрослым мужчиной, исподтишка подглядывающим за девочками; он ничем не мог бы подтвердить свой рассказ, оттого что сюжет с отъездом был исчерпан.

— Я сегодня не пью, — предупредил первый.

— Всё ясно: ты — за рулём, — съязвил Пётр. — Управляешь страной.

— Да и я, пожалуй, ограничусь одной рюмочкой, — поддержал товарища второй гость.

— У нас так не пьют, — не сдавался Пётр.

— Пора переучиваться.

— В чем загвоздка, господа? — спросил Пётр, имея в виду совсем другое.

— Кто нас гонит?

— Кто нас держит?

— Мы там будем чужими.

— Мы и здесь не свои — мыслящие муравьи под стеклянным колпаком у плебея.

— Выпьем за муравейник на свежем воздухе.

— За это выпью и я.

Пётр нарочно не задёргивал свои шторы, но другие, по ту сторону проезда, были темны и глухи.

— Как ты поступишь со своим трудом? — спросил первого гостя Пётр.

— Уже поступил, — недобро засмеялся тот. — Закончил ночью — и сжёг утром.

— Боже мой!.. А ты? — почти умоляюще спросил он второго.

— Это будет видно недели через две, когда поставлю точку. Но боюсь, что я окажусь слабее (или разумнее?) — оставлю его в надёжном месте до лучших времён.

— Как и я, быть может, — словно оправдываясь, сказал Пётр. — Всё–таки, на это ушло два года жизни.

«Нет, не стоит им рассказывать, — решил теперь Пётр. — Я, видимо, болен: эти ожидания, эти унизительные хлопоты, это одиночество, эти мальчишники... Надо проверить неоднократно, и я знаю, как... Если только не поздно: поди, сыщи, куда укатил этот эсквайр».

— Быть может, я сумею вывезти рукописи с собой, — задумчиво проговорил он.

— Простой ты, Петя, — засмеялся первый из друзей. — Простой, как песня.

— Вывези хотя бы голову, — посоветовал второй.

Их мужские посиделки давно уже сводились к проведению времени, оттого что всё важное было уже решено, мелочи обговорены и мосты сожжены. С другими, с теми, кто оставался в несчастливой стране, им постепенно стало неинтересно встречаться, они жили теперь если пока и не в разных мирах, то с разными взглядами на единственный знакомый мир — вплоть до полного непонимания друг друга. У Петра почти не осталось вещей, которые для него что–нибудь значили бы здесь; к числу их, немногих, теперь прибавилось окно напротив.

Окно засветилось и в этот вечер, словно ничего не произошло накануне. Простой глаз по–прежнему различил только крупные цветовые пятна и ясно было то лишь, что взгляду открылась не обстановка жилой комнаты, а нечто иное; это могли быть и фотообои на голой стене, и даже изображение с наружной стороны штор. Бинокль же показал безотрадную подробную картину: Пётр разглядел знакомую лужайку, искорёженную гусеницами, и груду мусора на месте дома.

Теперь Пётр сделал то, что должен был бы сделать в первый же вечер: несколько раз сфотографировал пейзаж аппаратом с телеобъективом. Когда стемнело и наблюдение стало невозможным, он приступил к проявлению; удивительные результаты этого не были для него неожиданными: на снимках он увидел комнату с низким потолком и дешёвыми обоями, всю мебель которой составлял пустой книжный шкаф в углу; освещалась она сиротливой лампочкой на коротком шнуре. И всё же, разглядывая свои заурядные фотографии, Пётр ощущал чьё–то присут-

ствие в изображённой комнате; казалось, что, подержи он снимки в ванночках подольше, на них непременно проступило бы чьё–нибудь лицо, и он даже знал наверно, чьё — не знакомой уже девушки, а будущего хозяина жилья, обритого наголо юноши с безумными глазами.

«Пить надо меньше», — сказал себе Пётр.

Наутро ему вернулось его собственное письмо с пометкой о выбытии адресата, но вовсе без штемпеля. Теперь в истории если и оставалось что–либо существенное, не понятое Петром, так это необходимость сноса крепкого дома; прочие неизвестные — имена и географические названия — больше не имели значения. Тем не менее, ему хотелось оставить себе о ней какую–то память — конечно же, не снимок бесхозной московской комнаты (скоро и его квартире предстояло стать таким же пустым скворечником).

В этот день окно напротив открылось позднее обычного, когда Пётр уже решил было, что его наблюдениям пришёл конец. Бинокль предъявил ему всё ту же картину разорения, но теперь и здесь чувствовалось чьё–то присутствие, неведомое предвестие движения. Подождав немного, Пётр увидел приближающегося мужчину. Вскоре стало возможным и различить черты: это Пётр подходил к развалинам.

Носком сапога он пошевелил обломки — под кусками дерева и штукатурки попадались пустячные уцелевшие предметы: парфюмерные флаконы, пустая рамочка от фотографии, чайное блюдце. Пётр поднял было нательный латунный крестик на гайтане и хотел оставить себе, но вспомнил, что носить чужой крест — не к добру: кто знает, какое бремя ты взваливаешь на душу. И тут он увидел то, что искал — перочинный нож. Пётр осмотрел его — нож легко открывался и был хорошо заточен.

Он долго стоял, рассматривая вещичку со всех сторон. Солнце, между тем, стремительно западало.

Ночная жизнь Китежа

Исход из столиц в глухомань (считалось — к истокам) увлёк в последние месяцы стольких, что мог казаться модой; между тем, сниматься с насиженных мест людей толкала всего лишь та или иная нужда: одни бежали от нищеты, другие — от разбоя, кто — за длинным рублём, а кто — за вольною волей, встречались тут и гонимые, и искавшие признания заслуг либо внимания к своим пророчествам, но большинство — просто хотели стать провинциалами. Об этом Лобунин слышал так часто и много, что когда и его, в отвлечённых рассуждениях тоже находившего вкус в звании, например, китежанина, но всё ж предпочитавшего на деле оставаться столичным жителем, вынудили к отъезду, он уже не счёл чрезмерною эту перемену; между тем, перемены тотчас обнаружились в нем самом, в виде хотя бы новой привычки без надобности, словно от повреждения в уме, называть вслух имена существительные, некими списками, вовсе без сопровождения глаголами: древность, совесть, юродство… Знакомые, видя, что он придаёт этим словам вполне мистическое значение, стали говорить об его изгнании с пренебрежением: щуку, мол, бросают в реку. В действительности, однако, всё было не так просто, и, вступая в незнакомый город, Лобунин растерялся: он ожидал увидеть глушь, но не такую же, тем более, что кое–какие местные виды знал по иллюстрациям и кино; выйдя на соборную площадь и найдя её непривычно пустою, он нечаянно воскликнул в изумлении: «А где же массовка?»

Первый день на новом месте, как водится, проходить не торопился, и всё же Лобунин, расслабившись после дороги, опоздал с одним важным делом: не получил денег по дорожному чеку; дожив до сумерек, когда всё вокруг замерло в ожидании замечательного здесь явления природы, он от предчувствий и вовсе взвыл в полный голос: «Боже, до чего довела меня любознательность!» — хотя и любознательность была тут ни при чем, и жилище оказалось не хуже, чем он ожидал, представляя собою в меру убогий номер гостиницы «Садко» в том её крыле, что предназначалось не для богатых гостей, а для переселенцев, приглашённых

городской управой будто бы для обретения свободы и достоинства, а на самом деле — для пополнения убывающего поголовья. Приезжие, соблазнённые посулами, искали здесь ощутимых вещей; за дивными местными пейзажами не приезжал никто, и если в дальнейшем Лобунин, забывшись, указывал на нечто приятное зрению или слуху, то обыкновенно встречал непонимание и даже отпор. Во флигеле, свысока именуемом прислугою приютом, естественно было бы найти изрядное общество, но Лобунин в первые часы своей новой жизни усомнился в существовании по соседству хотя бы единой живой души — такая стояла неприятная тишина, — отчего впал в настоящую панику, предположив, будто прочие отчаянные и отчаявшиеся люди, чей путь он намеревался повторить, сумели взятками или иными неправдами избежать отправки в это гиблое место, осев теперь в пристойных городах с трамваями, с протекающими в дождик цирками шапито на окраинах, со сплетнями в лавках и даже с ночными уличными происшествиями и оставив его, Лобунина, без надежды на поддержку хотя бы советом или примером. Он живо представил себе долгие будущие дни, когда работа валится из рук, а рядом нет его старого пса, любившего, если хозяин слонялся по дому без дела, усаживать того за письменный стол и самому ложиться рядом, и сырые ночи в полном одиночестве, и вечера — в общении с туземцами (те, известно, были молчаливы, как рыбы, и Лобунин думал, что нескоро научится понимать их подводное молчание, а тем паче молчать сам), а представив это — взвыл.

Тем не менее, объявиться сейчас незнакомцу, пусть и товарищу по несчастью, было бы некстати: брошенному нет проку от брошенных; если Лобунину и нужно было что–то от других, так только объяснения, куда и как можно здесь податься, чтобы развеять тоску. Упустив время до появления воды, когда ещё был открыт подъезд, он уже не мог перейти в главный корпус, где давеча, получая у портье ключи, заметил стопку проспектов «Ночная жизнь Китежа», но глупо постеснялся взять себе один. Без советов путеводителя нелегко было бы придумать развлечение, кроме, пожалуй, простейшего: выглянув в окно, Лобунин увидел стайку прехорошеньких русалок, направлявшихся ко входу в гостиницу; он ещё успел бы постучать в стекло. Впрочем, ему пока был недоступен и этот способ: оставшись без денег, он мог бы расплатиться с русалкой разве что чулками, неведомо как оказавшимися в его чемодане. Теперь уже посмеиваясь, он подумал, что вот — случай завыть снова, только что толку — без отклика; на людях же он постеснялся бы и, значит, опять выходило всё то же: лишь собственная собака поняла бы его, начав не подпевать вторым голосом, но — утешать.

Уже безо всякой иронии, а серьёзно, Лобунин попытался представить себе, как пёс отнёсся бы к русалкам: мог и не принять за людей. Он и сам считал их созданиями пусть и не богомерзкими, но явленными на свет помимо Божией воли; сущая ныне живность вышла некогда из ковчега, где находилось от всякой плоти по паре, но этим, здешним, как раз пар и не хватало. Возможно, их предки вовсе не поднимались на борт, а просто плыли за судном, либо их прародительницу сбросили с палубы за понятную провинность и она спаслась, попав в рыбью семью, — так с печалью подумал Лобунин; с печалью — оттого что снова вспомнил о собаке, словно бы сброшенной им со спасательной шлюпки, походящей из–за тесноты на подводную лодку, но в конце концов уткнувшейся в берег, где хватило бы места для тысяч пар.

Со псом всё было непросто: не будь его, не пришлось бы убегать и Лобунину. Началось с жестокого отстрела в городе собак — не только бродячих; мало кого удивляло то, что иной раз следом пропадали их хозяева. Некоторое время Лобунин ещё поиграл с властями в казаки–разбойники, но скоро неравная игра стала слишком опасной: всё чаще неприятности стали приключаться даже с теми собачеями, которые избавились от своих питомцев: их находили то ли по загодя составленным спискам, то ли по доносам. Ему пришлось скрыться, оставив собаку добрым людям в деревне, куда ещё не докатилась новая волна.

Пса он так и звал — Пёс, вопреки записанной в паспорте вычурной кличке; для него это и впрямь была собака с большой буквы, собрание всех собачьих и лучших человеческих черт — существо, с которым можно говорить по душам. Лобунин заранее рассказал ему об отъезде, ничего не утаив, — и тот, поняв и простив всё, стал увлекать хозяина на прогулки в места, связанные со своей молодостью, а позже по разным причинам оставленные вниманием: приходил туда и, огромный зверь, сидел в задумчивости, наблюдая и вспоминая — прощаясь навсегда.

Выйдя на площадку и свесившись над пролётом, Лобунин крикнул: «Есть кто–нибудь живой?» — и эхо, бесполезно обойдя этажи, возвестило о безлюдье; это был редкий случай, когда он пожалел об отсутствии соглядатаев. Публику, вероятно, можно было б найти лишь в вестибюле отеля, и Лобунин решил попасть туда во что бы то ни стало; всё, что пришло ему в голову, это испробовать пути через чердак и подвал. Без особой надежды спустившись по лестнице, он, к своему удивлению, нашёл вход в подземелье открытым и, опытный человек, усмотрел в этом неладное. Прежде чем войти, следовало подумать, как выйти: не ровен час, дверь захлопнулась бы или кто–нибудь запер бы её нарочно, а там и вода могла хлынуть с улицы в нечаянно разбитое им самим

стекло под потолком — и, пошарив по карманам, Лобунин соорудил, что сумел, из скрепки и спичек.

Подвал, как и подобает, представлял собою анфиладу скучных помещений, служивших складами, раздевалками и мастерскими; пройдя их несколько, Лобунин попал в комнату, обставленную, словно дачная закусочная, дрянными пластиковыми столами с грязной посудой на них. Здесь его задержала, как задержала бы и почти всякого русского человека, находка едва початой бутылки — предмета, в его положении и состоянии необходимого. Его подмывало поспешить с добычей к себе, но он не смел унести чужое; с другой стороны, искать владельца не имело смысла — бутылка могла стоять здесь не первый день — и, собравшись двигаться дальше и уже нацелившись на боковую дверь, ведущую, по его вычислениям, в центральный подъезд, он сделал добрый глоток. Выпитое отдавало самогоном и мёдом, и он зауважал местных винокуров.

За дверью оказалась короткая лестница, выведшая его в ярко освещённый коридор, застеленный мягкой ковровой дорожкой и заканчивающийся справа зашторенным окном, а противоположным концом впадающий в вестибюль, куда и направился Лобунин, довольный тем, что шаги стали не слышны. Тотчас ему попалась стеклянная стена бара, но за нею было темно и пусто; пусто оказалось и в вестибюле, куда Лобунин предварительно изучив его в удачно повешенном зеркале, вышел с величайшею осторожностью, чтобы не попасться на глаза портье; но и того не было на месте, а на шкафчике с ключами и стеклянной витрине с вожделенными проспектами висели замки. Необычная тишина стояла в доме, и только откуда–то из дальнего угла доносились вялые голоса; там, в углу, нашлась винтовая лестница вниз, на круглую площадку, вместившую крохотное кафе: стойку и два треугольных столика, за которыми расположилась давешняя девичья стайка. Девушки были невеселы, и беседа их то ли угасала, то ли никак не могла начаться. Спустившись было на несколько ступенек, Лобунин вспомнил о деньгах, вернее — об их отсутствии. «Так оно и лучше, — утешил себя он. — Утро вечера мудренее.»

Крадучись, он вернулся в подвал, где первым делом снова приложился к знакомой бутылке. За этим его и застала появившаяся на пороге девушка в лиловом платье до полу, тонкая ткань которого в полутьме выглядела мелкой кольчугой. Лобунин решил, что она подглядывала.

— Ваше здоровье, — нашёлся он.

— Э, да тут осталось, — удивилась она. — А я несу ещё.

— Не пропадёт, — нахально заверил смущённый Лобунин, косясь на новую этикетку и думая, что удачно выбрал время для своей

вылазки. — Я без спросу отпил, простите. Без этого не обойтись было: настроение, прямо скажем... Хоть вешайся... Впрочем, у вас, видимо — топятся. Завтра получу по чеку и отдам.

— А, пустяки. Нам продают со скидкой.

— И вы в одиночестве попиваете. Занятно.

— Денег же вы, может случиться, не получите и завтра. Знаете ведь, как это бывает в банках: то ревизия, то бандиты. Да что вы так смотрите? Я шучу, шучу. В крайнем случае вам дадут талоны на еду, а их и в баре принимают, и девушке можно заплатить.

— Спасибо, что просветили.

— Ваше счастье, что напали на меня: из других тут слова и клещами не вытянешь.

Взяв с незамеченной им полки стопку бумажных стаканов, она налила Лобунину:

— Выпейте, не то у вас такой вид, будто вы замёрзли или обижены и вот–вот зарычите. Да постойте, у вас ведь собака была, правда? Мне такие вещи видны. Была ведь?

— Какое там... — почуяв подвох, махнул он рукой.

— Что ж, вы правы, жизнь здесь подлая, и лучше поменьше рассказывать о себе: всё будет обращено во вред.

Ему вдруг совершенно ясно представились библейские глаза Пса, смотревшие с укоризной; Лобунин подумал, что перед человеком чувствовал бы свою вину не так остро. Привыкнув говорить (обычные в таких случаях слова), что потратил на воспитание Пса часть собственной души, Лобунин всерьёз полагал, что тот в самом деле был как раз этой самой родимой частью, только живущей опричь. Разделённые, они должны были погибнуть — понятно, кто раньше, оттого что собачий век недолог, — и только сейчас, возбуждённый выпитой медовухой, Лобунин, прежде, как и любой нормальный человек, отгонявший мысли о смерти, вдруг сообразил, что должен бы, напротив, просить её приближения, потому что первым, встретившим его на небесах, будет Пёс.

— Мне бояться нечего, — ответил он девушке, — тем более — сплетен в чужом городе. Всё, что можно было, я уже напортил себе сам — и не здесь.

— Вам нужны лишние неприятности? Да и вылазка в подвал... Не вы первый находите эту дорогу. Лучше не рискуйте напрасно, а забирайте обе бутылки и возвращайтесь домой.

— Домой! Впрочем, окрестность меняет цвет в зависимости от количества выпитого. А местное зелье и само окрашено прелюбопытно — наверняка врачует раны, утешает в скорби, молодит и предохраняет от

сглаза, не так ли? Но я–то искал другого: хотел приобщиться к здешней ночной жизни. Жаль, не взял буклет — целая стопка лежала на стойке: надо же хотя бы по картинкам представить себе ваши злачные места: казино в аквариумах, фантастические подводные бордели...

— Вы нас переоцениваете: воображения местных жителей достало лишь на устройство ночной бани. В десять часов город уже спит, чтобы не видеть воды.

— А у нас в эту пору только жизнь начинается, — с тоской вспомнил Лобунин, не веря, что и сам когда–нибудь примет здешний распорядок дня. — Кто идёт к женщине, кто — на большую дорогу, а кто — просто посидеть с друзьями. С друзьями — это чтобы не пить, как вы, в одиночку.

— Здесь выбора нет, так что ступайте, ступайте. Это всё же казённое помещение. Ничего хорошего вы тут не высидите.

Уязвлённый, Лобунин подумал, что мысль о месте встречи со своей собакой пришла ему в голову неспроста, и следует приготовиться ко всякому; но он слабо верил в такую скорость развития событий, чтобы ему в один приём перенестись на небеса — да ещё и неизвестно, на небеса ли.

— Хорошо, — наконец согласился он, с неохотой поднимаясь и прикидывая, нельзя ли попросить девушку обслужить его в кредит. — Чтобы подвести черту, не стоило из одного опустившегося города бежать в другой. Здесь, вижу, всё идёт, как у нас, а мы–то в простоте своей представляли, будто местные жители едва ли не ходят вниз головой, как в Австралии.

— Главное, пережить первую ночь.

Но именно она и страшила Лобунина, вообразившего, будто забежал слишком далеко на север и ночь протянется полгода; с другой стороны, все эти долгие шесть месяцев он был бы в безопасности.

— Первая ночь — это звучит...

— Сейчас светает рано, — сказала девушка, откидываясь на спинку стула и так вильнув при этом всем телом, что Лобунин на секунду усомнился в назначении её лиловой чешуйки. — Вы понимаете, что я имею в виду? И всё равно, ни одна собака вас не найдёт.

«В том–то и беда, — едва не сказал вслух Лобунин. — Он же маленький и не может без меня. Однако нужно взять себя в руки: ещё немного, и я стал бы исповедоваться перед проституткой».

Он снова, назло ей, уселся — на край стола. В этот момент погас свет.

— Посидите спокойно, — вздохнув, велела она, угадав его намерения, — не то поколотите чашки.

Слышно было, как она шарит на полке. Потом чиркнула спичка.

— Это часто бывает, — объяснила она, ставя на стол свечу. — Отсыревают провода.

— Как бы тут не заплесневеть. Да, послушайте, а как же колокола? Их что, совсем не слыхать в окрестности? Из–под воды?

— Говорю же, светает рано, — уже не скрывая раздражения, ответила она. — Вы прямо как младенец. И деньги вам дадут завтра, а не через полгода.

— Да к чему тут... — раздражился и он. — Мне другое интересно: вечером–то, вечером случается, наверно, что народ не успевает разойтись из церкви? Так и молятся до утра? И людям ни поспать, ни присесть, и Господь обманывается их рвением?

— Вовсе даже и не Он может услышать молитву: никогда не знаешь, кто стоит рядом.

— И верно, мне боязно было бы молиться здесь... на людях.

«На русалках», — едва не сказал он.

— Вот и мне с ними совсем непросто, — согласилась девушка, испытующе глядя в глаза Лобунину. — Возьмите–ка вторую свечку.

Зыбкий огонёк в его руке не мог осветить углы, где теперь мерещилось самое неожиданное, и обратная дорога показалась Лобунину такой долгой, что он подумал, не заблудился ли. «Это тебе не крестный ход на Пасху», — сказал он себе, понимая, что никогда больше не пройдёт в полночь вокруг храма — если только безрассудно не вернётся к своему другу, возможно, ещё не поверившему в предательство хозяина; он уже не видел разницы в итоге — медленно пропадать поодиночке или неизбежно и самым странным образом скоро сгинуть вместе.

Комната приюта показалась Лобунину вполне уютной при свете свечи; тут в углах тоже скрывалось неожиданное, но такое, что живёт близ любого домашнего очага, не давая обитателям почувствовать себя одинокими. Глядя на живой огонёк, Лобунин не понимал человека, придумавшего электричество.

Девушка в витрине

В городах украшение витрин как действо занимает мало кого из торопящегося мимо народа; иное дело, если зеркальные плоскости, за которыми кто–то раскладывает подарки, сверкнут на фоне кудрявого сельского пейзажа — здесь остановится едва ли не любой прохожий, неважно, местный ли или из заезжих горожан. Так и один наш, наречённый будто бы Алексеем, случайный знакомец, успевший за сутки, проведённые на даче приятеля, приучить зрение к простым, в общем, предметам — сараям, лопатам, собакам и ботве, — задержал шаг перед внезапным после глухих заборов и зелёных канав окном универмага, а затем и вовсе застыл, когда там пошевелился манекен. Только постепенно обретя дар речи, Алексей ткнул в стекло пальцем и восхищённо воскликнул: «Тю! Как живая!» Босая девушка в джинсовом комбинезоне не отозвалась, хотя и в самом деле была живою, в отличие от двух соседок, вполне человекообразных, но по чьему–то изощрённому умыслу лишённых довольно важных принадлежностей, а именно — темечек; впечатление получалось такое, будто кто–то черпал компот, да потом забыл про крышки. Девушка выглядела прехорошенькой, и первым побуждением Алексея было подойти к ней с той стороны, из магазина, завести разговор, а там уже посмотреть, что из этого выйдет, но он вовремя сообразил, что для предполагаемых упражнений следует чувствовать себя в форме, его же сейчас смущала вечерняя нетвёрдость походки, а ещё более — рабочая, испачканная землёй и цементом одежда. Что ж, сегодня жизнь не кончалась: знакомый, которому он помогал давеча по хозяйству, звал приезжать и ещё, теперь уже просто в гости, и эту новую поездку Алексей как раз бы и мог использовать для того, чтобы завести приятное знакомство. Он не опасался снова принять девушку за манекен, хотя и не мог бы ответить, чем различаются их устройства, не снимается ли крышечка и у этой красотки — нельзя ли и у неё разжиться клубничным взваром. Окажись так, он не нашёл бы в самой придумке ничего диковинного, лишь поинтересовался бы способом исполнения; для этого стоило завтра зайти в больницу, поспрашивать, как они добиваются, чтобы вышло аккуратно — пилят или рубят? Если последнее — он знал добрый инструмент: тяжёлый нож с прямоугольным лезвием шириной с ладонь, секач.

Пока же, взглянув на часы, он увидел, что магазин вот–вот закроется и есть смысл подождать выхода продавщицы — нет, не пристать по дороге, это был бы провал, в таком–то виде, а, проследив, узнать, где она живёт, далеко ли от станции, и если далеко, то ничего потом и не затевать.

Девушка, между тем, задержалась за стеклом ещё и после звонка, перекладывая в витрине вещички и пристраивая на пустые головы уборы. Чтобы напрасно не мозолить глаза, Алексей отошёл подальше, за большой куст сирени; наблюдая оттуда незаметно, он заодно справил нужду. Задержка вышла ему на руку: прочие продавщицы, конечно же, спешили разбежаться пораньше, и у этой могло не найтись попутчиц; так оно и получилось.

Слежка оказалась делом нелёгким из–за того, что другого народу не попадалось на улицах, чтобы ему спрятаться за спинами, и Алексей был, как на ладони; на всякий случай ему пришлось отстать так, что пропадало всё удовольствие. В конце концов, как и следовало ожидать, он её потерял — завернув за очередной угол, только и увидел, что сходящиеся в необитаемой перспективе линии заборов. Готовый к этому, он всё же обозлился, и не столько из–за самой потери (пусть не дом, но квартал, где она живёт, Алексей узнал), сколько оттого, что на всём пути не нашёл подходящего места для будущей засады.

Уходя восвояси, Алексей вновь достиг универмага на удивление скоро; это его утешило, словно уменьшив долг продавщицы перед ним, — выходило, что он забрался не в такую уж даль. Обезлюдевшая витрина выглядела диковато, и Алексея позабавили канотье на манекенах, не способные ввести его в заблуждение; определив для себя эту маскировку как обман трудящихся, он решил, что не только третья, неподдельная девичья фигурка здесь была — и была бы — весьма кстати, но и четвертая, мужская: он сам должен был войти в застеклённое пространство и прямо там стащить с девушки комбинезон вместе с трусиками; зеваки лопнули бы от зависти.

«Когда я вернусь, — предвкушая небывалое, пропел Алексей, — когда я вернусь...»

Пока что он возвращался — домой. Дачники тянулись в город, до отказа набив электрички. Не став протискиваться в вагон, Алексей расположился в тамбуре, сев на корточки; его забавляло, что другие пассажиры, тоже уставшие, упорно остаются на ногах. Но и ему самому едва не пришлось подняться, когда на следующей остановке вошли два

не то студента, не то еврея; мало того, что они наткнулись на Алексея, так один из них вздумал ему же и выговорить: «Ты что, гадить, что ли, сел? Гадят у нас в сортире, в крайнем случае — в кустах,» — на что второй отозвался, объясняя: «Смотри, здесь ясна тенденция: сегодня они сели на корточки — завтра пойдут на четвереньках. Если не вмешаться, послезавтра они вернутся на деревья.» Алексей так и не смог решить, обидно ли для него сказанное; наверно, следовало бы потрясти за ворот того, кто ближе, да лень было подниматься. Его не воодушевило даже воспоминание о вчерашнем фильме с артистом Михалковым — »Уставшее солнце», кажется, — который от нечего делать пришлось смотреть у приятеля по телику и который понравился только презрением, с каким там вывели всю эту обрыдлую интеллигенцию. «Вот ведь и кино о них снимают, о шахматистах паршивых, — удивлённо подумал он теперь, — а всё, как с гуся вода.»

Возможно, он и затеял бы сейчас возню, но подле стояли крепкие мужички, пусть и свои на вид, но вполне способные, сгоряча не разобравшись, его же и зацепить как зачинщика. Поэтому Алексей только плюнул вослед и, поёрзав, устроился поудобнее.

Один из этих соседей был, несмотря на жару, в берете и в пятнистой форме, якобы военной, но с чем–то вроде свастики на рукаве. Будь такая же нашивка и у Алексея, он бы не боялся никого, теперь же, бесправный, мог только про себя возмущаться преимуществами, какими почему–то пользуются новые фашисты. Если бы это зависело от него, Алексей всякому велел бы носить эмблемы — и уголовникам, и демократам, — чтобы люди добрые без труда понимали, кто есть кто, как в армии. Вообще, армия нравилась ему своим порядком, и он согласился бы служить снова, пообещай ему там деньги и хоть какую–то волю. Кое–кто, он слышал, так и устраивался, но вербовка происходила в неведомых местах, не касаясь Алексея или его знакомых; он даже не знал, где навести справки.

Пока же Алексей жил настолько без знаков отличия, что и сам о себе не знал твёрдо, кто он таков среди прочих; впрочем, он и не задумывался над этим — занятие было не из любимых. Гораздо приятнее, нежели рассуждать, то есть отыскивать по закоулкам и складывать одно с другим нужные слова, ему было представлять себе картинки на тему. Сейчас, например, он с вдохновением нарисовал в уме свой портрет — в спортивном костюме, зелёном с одной жёлтой штаниной и с нашивкой на левом рукаве — на фоне манекенов в окне универмага; картинка получилась такой живой, что Алексей непроизвольно потрогал свою макушку — убедиться, что крышечки откинуты только у кукол. Потом,

развив сюжет, он получил ещё одно своё изображение — но в темноте и в засаде. Темнота, правда, получилась неполною, через неё назойливо проступали какие–то светлые глыбы, и когда он догадался напрячься, словно переключая зрение с дальнего на ближнее, то оказалось, что на уровне его глаз, всего в каком–то полуметре, маячат голые женские колени. Ногти на ногах соседки были ярко накрашены, как и у той, из витрины: она украшала себя, приманивая самцов, но наверняка подняла бы истошный крик, вздумай Алексей дотронуться. Так же она закричала бы, если б кто–нибудь сорвал стоп–кран и пассажиры, брошенные друг на друга, затопали бы по чужим ногам, по её ухоженным пальчикам. Алексей знал и ещё один способ остановить поезд, только для этого нужно было находиться не внутри него, а на твёрдой земле: положить на рельсы украденный или взятый взаймы манекен — машинист с ума бы сошёл, увидев за поворотом распростёртое на полотне тело. Сошли бы с ума и следователи, впервые столкнувшиеся со столь странным взломом, после которого и товары, и деньги остались бы на месте, а завмаг хватился бы лишь пустоголового манекена женского пола. Жаль, Алексей не представлял себе, из чего их делают: если лепят, как простые статуи, из глины или гипса, то утащить такое изделие было бы не под силу и двоим. По нему, лучше бы кукла была резиновой, со всеми подробностями, чтобы её вдобавок удалось использовать как настоящую женщину; владельца её, однако, подстерегала бы опасность: приятели, для которых ничего не жалко, стали бы просить куклу напрокат, отчего сам он рисковал бы заразиться, как от живой, да и ревновал бы, видимо, отчаянно.

По тамбуру прошёл шумок, каждый из стоявших над Алексеем слегка переменил положение, и женские коленки тоже аппетитно заколебались. Алексей придумал вскочить с корточек так, чтобы головой как бы невзначай поддеть юбку, но женщина, как нарочно, отступила на полшага, отодвинутая новым действующим лицом в чиненых сандалиях, и Алексей, подняв наконец взгляд, увидел, что она показывает билет контролёру. То же готовились сделать и другие, даже фашист, все трезвые, словно в будни: так поздно оторвались от грядок, что не было времени отдохнуть. Сам Алексей, изрядно хмельной, билета, как всегда, не брал и теперь, лишённый нашивок, оказался слаб перед жалким гипертоником в форменной фуражке. Ничего не оставалось, как уплатить штраф — меньше, чем за проезд в оба конца, но дело было не в деньгах, а в принципе: теперь всякий подумал бы, что он сдался, окружённый врагами — контролёром при исполнении обязанностей, дачниками, полуживой массой занявшими все мыслимые места

в вагоне, высокомерными студентами, которых не достал плевок из пересохшего рта, и призраками милиционеров, вынюхивающих пьяных для получения откупа. Даже девушка в витрине была врагом — иначе он не замыслил бы на неё охоту. Все они наверняка ненавидели Алексея: пенсионер в фуражке, ставший его сиюминутным начальником, — как пошлого «зайца», дачники — как не имеющего дачи, как батрака, а не хозяина, женщина с ноготками и коленками — как грязного бродягу, студенты — сами сказали, как кого. В ответ он, справедливости ради, ненавидел их — за обратное. Противники обычно окружали его и на работе: одним следовало платить дань, чтобы не докучали, от других — утаивать часть товара и выручки, третьих — обсчитывать. Окружённому неприятелем, Алексею приходилось охотиться в одиночку. Ни в одном деле он не знал союзников — и тоска была неимоверная, — но лихорадочно старался обзавестись хотя бы завалящими, понимая, что одинокий волк напугает лишь одинокого, а стая страшна и толпе.

Никто не увидел в нем волка, он так и пошёл по улице не узнанным, словно тротуары кишели не людьми, отличающими себе не подобных по малейшим особенностям лиц, а манекенами. Чтобы эти чужаки поняли наконец его суть, не обойтись было без насилия — руки чесались ударить кого-нибудь встречного в живот или открыть у него крышечку: вот когда одни люди сразу стали бы зверьми, другие — людьми, а их копии вернулись бы за стекла магазинов. Пока же — он изумился этому открытию — в пространствах столичных витрин ему не попадалось наряженной куклы в натуральную величину, ей просто не нашлось бы места среди разбросанных товаров. Москва явно отставала от собственного пригорода.

Навстречу, глядя мимо, прогарцевала рослая девица на высоченных каблуках. Алексей не существовал для неё ни как волк, ни как дворняжка, ни как предмет обстановки; такое отношение немыслимо было со стороны мужчин, и Алексей вдруг понял, в ком заключено зло мира, бессмертное, как Кощей. Перед злом приходилось отступать — и в то же время дозволялось обладать им, не видя причины особенно выделять отдельных его носителей: в темноте все различия исчезали.

Между тем, путешествие закончилось, пусть и с задержкой из-за того, что дверь долго не открывали — быть может, по ту сторону не слышали звонка. Когда же он ударил ногой и отсрочка истекла, то увидел перед собою жену — в фартуке, потную и с ножом-секачом в руке.

— Явился, — презрительно бросила она. — Где тебя носило два дня?

— По морям, по волнам, — без улыбки, нагло ответил Алексей.

— Он ещё шутит! Я-то думала, на брюхе приползёт, а он — волком смотрит!

— Нормально смотрю, — остывая, пожал он плечами. — А где был — да нанялся в субботу убирать витрину, заработался, обо мне забыли и заперли на ночь. Хорошо ещё, удалось перебраться в винный отдел.

— У неё и заночевал, — поняла жена.

Алексей задумался, пытаясь вспомнить, отчего и в самом деле не остался ночевать в витрине. .

Эффект отсутствия

Ожидание реформ побуждало заняться и собственным делом, и он долго носился с планом открытия в славянской столице Гайдар–парка по образу и подобию лондонского — вовсе не ради того, чтобы высказывать там свои мысли, а лишь полагая, что хорошо бы дать такую возможность другим. Власти не могли бы помешать этому в наше замечательное всякими попустительствами время; мешали только законы природы. Как известно, публика в Лондоне имеет обыкновение слушать речи, возлежа на хорошей травке, и ещё лучше известно, что для доведения травки до нужной кондиции её надобно стричь в течение трёхсот лет — на это, понятно, не хватит никакой жизни (её, впрочем, не хватает ни на что, особенно при вечных на оную поползновениях).

При нашей бедности достало бы не то что газона, а хотя бы невытоптанного пустыря, но ведь и того, по определению, не могло сыскаться в Москве, и Бабадаев уже был готов махнуть рукой на свою выдумку, когда вдруг, заехав в малознакомый район, увидел из автобуса невероятный пейзаж, какой, он подумал, нормальному человеку может только присниться под пятницу. Этот странный, а в будущем лунном освещении, видимо, и жутковатый вид произвёл на него такое впечатление, что прежний замысел устройства говорильни немедленно смешался с новым, пока ещё смутным, но и неистребимым.

Перед ним в необоснованном разрыве между кварталами лежал сдобренный убогой речкой огромный кусок пустой земли — очевидно, как неуверенно определил наш городской житель, заливной луг. Задним планом служил акведук, сработанный ещё рабами Рима (кем же ещё?) и настолько соблазнительный для съёмок, что никогда не попадал в кадр, даром, что неподалёку располагались и большая студия, и даже институт, где обучались режиссёры и операторы кино.

Путь по солнцепёку до римского водопровода оказался не таким коротким, как показалось с дороги, и Бабадаев, разомлев, едва не решился искупаться в речке; к счастью, встречный мужчина, удержавший от того же шага свою собаку, образумил и его. «Вся шерсть вылезет», — объяснил тот, и Бабадаев — внял. Вода, между тем, выглядела вполне чистой, позволяя в подробностях видеть хранящиеся на дне детали машин, железные койки, куски кладбищенских оград и мотки проволоки — всё ж не колючей. Наивная тропинка уводила вдоль берега под мрачную арку и затем в кусты, за какими в темноте пристало бы затаиваться злоумышленникам. Бабадаеву вспомнился старый фильм, в первых кадрах которого человек шёл в тумане, ночью, по зловещему болоту, между торчащих коряг и голых извилистых стволов, и опытные зрители ждали, что его вот–вот убьют, но (именно так) проходила томительная минута — и его убивали. Потом там же шёл второй, и всем казалось, что уж этого–то убьют точно; но застреливали и его, и похоже было, что ни один актёр так и не доживёт до начала действия. Вот и сейчас Бабадаев предчувствовал, что очередной герой, пройдя тропинкой, исчезнет навсегда. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, неизвестная девушка, обдав французским ветерком, удалилась за акведук, не удостоившись нападения, но Бабадаев, глядевший вслед не мигая, лишь умом понимал, что видит её сию секунду, но не мог отделаться от ощущения, что её там, за аркой, вовсе нет, что зримое — обман и лишь отсутствие — правда. Он внезапно понял, что в этом месте ему следует поставить статую знаменитого палача, неожиданную для тех, кто, наслушавшись вольных речей, вздумал бы расслабиться на лоне природы. Он и сам толком не объяснил бы своей затеи; просто для Гайдар–парка до сих пор не нашлось не только лучшего, но и никакого места, а скульптура палача сама по себе так и просилась встать возле мрачного пролёта, за которым так трудно воспринималось всё живое.

За статуей дело не стало. Их ещё десятки оставались в городе — и каждая лгала. Прообраз представал перед зрителями то хитрым дедушкой, то управдомом, что, собственно, и требовалось в прошедшие времена, и Бабадаеву непросто было придумать нечто, перевёртывающее эти представления — не вкладывать же было в кулак изваянию топор, хотя как раз этот инструмент более прочих подходил к родным российским условиям и даже, выскальзывая из протянутой вперёд руки, напоминал бы о знаменитом предвидении классика, сообразившего, что осуждённые не избегут усекновения голов хотя бы и скрывшись с планеты. Будь Бабадаев космонавтом, ему особенно страшно было бы столкнуться на орбите не с чужим аппаратом, а с колуном; его ужасала картина — окружённое облаком невесомых брызг крови, несущееся в чёрной пустоте орудие мясника.

Статую — небольшую, в человеческий рост — пришлось похитить: Бабадаев, даже имей деньги, не знал законных путей её приобретения;

впрочем, некую сделку всё равно пришлось заключить — такую, что впоследствии никто не понял, отчего это однажды ночью из ворот захудалого заводика выехал трактор с прицепом, в котором покоилось накрытое брезентовой простыней тело с указующей на звезды рукою. Очертания таинственного груза вызывали у редких прохожих на удивление одинаковые восклицания: мечта импотента.

Погрузку начали при полной луне, что делало тайное явным, но стоило тронуться в путь, как погода переменилась: небо затянулось тучами и, высасывая из урн мусор, во все стороны подул ветер. Сначала мало кто обращал внимание на медленную, словно похоронная, процессию — малолитражку с синей милицейской мигалкой (купленной на рынке), трактор с прицепленной платформой и дребезжащий суставами подъёмный кран, — но шквалистому ветру удалось откинуть край брезента, и голова палача заблистала, отражая фонари. Первым её заметил недреманный страж порядка. Козырнув изваянию, он осведомился у водителя, что да почём, и, узнав приблизительно, побрёл от нечего делать рядом, не решаясь поправить простыню. Он не сделал этого и позже, при появлении антагонистов — двух бритоголовых пареньков, только что творивших в тени нечто подозрительное то ли с пьяным, то ли с кем. При виде человека в форме они повели себя умно, не бросившись наутёк, а, наоборот, поспешив навстречу и нагло осведомившись, не нужно ли чем помочь; узнав, кого везут, они вмиг посерьёзнели.

Скоро вокруг прицепа собралась порядочная компания — причём таких людей, что редко попадаются заполночь на улице: тут шагали и пенсионер в похоронном костюме с орденскими ленточками, и фотограф с аппаратом без вспышки, и мать с ребёнком на колёсиках, и юный критик общества — единственный, кто оказался здесь если не к месту, то хотя бы ко времени; все, кто встретился, те и пошли, кроме одной скучавшей возле гостиницы проститутки, которую позвали нарочно, но в ответ узнали, что она с этим истуканом рядом и не сядет...

Одобрял ли прежде кто–либо из них казни, осуждал ли хотя бы в душе, не имело значения, оттого что боялись расстрела и те, и другие — настолько, что не решались пинать и дохлого льва; страх вынуждал их наблюдать за церемонией до конца, провожая монумент столь торжественно и скорбно, словно гроб близкого человека. В медленном шествии чувствовалось, при безлюдье и во мраке, что–то мистическое; повези Бабадаев статую днём, не вышло бы ровно никакой демонстрации.

Демонстранты обыкновенно не терпят соперников и с подозрением относятся к зрителям; наши — и в ночи старались заслонить

главную фигуру от черных взглядов, при этом не бездействуя и в прочем: старый большевик, например, составлял список попутчиков, надеясь, что они образуют костяк какой–нибудь будущей организации, страж порядка на ходу располагал этот костяк в строй, лишённый освещения фотограф вхолостую смотрел в видоискатель, юный критик сыпал политическими и похабными анекдотами, варвары копили силу и только женщина с коляской в сомнении всё норовила пристать к обочине.

Речи, помимо анекдотов, велись разнообразные, но, как заметил невольно внимавший им из автомобиля Бабадаев, то и дело обращавшиеся к теме былых гонений, причём в такой странной тональности, что постороннему уху могло почудиться их одобрение. Между тем, затеянное Бабадаевым дело должно было бы, по мысли, послужить как раз обратному, и статуе предстояло встать так и в таком месте, чтобы прохожие люди не вспоминали, а сейчас же забывали палача напрочь. Об этом хорошо думалось — и мелочи вырисовывались — в машине, но стоило, наскучив сидеть под синей мигалкой, вылезти и пройтись немного с примкнувшим народом, как намерения тускнели, а свободные соображения словно бы вязли в клею; тогда он начинал беспокоиться за ребёнка в коляске — не надышится ли тот липкой гадости, не наслушается ли ненужного. Мать, видимо, опасалась того же и, отвлекая, всё заводила песенку — колыбельную, бывшую уже не по возрасту, едва ли не оскорбительную для подросшего человечка: «...не ложися на краю: придёт серенький волчок и укусит за бочок».

— Привозят на Новодевичье троих, — продолжал свои истории критик общества, — русского, китайца и англичанина, выгружают из катафалков...

— Вы хотели рассказать о Мавзолее, — напомнил страж.

— Передумал, — вызывающе рассмеялся критик. — Решил, что не все поймут. Там, впрочем, тоже пляшут на могиле — негр, русский и, конечно, еврей. Вам должно быть всё равно, о какой могиле слушать, содержание–то одно — кости да черви. И то сказать, не любо, не слушай, а врать не мешай.

— Врите дальше.

— Да уж перебили. Что–то нынче плохо выходит: говорю одно, а слышится другое.

Бабадаеву слышались шаги Командора и тяжело–звонкое скаканье, и он нервничал, опасаясь, что дед в чёрной паре или страж в фуражке спровоцируют какую–нибудь мерзость — они–то не осек-

лись бы на полуслове, как понятливый критик, а гнули бы своё, не обращая внимания на расходящиеся круги. К счастью, до места оставалось всего ничего: машины уже свернули с проспекта, и Бабадаеву стало безразличным настроение демонстрантов: через несколько минут тем предстояло, пройдя под акведуком, потерять силу толпы и, значит, влияние на сюжет; он знал, что сколько народу ни пройдёт на ту сторону, там будет безлюдно, однако вышло так, что не прошло нисколько: увидели приготовленный пьедестальчик и сгрудились подле, так что на дальней стороне безлюдно не стало, а осталось. Соответственно и маленькая бабадаевская толпа осталась толпою и затеяла, по природной склонности, митинг. По проекту Бабадаева фигуре следовало восстать перед аркой, указывая через неё рукою на вторую, пока тщательно оберегаемую от обсуждения, часть композиции, но большевик с ленточками, по незнанию усмотрев в такой позе — спиной к народу — нелепость, потребовал повернуть монумент к пустырю — хотя и не проведал ещё о Гайдар–парке. Публика горячо поддержала его (кто ради порядка, кто — для интриги), скандируя: «Ли–цом, ли–цом!» — и Бабадаев спас положение лишь случайно: беспомощно сославшись на утверждённый проект. Кем, чем, когда утверждённый — уточнять не понадобилось, это слово само по себе оказалось волшебным, и люди, уже готовые было к бунту, теперь кинулись помогать.

Назад они, включая нарочно мешкавшего фотографа, уехали на освободившейся платформе — тракторист торопился, — а Бабадаев, оставшись в одиночестве, перешёл на вторую, скрытую за кустом площадку, где из припрятанных загодя заготовок быстро собрал изящное сооружение в виде буквы Г — классическую виселицу. К ней и простёрлась рука палача, который при жизни работал другими орудиями, но теперь либо изменил привычки с возрастом, либо просто указывал нищим последователям путь, более для них экономный.

Светало быстро, и Бабадаев опасался, что его обнаружат раньше времени. К окраске статуи он приступил уже при солнце — мазал её чёрной краскою, чтобы не блестела; виселица же была окрашена ещё накануне, дома. Никто ему не помешал, и, оглядев своё произведение с земли будущего парка, автор увидел, что оно хорошо — не бросается издали в глаза, не докучает вблизи и вместе с тем разумно замыкает пространство, давая понять, что крамольные разглагольствования прекрасны, но всему на свете есть предел. Фигура недвусмысленно приглашала экскурсантов познакомиться с прописным Г, но стоило бы им поддаться, как, по мере приближения, сначала статуя, а затем и буква потерялись бы, не вынеся соперничества с римской громадой. В таинственных кущах терялись бы и прошедшие под аркой ораторы парка, словно не было вовсе на свете ни их, ни города, а существовали только ядовитая речка и кусты, за которыми кто–то кого–то подстерегал.

С лёгкой душой Бабадаев побрёл восвояси.

До открытия парка — с трибунами, кассами тотализатора, пивными и общественными туалетами — оставались ещё месяцы, а пока что утром на пустырь (или заливной луг) пришли жители выгуливать собак. Забредшие за акведук не обратили внимания на новые предметы, но прочие, стоя от нечего делать на пешеходном мостике, углядели вдалеке виселичку с понурым телом Бабадаева.

Похороны меня

Вышло так, что умер я, не дождавшись славы, отчего в день похорон был в смятении, не понимая, сокрушаться ли о прошлом, о будущем ли. С настоящим обстояло проще, из–за его неспособности изменяться, как к нему ни относись; оно, к тому же, изобиловало неожиданными подробностями, которые следовало запомнить, потому что такие вещи случаются раз в жизни.

Сама по себе известность никогда меня по–настоящему не интересовала, теперь же наша с нею разобщённость обернулась тёмною стороной, и Дом литераторов отказал в помещении для панихиды. Это — проза смерти, и о ней не стоило бы говорить, когда бы не очевидные для моей карьеры последствия. Будь гроб выставлен в писательском клубе, в траурный зал могли бы заглянуть на огонёк, по пути в ресторан, какие–нибудь важные лица — глядишь, к слову и слово за слово, договорились бы об издании моих сочинений. Так нет же, прощание с телом состоялось в больничном морге, в нелепом, похожем на бокс гаража отсеке, где совершенно исключались нечаянные встречи неблизких покойному людей. С близкими же как раз происходило непредвиденное.

Плача получилось предостаточно. Женщины способны плакать даже на похоронах посторонних, куда попадают по обязанности, и щедрые слезы новоиспечённой вдовы никого не удивили. Точно так же никого, кроме вдовы, не удивила печаль нескольких неизвестных здесь дам, неведомо как прознавших о церемонии; кроме одной, все они в своё время были связаны со мной лишь платоническими узами, но близки мне более прочих. Совсем не в такой обстановке я хотел бы с ними встретиться; предваряя протесты нашедших тут плоскую шутку, спешу заявить, что оскорблён пренебрежением к своей последней воле: вопреки моим многим, когда между строк, а когда и прямым пожеланиям, меня не стали отпевать в церкви (дети, правда, пытались настоять, но не сладили с большевистским напором старших). Вообще, всякие похороны следует устраивать до смерти, чтобы усопший имел возможность проследить за исполнением собственных распоряжений;

я, например, не только заказал бы церковную панихиду, но и похлопотал бы о месте на деревенском погосте, и отверг бы мраморную плиту в пользу креста. Главное же — я быстро, по горячим следам, добился бы посмертного издания хотя бы избранных своих работ, ведь кончина писателя — самый благоприятный момент в его биографии. Кроме меня самого, сделать это оказалось некому: при жизни я не сумел назначить себе душеприказчиков, наследники же не годились для такого дела никоим образом, оттого что моё сочинительство считалось в доме блажью, и теперь, избавившись от него самым радикальным путём, семья жаждала общепринятого покоя.

Не будем говорить о вдовах, но вспомним, что между женщинами считается более достойной та, чей муж богаче; никакие их или их супругов добродетели — ни ум, ни, тем паче, таланты — в расчёт не принимаются (так в армии шофёр генерала всегда стоит на голову выше полковничьего шофёра). Поэтому нечего искать сподвижниц среди жён, поэтому и не будем говорить о вдовах. Незавиден удел быть женой неизвестного писателя, вдовой — тем более, и такие женщины предпочитают стыдливо умалчивать о профессиях своих супругов, последние же иногда так до конца жизни и не понимают, как навредили себе, заключив брачный союз. Вообще, браку напрасно придаётся преувеличенно мистическое значение — как, впрочем, и похоронам. В действительности похороны — это лишь досадное нагромождение непривычных забот и расходов. Чтобы избавиться от негодной вещественной оболочки бывшего члена семьи, надобно соблюсти множество условий и условностей; в том же, что попутно делается для сохранения следов отлетающей души, у нас наблюдается полнейший произвол. О самой душе знают лишь то, что ей надлежит являться в старый дом на девятый и сороковой дни; только в день погребения ей уделяется толика внимания, выраженная в поднесении стопки хлебного вина со ржаным ломтём на закуску. Мою — угостили тем же самым, начисто забыв, что врачи не разрешали мне, после инсульта, ничего, кроме коньяка; понятно, что эта водка осталась нетронутой.

Выпивке в народе тоже придаётся мистическое значение; в моем перечислении это уже третий пункт, и непредвзятые критики могут попенять мне за то, что я зря валю всё в одну кучу, однако иначе нельзя было бы объяснить, почему две из незнакомых другим собравшимся женщин мало того, что позволили себе прилюдно всплакнуть, но и явились затем в дом на поминки. Вдова, по привычке предположив скандал, еле сдержалась, чтобы тотчас не поинтересоваться их историей, — быть может, и спросила бы, не исчезни те после первой рюмки.

Они ушли одновременно, но так и не перемолвившись между собою ни словом и не узнав о некоем общем для них знаменателе: молча спустились в одном лифте и на улице разошлись в разные стороны, словно ничто не связывало их в этом мире (возможно, так оно и стало теперь). Мне доподлинно известно, что всё пошло бы иначе, сойдись они не в гараже, а в церкви (я не оговорился насчёт гаража, потому что, когда молчание и слезы в морге были соблюдены, обморок одной из этих двух замят, а речи неродных иссякли, прямо в зал вдруг въехал, пятясь от снегопада, автобус с разверстой для поглощения меня задней стенкой; здесь легко предположить и дальнейший конвейер): после отпевания в храме они безошибочно потянулись бы одна к другой, угадав сходство судеб. Каждую в отдельности я всё собирался просить позаботиться в случае чего о моих делах — собирался, но не успел. Я и сейчас затруднился решить, за какою проследить до конца, и в итоге остался в неведении относительно обеих.

То и дело забегая вперёд и в стороны, я невольно уклоняюсь от главного рассказа; похоже, что он так и не запишется за ненадобностью. Похороны пугают, пребывая в неопределённом будущем, но теряют своеобразие и забываются, отойдя недалеко в прошлое. Они имеют смысл единственно в момент совершения, в сей минуте, повествование о которой невозможно физически, и остаются из–за этого собственностью покойника. Он один имеет возможность наблюдать за последним спектаклем сколь угодно долго — не заботясь при этом о сохранении приличного выражения лица: оно скрыто под гримом, наносимым для театрального представления; самочувствие под этой маской интересно лишь ему самому, и он долго ещё живёт этим маскарадом, музыкой Шопена и анекдотами в задних рядах, воспринимая происходящее сейчас как праздник.

Не стоило бы рассказывать пребывающим в унынии о своём празднике, который не омрачила ни неопределённость дальнейшей судьбы, ни сюрпризы из прошлого, свидетельствующие о тесноте мира. Для моего удобства впервые сошлись в одной точке мысли чужих друг другу людей, сделав меня центром своего притяжения; странно, что, приняв это как должное, я не испытал полного удовлетворения; наверно, моё тщеславие умерло вместе со мною. Гораздо больше мне понравилось, что в единственной точке пространства сошлись и их тела и я смог рассмотреть оные так подробно, как никогда прежде. Так я открыл, что старший из сыновей знаком с одной из тех печальных женщин, которые пришли сюда, как чужие и как бы на ощупь, — так близко знаком, что чмокнул её в щеку. Рассеянно улыбнувшись в ответ, она отвернулась ко гробу; на кладбище она не поехала, затерявшись в окрестностях морга.

Все эти будто бы посторонние женщины уходили по–английски, не прощаясь; зато говорливы и оживлённы оказались мужчины. Оживлённы — в настоящем тексте звучит нелепо, оттого что относится не ко мне, а к людям, живым и без того. На эту игру слов никто из них, литераторов, не обратил внимания — по той причине, что они лишь считались профессионалами, будучи занесены в списки и платёжные ведомости, но оставались равнодушными и к словам, и к играм, отчего, усвоив, что и зачем надобно писать, никогда не имели понятия, как. Именно об этом, приятно меня поразив, неожиданно заговорил человек, которого я видел впервые; он же напомнил публике об общем долге передо мною; нужно было подумать, соглашаться ли с этим, но тут был хорош поворот сюжета: понадобилось всего лишь умереть, чтобы из почтенного должника превратиться в почётного кредитора.

Наше государство более или менее искренне любит только тех, кто успел умереть; мне не хочется додумывать мысль до конца, решая, есть ли это проявление русского характера или последствие правления варваров (второе, разумеется). Если верить надгробным речам, я стал наконец любим, и это меня устроило. Я стал любим вне семьи более, нежели внутри, — меня устроило и это, оттого что в моём новом качестве семья стала излишня. Отныне я могу считать себя холостяком или многоженцем, всё равно — это более не имеет значения даже для меня самого: нынче все равны передо мной, различаясь лишь отношением к наследству. Потеряли также значение и чувства, связывающие их — симпатии и неприязни. Важным осталось то одно, что я умер в России, где давно уже почитают только мёртвых.

Туннель в конце света

По мотивам

Впервые Даниил попал сюда нечаянно, когда самолёт, в котором он летел, присел на военном аэродроме; пассажирам, выпущенным на твёрдую землю, не верилось, что их задержала буря: здесь, на краю земли, светило на чистом небе голое зимнее солнце, внизу стократ отражённое от ледяных граней, и океан был спокоен, как деревенский пруд. Пейзаж был невиданный: сверкающие льдины на зеркальной воде, а по другую сторону лётного поля — угловатые, словно наколотые топориком из холодной глыбы, белые горы — как на полотнах Рокуэлла Кента, в своё время ошеломивших нашего студента: подобного искусства тогда ещё не видывали на советской земле. Потом ему уже не попадались такие полотна — и вдруг сейчас он воочию увидел удивительную натуру американского живописца: кристаллы гор, словно растущих прямо из воды, и ослепительные льдины. Неправдоподобные виды так и просились на плёнку, их можно было бы снимать и снимать бесконечно, и Даниил клял себя за то, что не оставил фотокамеру при себе, а упаковал в недоступный теперь, запертый в багажном отсеке чемодан. Он даже готов был немедленно купить здесь другую, но на аэродроме не торговали не то что товарами для путешественников, но и ни газетами, ни чаем — ничем.

Когда Даниил прилетел сюда снова, уже нарочно, он был во всеоружии (аппарат болтался на шее) и лишь опасался, что бдительные солдаты пресекут его самодеятельность, едва он снимет крышку с объектива — напрасно, потому что ещё с прошлого раза знал от диспетчера, милой девушки в форме с погонами прапорщика, что стоит выйти за забор, и можно фотографировать сколько душе угодно — и пейзажи, и собачьи упряжки, буде те прибегут, и даже заинтриговавший его (ему дали посмотреть в бинокль) спуск то ли в овощной склад, то ли в бомбоубежище; Даниил спросил, что там, и она сказала: туннель, он спросил, куда, и она шепнула на ухо: дальше. В его понимании дальше было некуда, потому что аэродром назывался «Конец света» — название, придуманное явно для конспирации, но другого Даниил так и не услышал, не увидел (впрочем, не увидел и никакого, ни на какой стене), — и по законам природы и веры за означенным концом ничто не могло бы существовать для живущих на этом свете (он быстро сообразил, что за краем этого должен начинаться — тот).

В то, что здешняя местность и в самом деле, и у географов считалась краем земли, поверить было легко, потому что наверняка им были известны и другие края того же: мало ли где и кому вздумалось когда–то провести границу. Однажды Даниил слышал от бывалого человека, что португальцы определили на своём берегу точку, западнее которой нет в Европе, и там, стоит лишь, обойдя многозначительный крест, подойти к обрыву, как всякий поймёт: вот он, конец земли, а впереди, хоть прогляди глаза, будет лишь океан, океан и ничего, кроме океана (Даниил возразил было, напомнив, что таким путём, хочешь или нет, а не минуешь Америки, но рассказчик только отмахнулся: Америка — это же миф).

До входа в туннель пришлось идти и идти, и пока Даниил туда добрался, не только успело зайти солнце, но и наступили поздние сумерки, и он уже не видел, а лишь угадывал впереди и внизу незапертые ворота. За ними тьма и вовсе сгустилась до предела, так что смешно стало представить себе, будто можно сделать ещё темнее — на грамм, на градус, на полутон… что возможна ещё какая–то ступень темноты. Если до сих пор он ещё мог надеяться разглядеть случайную звёздочку или светлячка, то с истечением вечера (по часам было будто бы не так поздно) потерялась уже всякая надежда.

Он долго думал, что всё ещё бредёт по голой равнине (не дай Бог — по лесу, пересчитывая лбом стволы), по долине, пока несколько раз не притёрся локтем к бетонной шершавой стене, поверив тогда ещё и в потолок, присущий всякому коридору. Немедленно поправившись — туннелю, — он было обрадовался тому, что теперь можно бы ждать и банального света в конце — напрасно: коли он уже добрался до конца света, то что тут было надеяться на разрыв трубы, пролом в стене, лифт для инвалидов или пожарную лестницу? С другой стороны, не напрасно же построили этот ход… Зато напрасной могла стать нынешняя прогулка: Даниил скоро упал духом, не зная,. чего ждать в конце пути: вступления в освещённые факелами сказочные чертоги, пошлого столкновения с заткнувшей трубу глухой перегородкой или всё же каких–то встреч. Соответственно не знал он и своей очередной цели без цели. Его вылазка была бы оправданной, когда бы затевалась ради спорта, однако для него такие выдумки не имели смысла; он не раз задавал самым разным людям один и тот же вопрос: что прибудет у человечества, если он, ставши футболистом, ловко закатит мяч мимо вратаря в чужие ворота?

Или — если промажет? Или: а что прибудет, если он в одиночку влезет на гигантский осколок камня, торчащий где–то над облаками, чуть ли не в стратосфере, где уже нечем дышать? Потом, правда, будет что рассказать за столом.

Повернуть назад он не торопился, а задавал себе задачки: пройду ещё пять минут — и посмотрю, нужно ли продолжать, потом ещё пять, потом ещё — и шёл дальше, потому что не зря же потерял уже столько времени; вдобавок, сам по себе обратный путь — тягучий подъём — не привлекал его. Впереди он всё–таки надеялся на что–то интересное — иначе почему девушка–прапорщица его не отговорила, а посоветовала: пойдите, посмотрите. Вот он и смотрел.

Давно уже не поступал он так безрассудно — нырнул, не зная дна, куда–то во тьму, рискуя или разбиться о близкие камни, или быть втянутым сильным течением в гиблое место, а если говорить проще, то просто влез в чужой подпол, а то и в нору, не ведая, не затаился ли в её глубине зубастый хозяин.

Много такого может затаиться в темноте, перед чем любой из нас бессилен.

— Рыба–кит, — засмеялся Даниил, уже нервничая и понимая, что давно уже должен был бы идти под водою, и недоумевая: разве край земли — это одновременно не край воды?

— И что ни вообрази, — неизвестно для кого храбро произнёс он через минуту, — а конец света — страшная должна быть вещь.

Страшная, по определению, но он не испугался же — просто за много бесполезных часов перелёта не успел обдумать свои возможные приключения и не принял новой игры, в которой мировой катаклизм маскировали названием местности; в ней были свои тонкости, и Даниил заподозрил в самом существовании ненужного на первый взгляд туннеля что–то вроде отрицания конца.

— Бред, — уже негромко продолжил Даниил спустя ещё минуту. — Существует ли конец света или только ещё теряется где–то впереди, всё равно, мне уже не вернуться назад.

Утешая себя, он вопросил, уже в мыслях: «Да какой же может быть конец у шара?»

Тотчас неясно забрезжил и другой вопрос, нечто вроде «А был ли шар?» — оттого что недавно ему попалось в жёлтой печати предположение, будто Земля имеет форму вовсе не глобуса, а всего–навсего — таблетки. Теперь Даниил нашёл, что будь наша планета и в самом деле плоской, ему открылись бы новые возможности: дойдя у конца света до кромки, он мог бы поднырнуть под неё и тогда пуститься в обратный

путь по тому же диску, только теперь уже — будто бы вверх ногами, как муха — по потолку, став скрытым ото всех оставшихся в старой стране чудес. Впрочем, стражи далеко бы его не пустили, а выползя из–за сугробов, скрутили б и отволокли на заставу, чтобы потом неделями нудно допытываться, отчего он решил стать антиподом.

Зачем Даниил пустился в авантюру, сейчас он не сказал бы даже и сам себе, но не напрасно же его тянуло в заброшенный подземный ход чуть ли не пуще, нежели — на натуру, с камерой в руках. Так длинен был пустой тёмный туннель, что Даниил усомнился, не ведёт ли он на тот свет, не привёл ли уже — могло случиться и так. В читанных прежде Даниилом рассказах тех, кто пережил клиническую смерть, всегда присутствовал туннель (со светом в конце, да ведь когда–нибудь и здесь включат какую–нибудь лампочку), выводящий к месту невероятных встреч; чтобы пережить такое, нужно было всего лишь умереть.

Тогда, если Даниил действительно умер, ему в конце концов (о, опять — в конце!) должны были бы повстречаться погибшая несколько лет назад жена, давно ушедшие предки, многие отставшие от них близкие — и даже его собака. Для всего такого, понимал он, нужен был особенный свет, Даниил даже почувствовал, как тот изготовился затеплиться внутри… но лишь — внутри, не открывшись во внешнюю тьму.

К счастью, ни колдобины, ни бугры сплетённых корней, ни подлые ступени ему не досаждали, и он, немного привыкнув и уже не боясь упасть, шёл, хотя и шаркая, но более или менее уверенно, зато каждый миг ждал лобового (в самом буквальном смысле) столкновения с поперечной стеной и не мог даже ненадолго опустить протянутую вперёд руку. Устав так её держать, он замечтал о каком–нибудь прутике и невольно то и дело поглядывал под ноги, не валяется ли — быть может, и валялся где–то, да поди его разгляди…

От темноты у него разболелась голова: так сильно он вглядывался.

Скоро он всё–таки споткнулся — не о случайную неровность, а о собственный башмак — видимо, устал, если ноги стали заплетаться, — и выругался в сердцах. В ответ донеслось не эхо, а смешок.

— Неужели тут есть кто–то живой? Эй! Эй! — бросил он в темноту, и невидимая женщина ответила издалека, что — есть, пока.

— Не двигайтесь, пожалуйста, — попросил он: иначе было бы не догнать.

Так они и соединились: он что–то коротко восклицал, одну гласную («Э!»), женщина отвечала не длиннее («Я!»), и Даниил сумел вообразить, будто нашёл что–то вроде опоры в пространстве. Иными словами, их перекличка оказалась не лишённой содержания.

Наконец женщина остановила его рукою.

— Далеко же вы зашли, — услышал он и почувствовал, как кровь отливает от лица (находись он в другом месте, сказал бы: потемнело в глазах); наверно, ещё немного — и он упал бы: голос… В первый момент он даже не разобрал, о чём говорит женщина — так странен был её голос: такой же или этот самый когда–то принадлежал Лоре, его погибшей жене. «Уж не умер ли я, на самом–то деле? — серьёзно спросил он себя. — Вот и этот туннель… И Лора вышла встречать…».

Постепенно до него всё–таки дошёл нехитрый смысл слов женщины, и он объяснил:

— Дорога — как началась, так и запятую поставить негде… Но вы–то как? Без фонаря…

— Не на что светить: иди да иди. У меня есть прутик.

— А не страшно? Одной?... Интересные, однако, пошли нынче девичьи прогулки.

Она фыркнула:

— Девичьи!..

— Виноват. Да на свету уточним, надеюсь, — пробормотал он. — Хотя… любой слепец разобрался бы на ощупь.

— Попробуйте и вы, — подумав, предложила она.

— Забавно. Это что–то новое.

Даниилу ещё не приходилось начинать знакомство с женщиной с её ощупывания — да он просто не смел прикасаться к чужим лицам. Сейчас же темнота позволяла многое; прежде чем приступить, он успел вообразить нежность девичьей кожи и её тепло, и влажность губ… «Заодно сразу можно будет и поцеловать», — предположил он, возбуждаясь и одновременно рисуя себе страшную картину завтрашнего пробуждения рядом со страшилищем.

В одном фантазия не подвела его: женская щека оказалась свежей, ароматной и («О Боже, разве я научился узнавать возраст по запаху?») всё–таки не юной, зато черты лица так ему и не открылись, и он даже и через минуту, наверно, появись рядом ещё одна женщина, не различил бы их; пожалуй, только Лору он бы узнал и на ощупь, и на запах, вкус и слух, а пока же смел бы утверждать то лишь, что эта женщина, с её узким носом и сочными, но скромной величины губами, не может быть негритянкой — мысль об уподоблении чернокожей пришла Даниилу неизбежно — оттого, что и он, и никто не разглядели бы её на здешнем фоне.

Опуская руку, он не преминул коснуться — легко, вскользь, словно невзначай — её выпуклостей, узнав всё, что позволила плотная одежда. Черт же лица Даниил попросту не понял, они выглядели, как у всех (только с Лорой он бы её всё–таки не спутал, не сравнил бы), и больше сравнивать было не с кем; ему пришлось признаться, что нет, не постиг (чуть было не сказал «не расщупал») лица, и женщина простила: ещё будет случай.

Она, поворачиваясь, случайно задела Даниила рюкзаком, в котором лежало что–то жёсткое, с углами, и тогда объяснила: туфли, а потом добавила: книга, но он не стал спрашивать, какая, всё равно ответ не имел здесь значения, и вместо этого сказал, будто извиняясь:

— Эта темнота…

— Но — вечер…

— Это лишь догадки.

— Можно не заметить дождя.

Даниил всполошился:

— Разве тут нет потолка? Я думал, мы в трубе. А — море?

— Никогда не знаешь, откуда капнет.

— И — кто. И всегда капают — на меня.

— Я даже подозреваю аварию.

Даниил сразу вспомнил старую шутку: конец света — это авария на электростанции; здесь она, однако, прозвучала бы пошло.

Женщина продолжила, объясняя:

— Раньше тут кое–где попадались лампочки. Как бакены на реке.

— Но голос! Это не ваш голос! Вы… Вы кто?

Он хотел только узнать её имя («Только бы — не Лора») и загадал возможные ответы — Валя, Зина, Нина, хотя в его сюжете годилась только Алиса, — и она ответила: Нина.

— Как славно, — похвалил он себя за догадку. — Выходит, вы здесь не впервой?

— Пару раз проходила.

— И знаете, куда идти? Ну да, вперёд, я понимаю, но — зачем? Там что–нибудь покажут? Там наконец рассветёт?

— Не то время: скорее, стемнеет. А что вы хотели увидеть?

— Хотел — всё. Но теперь — вас.

Нина пробормотала:

— Делать вам нечего.

— От нечего делать как раз и происходят самые серьёзные вещи. Но вот что: разве сюда спускаются — по делу?

— Для моциона, — отрезала она, и Даниил с неудовольствием вообразил свою обратную дорогу: в гору да в гору — нагуливать аппетит. «И кстати, — сказал он себе, — нелишне было бы перекусить. И как

это я оплошал? Что стоило сунуть в карман бутерброд?». Мысль о еде опечалила его, движущегося уже непонятно в какую сторону (после того, как в роли незрячего покрутился вокруг женщины); теперь его беспокоило несколько иное — предстоящий ночлег: он уже сомневался, вернётся ли до ночи в гостиницу. При этом он не был уверен, что ночь ещё не наступила: в туннеле он потерял представление не только о пространстве, но и о времени, словно оно могло идти лишь если хозяин часов видел, куда.

— Да и какое может быть дело? — рассуждал он вслух. — Военный городок — этим всё сказано: чем особенным могут в нём заняться женщины?

Спутница словно не слушала, а он и не ждал ответа: внимание обоих было направлено более на то, чтобы не оступиться, чем на беседу, и хотя движенье по ровному полу было само по себе нетрудным, оба запыхались.

Так они и шли дальше молча, не зная, как ещё долго, и не зная (он), куда, пока вдруг впереди не возникла синенькая точка — казалось, близко, но Даниил не поддался обману: синие огни всегда мерещились ему висящими в воздухе ближе, чем соседние им красные, зелёные, жёлтые.

На фонарик идти стало легче.

Огонёк оказался совсем крохотным, не лампочкой даже, а светодиодиком, какие можно увидеть на панелях ноутбуков, и всё же с расстояния нескольких шагов он слепил совсем, как фара автомобиля, подъехавшего в упор, так что Даниил не мог разглядеть, на чём тот укреплён. Женщина дотронулась до огонька — это была кнопка, — и щёлкнул замок. Старомодно певучая дверь впустила их в узкую, прочь от входящего, скромно (а сразу показалось — чрезмерно) освещённую казённую комнату, в дальней стене которой была крашенная серым дверь с такой же, как в иных музеях, табличкой «Продолжение осмотра», а вдоль длинной стены стояли два письменных стола. Свет от настольных ламп с глухими колпаками тратился на небрежно разбросанные бумаги, только оттуда уже попадая на всё остальное. Даниил, однако, смотрел не на обстановку, а на свою спутницу, вовсе не чернокожую, как он глупо продолжал называть её про себя, а не просто белолицую, но такую бледную — ни кровинки, — словно она прожила в туннеле много лет, вовсе не видя солнца.

«Вывести б её отсюда навсегда, — захотел он. — Там солнце отражается ото льда, и она быстренько загорит». Лицо ж её… Нет, она не была красавицей, но непросто было отвести взгляд от этой темноволосой женщины с голубыми глазами и некрупными чертами (разве что лишь прямой, изящный носик казался чуть–чуть длинноватым), —

настолько на первый взгляд чистой и наивной, что Даниил угадал в ней нечто порочное.

В помещении было жарко, и Нина, ловко дав куртке соскользнуть с плеч, осталась в открытом — очень открытом, открывающем плечи, словно бальное, — тёмном платье; в её рюкзаке нашлись и лёгкие босоножки на шпильках, и Даниил с удовольствием (она ухитрилась даже снять колготки, юркнув за конторский шкаф) следил, как ловко она в них впадает.

— Мы что, здесь надолго? — озадаченно проговорил он, но не получил ответа, потому что сзади (разве из того же туннеля?) подошли два пограничника.

Они обрадовались Нине, как близкой знакомой, и только поинтересовались, отчего пришла она, а не Гелла.

Услышав новое имя, Даниил оживился:

— Гелла? Рыжая красавица?

— Серая, — поправила Нина, — а насчёт красоты лучше помалкивать. Фельдфебель Гелла!

Пограничники, которые, пока стояли рядом, казались Даниилу на одно лицо, разошлись по местам, за столы, став и вовсе одинаковыми; Даниила пригласили присесть подле. Один из служивых, выбрав из разбросанных бумажек чистую, приготовился записывать: имя, фамилия, год рождения…

— К чему это? — воспротивился Даниил. — Лучше я пойду обратно.

— Сейчас–то вы пришли — сюда.

— Прогуляться. Моцион.

— Не та дорожка, не та. Правда, на вкус и на цвет товарищей нет.

— Мои причуды — это я.

— Не понял. Семейное положение?

— Разведён. С женой я бы сюда не полетел. А в чём, собственно, дело?

— Происхождение?

— Из рабочих и крестьян, — смело солгал Даниил.

— А сейчас?

— А сейчас — с самолёта.

— Летать не боитесь?

«Вежливые, всё же, люди, а ведь простые солдаты: всё на «вы», да на «вы»», — заметил Даниил и ответил пограничнику:

— Висельник не утонет.

— Это не ответ. Иной утонет, а на виселицу как раз опоздает. Так вот… Место жительства?

Даниил назвал.

— Не лень было сюда пробираться? Неспроста ведь прилетели, а?

О своём желании поснимать природу Даниил разумно умолчал.

— Читать, писать обучены?

— Неужели вам тут и безграмотные попадаются? Хотите, я всех обучу?

— Проголодались?

— Хороший вопрос, только не пишите в протокол: сейчас время ужина, — сказал он не очень уверенно, припоминая известную историю, приключившуюся однажды с барышней, угодившей (как и он?) в нору и там что–то или съевшей, или выпившей; последствия были непредсказуемы.

Сам он не искал приключений.

— Неприлично отказываться от угощения, — попеняли ему.

Нина уже накрыла стол: скатёрка, колечко колбасы, две бутылки питьевого спирта… Её поторопили:

— Начнём, пока Геллы нет?

— Этак, думаешь, тебе достанется больше?

— А ты не знала? Мне всегда от неё достаётся, — пожаловался солдат, разливая на троих.

— В четыре стакана, — поправила Нина и, дождавшись, пока он закончит дело, провозгласила: — За «Конец света»!

— Смело сказано, — заметил Даниил. — Как бы кто не понял неверно… А всё ж я — достиг.

— Но не приложили к протоколу завещание, — остудил его пограничник. — Хоть записочку.

— Вдруг я грамоте не знаю?

— Не дерзите. Допрос не окончен. Образование?

— Выше некуда. Повторяетесь, однако: за ваш конец уже выпили.

— Повторим, в самом деле…

— …и в путь, — сказала Нина Даниилу.

— Не стоит засиживаться, — согласился он, недоумевая: неужели и она пойдёт дальше? Больше того: неужели пойдёт он сам?

«И стоило ей переобуваться?..».

Даниила уже торопили, а он всё не мог допить свой стакан. К таким порциям — сразу по полбутылки — его приучили было в юности, но позже это умение сошло на нет, да у него дома давно не водилось гранёных стаканов, а только рюмки да фужеры. Теперь, с отвычки, он, едва привстав, обнаружил, что неловко кружится на месте. Ему пришлось вцепиться в край стола. Обнаружив, что на него смотрят, Даниил попытался загладить неловкость шуткой, но, хотя чужие слова слышал ясно, разобрать свои, вылетевшие горсткой, не сумел.

Нина, рассмеявшись, махнула рукой:

— Пусть посидит часок. Не то ещё потеряете его по дороге.

Слышал он эти слова или нет, но через час вдруг проснулся сам и громко произнёс:

— Так кто из нас засиживается? Я уж и выспаться успел, а пришёл сюда не для того.

— Для чего — это мы разберёмся, не стоит вам волноваться, — заверил пограничник. — Ну а если вы уже отдохнули, то — вперёд.

Они трое, и слова не сказав женщине, ушли как–то неловко, гуськом: один солдат впереди, второй — позади Даниила. Передний открыл висячий замок на двери, обещавшей дальнейший осмотр чего–то, и все трое оказались в помещении, похожем на подземный гараж: потолок поддерживали бетонные столбы, пространство между которыми занимали в беспорядке фанерные ящики высотой в человеческий рост. На первом же плане, сразу за дверью, стояла электрическая тележка, какие обычно водятся в заводских цехах.

— Залезайте, — предложил солдат.

Даниил поспешил вскарабкаться на платформу, даже не думая, что запачкает джинсы.

Свет между тем кто–то выключил, и электрокар осторожно покатил при свете своей немощной фары, позволявшем разве что не наткнуться на очередной ящик; объезжая их, тележка так беспорядочно металась то вправо, то влево, а то и, возможно, возвращалась назад, что Даниил скоро потерял представление о частях света и облегчённо вздохнул, когда она наконец выбралась на чистое место. Это снова был туннель.

Даниилу отчаянно хотелось пить, но он молчал, зная, что от первого же глотка воды оживёт давешний спирт, а тогда — и в самом деле, не свалиться бы ему на ходу; он предпочёл трястись на холодной стальной платформе, вглядываясь в пространство, не освещённое фарой: не потому не освещённое, что лампа была слаба, а потому, что не нашлось, что освещать — первый же попавшийся предмет как раз и осветился бы. «Выключи этот фонарь — и ехать будет не хуже», — решил Даниил, расхрабрившийся после своего перехода в полной темноте.

Моторчик подвывал, колёса подрагивали, отсчитывая бесконечные швы дорожного покрытия, и Даниил сонно загадывал, что ждёт его впереди: выход на американский берег, очередная конторская комната с неизменным водонагревателем у входа или стеклянная стена, за которой плавают морские чудища.

Долгий путь закончился всего–навсего перегородкой (на какую Даниил опасался наткнуться, пока шёл пешком); теперь, видимая, она

была не страшна, тем более, что её прорезала двустворчатая дверь, через которую его и провёз ленивый электрический экипаж, и которая вела на волю: на снег и ночное небо.

— Бог мой! — в изумлении вскричал Даниил. — Да в том же месте я и вошёл!

Это и в самом деле было то самое место. Настала ночь, и Даниил увидел и звёзды (и возжелал — полярного сияния), и огни аэродрома, и внезапно зажёгшиеся фары стоявшей неподалёку машины; они высветили целую группу встречающих. Старший из них, с погонами майора, подойдя вплотную, поинтересовался именем нашего путешественника и, не глядя в счастливое лицо Даниила, произнёс знаменитое милицейское слово:

— Пройдёмте!

Темна вода во облацех

сть к чистой бумаге — добрый порок. Многие из пишущих, едва взяв в руки новенькую тетрадь, воображают, будто именно в ней запишется нечто нетленное, более того — будто она уже хранит в себе это, и рвутся немедленно извести ее всю. Удивительно, что эти порывы легко приспособить к делу: когда, глядя на пустую страницу, мнишь, что тебе удается различить срывающиеся с нее голоса и очерки лиц, можно, только не упустив момент, сделать не удававшееся прежде; то, что получится сразу, на одном дыхании, и будет хорошо. В другой раз подобного состояния придётся ждать долго, теряя всякую веру в свои способности к сочинительству и тщетно надеясь на случайную помощь извне. Вот и теперь я поторопился начать, едва заполучив письменные, ещё невинные, принадлежности — нет, не тетрадь купил, а принял дорогой подарок, самописку с тончайшим пером, более прочих отвечающим бисерному почерку близорукого человека и тоже, кажется, знающим, какие слова готовы сорваться с его острия. Конечно же, её понадобилось немедля пустить в ход (и даль свободного романа охотно наметилась в конце туннеля), но, как водится, тотчас образовались уважительные причины для занятий не тем и для не–занятий, и я целые сутки нервничал и раздражался, мучая себя и домашних, а когда все–таки добрался до стола, оказалось, что мой непочатый «паркер» остался на даче и придётся писать старой ручкой, не обещающей сюрпризов. Впрочем, это уже не имело значения, оттого что невидимые колёсики, раскрученные накануне, ещё вертелись в голове, неведомые маятнички качались и тикали, и не поздно было с пользою понаблюдать за движением стрелок.

День, проведённый без путного дела, всё же не пропал окончательно: именно тогда я успел узнать кое–кого из действующих в последующей истории лиц, речи которых приготовило было подаренное мне перо. Первой я увидел девушку, и в самом деле некогда (я был моложе нынешнего себя на треть) встреченную на улице. Она шла по другой стороне, и я не различал черт, но обратил внимание на одежду. Чёрная

закрытая кофта из тонкой шерсти дерзко повторяла рельеф отменной груди, а разрез длинной, до лодыжек, васильковой юбки при каждом шаге оголял до середины необычайно белое бедро; белизна его говорила воображению не о весеннем нездоровье соскучившегося по солнцу тела, а, напротив, лишь о детской свежести кожи. Понятно, что девушка была высока и длинноногa. Наблюдая за нею, я невольно взмолился, призывая ее на остановку, где сам ждал трамвая, но она непослушно углубилась в переулок — тот, откуда должен был прийти мой номер; мне оставалось только с сожалением смотреть вслед. Нечаянный старик, к которому вздумалось ей обратиться, показал в мою сторону, и девушка, переспрашивая, тоже протянула руку сюда, изящно помахав кистью, но возвращаться, как следовало и как хотел я, не стала. Лишь когда нужный трамвай прошел мимо, она, спохватившись, пустилась догонять — побежала некрасиво, как барышня.

Сев в вагоне как раз впереди меня, она поспешно достала из сумки и принялась как–то особенно нервно просматривать потрёпанную книгу, я решил — учебник: быстро перелистывала несколько страниц кряду, прочитывала совсем немного, наверно, абзац, и потом долго смотрела в окно, так что я хорошо изучил ее профиль. На улице, глядя издали, я обманулся редкой в наши дни элегантностью походки и туалета, и теперь черты разочаровали простотой: короткий, слегка вздёрнутый нос, небольшие глаза, губы такого рисунка, что можно заранее приготовиться увидеть при улыбке верхнюю десну — лицо провинциалки. Из туго стянутых назад черных волос собиралась выпасть шпилька; пролистав первые страницы, девушка, потрогав затылок, нащупала ее и потом уже непрестанно ненужно проверяла пучок, надолго задерживая, словно забывая, руку, и я увидел, что она коротко стрижёт ногти и не пользуется лаком. Неухоженные руки выдавали её, более, чем черты лица, разрушая первое впечатление. Обручального кольца она не носила, это я отметил без задней мысли, не собираясь заговаривать с нею. Выходя, я не оглянулся — быть может, и она сошла там же, не знаю.

Звали ее Лариса Гайтанова, и ехала она в один из Тишинских переулков, где жила в старом, давно приговорённом к сносу и поэтому постепенно, по дощечке, распадающемся доме. Переступая порог, она всякий раз с огорчением замечала кислый запах запустения, с которым никто здесь не умел бороться, и тишину; казалось, будто дом брошен жильцами и зимовал без тепла. Сегодня её почти испугали движение и незнакомые голоса; она подумала — несчастье.

— Что случилось?

— Ничего не случилось

— Что случилось?

— Таня! Таня! Таня!

— Я не Таня. Позвольте пройти.

— Который час?

— Позвольте же пройти.

И, ничего не понимая и волнуясь, прошла через странную толпу в коридоре, где в темноте угадывала соседей и, вперемежку, чужие лица, новые тени, изучающие взгляды.

Закрыв за собою дверь комнаты, она словно попала на другую сторону земли и в другое, одной ей присущее время, в котором не выжить встреченным сейчас в доме антиподам. Её же собственное существование, наоборот, только и было возможно в окружении прижившихся здесь предметов: пианино, старинной люстры с подвесками, книжного шкафа с резными амурчиками, часов с кукушкой, бабушкиных икон с вечным огоньком, пра– или даже прапрабабушкиного сундука, покрытого домотканой дорожкой, и наконец современной хлипкой мебели, приобретённой Ларисой. В ноги ей бросилась бородатенькая собачонка Чапа; в Москве была мода на это имя, которое давали даже солидным собакам — Лариса однажды видела на выставке тяжеловесного ротвейлера, чемпиона, бывшего почти тёзкой её собачки: тот был — Чаб, и существенная разница замечалась только в полном имени, данном в честь «короля твистов» Чабби Чеккера. Её бородатенькая на родство со знаменитостями не претендовала, а была наречена Чапой ради смеха, потому что шлёпала при ходьбе ногами — чапала.

Бабушка встретила Ларису без улыбки:

— Долго ты нынче. Заждалась Чапуля–то.

— Что, бабуся, у нас происходит? Еле протолкалась.

— Желтухины гараж продают.

— В коридоре...

— Авоську вина принесли.

— Машину где будут ставить — на улице? — пожала плечами Лариса.

— Всё одно съезжать — на кой им этот сарай? Машину, глядишь, тоже продадут. Деньги большие, капитал.

— Продать, бабуся, недолго — что взамен останется?

— Денежки, милая, всегда надобны.

— Протекут меж пальцев — ни машины, ни денег...

— Разве Желтухины продают машину–то? Я не слыхала.

— Они раньше времени не скажут.

— Скрытные люди.

Такая беседа могла затянуться надолго, а Лариса спешила на встречу с подругой; до того же и дом требовал внимания, и Чапа вожделела прогулки. Подхватив собачку на руки, девушка пронесла её людным коридором, крутой лестницей, отрезком улицы и лишь на крохотной площадке, где на месте снесённого сарая росла трава, спустила на землю. Мимо медленно прокатилась дипломатическая машина, и Лариса попыталась представить себя глазами седока. «Дама с собачкой», — определила она и решила, что при нынешнем наряде ей пошла бы широкополая шляпа.

Пассажиркой шикарной машины оказалась молодая женщина. Обратить внимание на Ларису больше было некому (но она нарочно сбежала в безлюдный переулок, чтобы уберечь свою крохотную Чапу от нагрянувшей орды), и всё же тревога, смутившая её во враждебном коридоре, исчезла, и ей теперь захотелось поделиться с кем–нибудь новым ощущением лёгкости и желанием нравиться или быть полезной.

Прохожий юноша застыл на дороге, якобы заинтересовавшись собачонкой.

— Ах, какая лапочка! — найдясь, произнёс он слова, годные при всяком случае; Ларисе угодно было отнести их на счёт Чапы, и она не задержала шага.

— Мальчик или девочка? — поинтересовался юноша, пристраиваясь рядом.

— Сука.

— И как зовут?

— Не станете же вы окликать её на улице.

Юноша отстал, и она подумала о том, как приятна его внешность и аккуратна одежда, и о том, что он, очевидно, сейчас догонит её и тогда придётся обойтись с ним помягче; оглянувшись, она не увидела никого. Ждать приключений от дня, отведённого для подготовки с подругой к экзамену, было нечего.

Дома бабушка завела старую песню:

— Смотри, не загуляй. Не ровён час, старухе худо станет, а тут стакан воды подать некому.

— Что ты, бабусь, я не на гулянку. Экзамен на носу.

— Вот и сидела бы за столом, училась, как путная.

— Одной нельзя, трудно. Да ты не волнуйся, я ненадолго.

— Что только с тобою дальше будет? И сейчас–то на месте не усидишь, а кончишь ученье — поминай, как звали.

— Ларисой.

— Ларисой! Как такая жить будешь?

— Замуж выйду, детей заведу.

— Час от часу не легче! Нет уж, этак ты совсем старуху забросишь. Дай век дожить — мне немного осталось. Вот похоронишь бабку — гуляй, заводи мужа.

— Не могу откладывать, — хихикнула девушка.

— Что это? — насторожилась бабка. — Не понесла ль?

— Боюсь в старых девах остаться. Лет уже много: поезд уходит.

— Поезд? Ты ж сказала — к подруге? Крутишь что–то, смотри, не натвори чего. Поезд!

От таких разговоров настроение Ларисы быстро и безнадёжно падало, сегодня же — особенно заметно, оттого что, кроме обычной темы о необходимости постоянно находиться при бабушке, она сама затронула другую, столь же неприятную — о своем возрасте: нынешний год она считала критическим, потому что, кончив учиться, она из общества сверстников попадала в общество людей устроенных и старших. Правда, она сама, одна, волновалась бы не слишком, но подруги докучали советами, и Лариса, не умея ответить, чувствовала себя несчастной.

Солнце после темноты подъезда ослепило, и жара показалась несносной. Лариса уже опаздывала, но трамвай всё не шёл, а на такси жаль было денег — у неё всего–то оставалось рубля два или три. Наконец решившись, она помахала рукой первой же попавшейся машине: та затормозила, и Лариса увидела, что это и не такси вовсе, а малолитражка. Не умея торговаться с частниками, она решила не садиться, но водитель уже приоткрыл дверцу с её стороны и, склонившись к проёму, настойчиво приглашал — модно одетый и подстриженный, симпатичный молодой человек.

— Теперь без вас не уеду, — услышала она.

— Нам, быть может, не по пути, — возразила Лариса, тем временем устраиваясь на сиденье; ей не так просто было влезть в тесную кабину в своей длинной юбке, не распахнув её донельзя.

— Определённо по пути, — заверил шофёр. — Ещё бы не по пути: я ехал без цели.

— Цель, я вижу, появилась.

— Вы её пока не назвали.

— Кататься мы не поедем.

Ей наконец удалось завернуться в ткань.

— Это чужая машина, — зачем–то пояснил он. — Я проверяю её после ремонта.

— Мне недалеко, к Никитским.

— Куда угодно. Только сразу договоримся, чтобы не ссориться: никаких глупостей с деньгами. Я катаюсь, получаю удовольствие.

Она не поняла, но согласилась.

— Хотелось бы только побыстрее.

— А мне — подольше, — вздохнул он. — Впрочем, если бы наши желания совпали, это было бы уже чудом, а чудеса что–то плохо мне удаются, это доказано только что.

— Что вы имеете в виду — нашу встречу?

— Нет, другое. Тёмное дело.

Повернувшись на сиденье, Лариса внимательно вгляделась в лицо своего водителя, обеспокоенная внезапной напряжённостью его тона. Последние его слова показались ей странными, и она пожалела, что не взяла такси.

— Почему вы волнуетесь? — сама волнуясь, спросила она.

— Разве? Не делает мне чести. Но как бы там ни было, на езде это не отразится.

— Всё же лучше бы вам не отвлекаться.

— О, я не отвлекаюсь, — ответил он, восхищённо глядя на девушку, и рассмеялся. — Мне не нужно отвлекаться на управление.

— Вы часто попадали в аварии?

— Как–то не удавалось.

— Сделайте так, чтобы счёт открыла не я.

— Как скажете. Ваше слово...

— И перестаньте наконец говорить банальности.

— Извините, но так проще на первых порах. Иначе и рта не раскроешь. Со временем мы поймём, о чём говорить друг с другом. Надеюсь, вы и в дальнейшем будете пользоваться моими услугами?

— С какой стати?

Он не ответил, и Лариса, посчитавшая было его способным на недоброе, теперь пожалела о своей излишней холодности. Выдержав паузу, она продолжила, не сумев заметно изменить тон:

— Удовольствие — вещь капризная, и я боюсь, что вам скоро надоест бесплатная работа. Да и машина–то не ваша.

Ему снова не захотелось отвечать, и они оба молчали, пока Лариса не попросила остановиться. Не спеша выходить, она тронула замок сумки, но молодой человек удержал её:

— Стоп, стоп, мы же договорились: без глупостей. Иначе я больше не смогу пригласить вас.

— Сами же сказали, что взяли машину без спросу — так на что же вы рассчитываете завтра? Или послезавтра? Попадётесь, а мне — краснеть. Нет, несолидная у вас фирма.

— Машина будет подана в назначенный час, остальное — мои трудности. Только запишите мой телефон или дайте свой.

— У меня его нет.

— Плохой признак. Тогда назначим встречу.

— Так и знала, что кончится этим.

— Просто мы исчерпали варианты.

Потеряв интерес к спутнику, она всё же записала номер.

Когда, потерпев поражение в борьбе с раскрывающейся настежь юбкой, Лариса выбралась из машины, она увидела, что подруга стоит в двух шагах и смотрит на неё с явным одобрением.

* * *

Годы его были средние. Назвав однажды заказчику возраст, он услышал что–то о галилейском плотнике и, будучи как–никак станочником, обиделся.

Василий давно прочно стоял на ногах, в ремесле считался не последним, дом его был устроен, а семья — сыта, и сам он не одну водку пил, а при иных гостях позволял себе ликёр «Шартрёз», который, честно говоря, не любил. Это вовсе не означало, что в другое время он пренебрегал предложениями выпить в магазине на троих — исключительно оттого, что находил вкус в общении с новыми людьми. Здоровье, однако, следовало беречь, и он соглашался не всякий раз, а с разбором, и слыл среди приятелей непьющим, из–за чего к нему относились уважительно, понимая, что достатком он во многом обязан стойкости характера. С женщинами, на стороне, Василий не гулял; пошутить иногда с глупенькой девчонкой да потискать её в кладовке было не в счёт. Так что жил он довольным собою и немало порадовался, случайно услышав, как соседка говорит его жене:

— Положительный у тебя мужик.

Именно так он и думал о себе.

Сегодня, с получкой в кармане, Василий не забыл остановиться у киоска и купить шоколадку для дочки; ей исполнилось шесть, и звали её красиво: Стелла. Больше он не собирался нигде задерживаться, да, подходя к дому, увидел, что в магазин завезли пиво; это он всегда замечал издали: ящики, сгрузив с машины, ставили штабелями прямо в торговом зале, загораживая изнутри витрины. Подивившись редкой картине, он особенно остро ощутил жару, а во рту — неприятный вкус, и вспомнил, что, пожадничав, съел за обедом две порции селёдки с репчатым горьким луком.

Сосед Гена стоял в очереди у самого прилавка, доставая из авоськи порожнюю посуду на обмен, и Василий поспешил пристроиться к нему.

— Твоя уже взяла штук шесть, — предупредил Гена.

Известие было на редкость приятным, но Василий не мог дотерпеть до дома и отсчитал Гене тридцать семь копеек.

Отойдя с бутылкой в сторону, он стал шарить по карманам, ища подходящий инструмент, сосед же, недолго думая, поддел жестяной колпачок зубами. Василий зажмурился:

— Сломаешь ведь!

— Она железная, крышка, — успокоил Гена, переведя дух после первых глотков.

Напившись, сосед ушёл, не дожидаясь Василия, а тот, оставшись один, не устоял и откликнулся на призыв рябого весёлого парня: и не выпить с зарплаты было грех, и принести водку домой он не мог: жена позволяла только по выходным. Третьего они ждали довольно долго, но рябой не унывал$$– напротив, отчего–то развеселился и, подмигнув Василию, неожиданно обратился к солидному на вид пожилому мужчине в очках и при галстука, спросив доверительно:

— Третьим не будете?

Тот оскорблённою засопел, а рябой, пожав плечами, проговорил с серьёзным видом:

— Извиняюсь. Внешность обманчива.

Несколько человек слышали это и рассмеялись, а один из них, похлопав шутника по плечу, попросил:

— Возьми в компанию. С тобой весело.

— Ещё и не так будет, — пообещал рябой.

— В этом ли веселье? — назидательно просипел, входя в их кружок, маленький старичок тоже заметно довольный выходкой рябого. — В старину великий князь рек: веселие Руси есть пити.

— Во дал! — воскликнул, изумившись, Василий. — Как же это теперь забыли? Надо бы на плакатах писать.

Но особенно долго порассуждать ему не дали: очередь рябого уже подходила, и надо было отсчитать деньги. Третьего они отправили за плавлеными сырками; рябой, правда, пожелал себе лично «сто грамм сметаны, чтоб не заводиться», но ему даже не ответили — столь наивной показалась просьба. На старичка они постарались более не обращать внимания, чтобы не пришлось делить бутылку на четверых.

Подъезд нашли чистый и прохладный, в новом доме, подальше от магазина и от дружинников; третьему, правда, там показалось тесновато, но и бутылка, и закуска свободно разместились на подоконнике, а требовать иных удобств было просто стыдно.

— Как он сказал, дедок–то? — попытался вспомнить Василий. — Насчёт того, что у нас пьют — веселятся?

— Дался тебе этот старикан, — отмахнулся рябой. — Он же просто примазывался выпить на халяву — и всё тут.

— Хорошо ведь сказал, — пожалел Василий. — Такое твёрдо помнить надо. Видишь, человек в старину говорил, князь, а в народе до сих пор повторяют, значит — вещь.

— Ты, часом, не учитель?

— Мастеровой.

— Мастеровой? — захохотал рябой парень. — Мастеровой — ну и фиг с тобой. Вот тоже слово откопал! Везёт мне сегодня: то этот одуванчик старый режим помянул, то ты. Ну, коли мне такое везенье, то пью первым.

— Нет, надо разыграть, — возразил Василий.

Они кинули на пальцах, и первым выпало пить Василию, а рябому — после всех, и Василий остался доволен жребием, потом что умел, отметив ногтем уровень и затем качая бутылку при каждом глотке, незаметно передвинуть палец. Рябой огорчил его, достав из кармана гранёный стакан.

Внизу хлопнула дверь, и бутылку пришлось на всякий случай спрятать за спину, но тот, кто помешал им, не внушал, казалось, опасений: и не мальчишка был, не комсомолец, и одет вольно, в джинсы и пёструю рубашку, и волосы отрастил длинные, по моде. Наполнив стакан, рябой протянул его Василию.

— Ну, дай Бог... — начал Василий.

— Эй, лучшего места не нашли? — окрикнул длинноволосый.

— А тебе что, больше других надо? — угрожающе проговорил Василий. — Проходи–ка, проходи, не лезь не в своё дело.

— Прошёл бы, да свинства не люблю.

— Что ты сказал? — шагнул к нему Василий, и тут стакан выскользнул из его руки.

Все оторопели, даже длинноволосый, но тот всё же быстрее остальных оценил положение и разразился нехорошим хохотом. Когда Василий сообразил, что следует проучить виновника, последний уже был в лифте. Кабина проползла мимо Василия и его собутыльников — если их теперь можно было так называть.

— Что ж, — сказал рябой третьему. — Допьём пополам с тобой из горла.

* * *

Сегодня у него ночевал товарищ, который, засидевшись накануне, не захотел тащиться через весь город. Утром Платону пришлось ждать,

пока тот побреется его бритвой, да и завтрак за разговорами затянулся; в результате он едва не опоздал на работу. На улице Платон ещё мог бежать, но потом в длинном переходе метро попал в окружение медленно и бестолково идущих людей; его и прежде раздражало, когда пешеходы, явно незнакомые друг с другом, не обгоняли и не отставали один от другого, а так и норовили строиться парами и шеренгами, как члены одной семьи, занимая весь проход или тротуар. «Синдром советских родственников, — ворчал по этому поводу Платон. — Лечиться надо». Перед ним маячила спина долговязого мужчины, нагруженного связкой книг — без упаковки, а лишь старомодно перетянутых ремешком; тот явно относился к сорту людей, кому в толпе непременно наступают на пятки, как если бы они забывали вовремя переставлять ноги. Дважды наткнувшись и едва не разув попутчика, Платон обозлился. Вдруг захотев, чтобы с долговязым случилось что–нибудь неприятное, он живо представил себе, как тот спотыкается, едва не падает и, чтобы сохранить равновесие, неуклюже взмахивает длинными своими руками, отчего книги с шумом сыплются на пол. Платон позже так и не понял черты между этой воображённой картиной и действительностью, даже усомнился потом в главном — в том, что он сначала не увидел, а вообразил, — но в переходе произошло вот что: шедший впереди Платона неожиданно споткнулся на ровном месте и, высокий, стал падать на соседей так, что те шарахнулись, а он, нелепо взмахнув руками, выгнул, чтобы удержаться, спину; книги, что он держал под мышкой звонко шлёпнулись на пол. Кто–то рядом хихикнул, другой — заржал, третья — ахнула, а Платон, юркнув в образовавшийся проход, прибавил шагу; лишь через некоторое время он понял, что случай вышел точно таким, как ему прежде того представилось, и так удивился происшедшему, что и сам запнулся на ходу, и кто–то ткнул его портфелем под коленку.

Занятый своим скорым продвижением — манёврами и обгонами, — он тут же забыл о происшествии, а в вагоне и подавно отвлёкся, уткнувшись в книжку. Его манера чтения была довольно своеобразна: как ребёнок, не любя описаний и рассуждений, он искал одну прямую речь, найденное же изучал досконально. Так он надеялся постичь секрет соразмерности диалогов, в которых (в устной речи) считал себя слабым. Между тем, по его мнению, уменье складно и умно говорить ему, пытающемуся подняться над нынешним окружением, навязанным нелюбимой, но довольно доходной работой, было необходимо в первую очередь.

Платон с радостью сменил бы профессию, но для этого следовало учиться, раз и навсегда сделав выбор, а как раз выбрать единственную специальность он не мог: ему по–мальчишески хотелось всего сразу.

Время, между тем, уходило, и в этом году он, решив поступить хотя бы в какой–нибудь институт, начал потихоньку готовиться к приёмным испытаниям. Документы он ещё не подал, словно располагал месяцами впереди, и лишь сегодня запаниковал: увидев в метро юношу с учебником, он пересчитал дни по пальцам и понял, что их осталось в обрез. Пора было засесть за книги по–настоящему, а там уже и подыскивать новую работу, потому что при нынешней он имел право поступить на вечернее отделение только в технический вуз, а карьера инженера не привлекала его.

В обеденный перерыв один из рабочих отозвал его в сторонку:

— Тут халтуру предлагают. Ты как?

— Без меня, — покачал головой Платон. — Сдаю экзамены в институт.

— С тобой не соскучишься. Давно придумал?

— Утром. А кроме того — давно.

— И куда ты намылился?

— Не знаю, — рассмеялся Платон.

— Рехнулся малый. Не иначе, как на почве любви.

— На унавоженной почве любви... Но скорее уж — на нервной почве. А ещё скорее — у меня цель, которой можно добиваться где угодно: хочу интересно пожить и повидать мир.

— Может, в геологи пойдёшь? Всю карту СССР можно пешком проверить. Как говорят, сам бы пошёл, да деньги надо.

— Можно и в геологи, — согласился Платон. — Или на аэрофотосъёмку.

— Разобьёшься, как пить дать. Хоть и сто раз прилетишь, а на сто первый упадёшь.

— Как повезёт.

— Везёт всегда другим. Да и не позабыл ты ещё, чему в десятилетке учили?

— Я и в армии готовился, там — заставляли, и сам потом зубрил вечерами, а теперь придётся поднажать как следует: с завтрашнего дня засяду безвылазно.

— С завтрашнего — это по–нашему: никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Но, выходит, надо спрыснуть последний твой вольный день?

— Я бы и не завтра, а уже сегодня начал, — вздохнул Платон, — да нужно одно дело доделать. — Как раз на вечер осталось.

Тем не менее он не дождался вечера, а, загоревшись внезапно, воспользовался простоем в казённой работе и отпросился у мастера.

Дело состояло в том, что он ремонтировал побывавший в аварии «Москвич». Машина пострадала незначительно, но она и по возрасту

требовала ремонта, так что Платон с напарником возились с нею больше недели. Теперь оставались сущие пустяки, и, справившись один за пару часов, Платон к концу дня уже выехал из гаража; хозяин «Москвича» улетел в командировку, оставив Платону доверенность, чтобы тот пока пользовался автомобилем по своему усмотрению.

Заперев гараж, Платон присел на траву и закурил. Куда ехать, он не знал.

Платон хотел, чтобы знакомые увидели его за рулём, пока он степенно едет по городу, и чтобы кто–то сидел рядом, когда он, не жалея чужой резины, закладывает пугающие виражи на извилистом шоссе, и чтобы этим кем–то была девушка; он не знал, кого бы посадить с собою — подружки, с которыми случалось бывать в компаниях, не оценили бы мастерства, даже та из них, представлявшая собою странное исключение, оттого что быстрая езда доводила её едва ли не до оргазма; их познакомили прошлой осенью — сам он не проявил бы инициативы, не взглянул бы на такую, тощую и носатую, но тут уже некуда было деться, неловко было не предложить встретиться, и пришлось пригласить её прокатиться — на чужой машине, разумеется. Платон предоставил выбор маршрута ей и услышал необычное:

— Туда, где можно ехать быстро–быстро.

В её понимании «быстро–быстро» могло означать вполне умеренную скорость, но Платон решил поймать девушку на слове. Поездка, однако, началась неудачно: буквально через четверть часа после выезда из города Платона, не заметившего в темноте милицейскую «Волгу» с радаром, оштрафовали за превышение скорости. Такое начало не предвещало хорошего, он по опыту знал, что теперь следует ждать целой цепочки других происшествий и поэтому лучше вернуться, но неудача слишком обозлила его, и он погнал пуще прежнего. Вслушиваясь, как в музыку, в жужжание мотора и совсем забыв о своей спутнице, Платон насторожился, когда в приятную его слуху мелодию вмешались новые звуки, он не понял сначала, какие и откуда: это пассажирка бормотала что–то, забывшись. Постепенно бормотание становилось громче, а дыхание — тяжелее, и еле различимые слова восхищения скоростью и благодарности ей становились всё более невнятными, всё чаще перебиваясь стонами. Он не удивился бы, обнаружив на сиденье парочку, но это девушка в одиночестве отдавалась стихии — шофёра не существовало для неё. «Как славно, ах, как хорошо! — вскрикивала она, распаляясь. — Ещё! Ещё!» Голос её срывался, и Платон, поражённый, подумал: «Как бы девочка не забеременела», — но тотчас и рассудил, что она, возможно, нарочно взвинчивает себя, имея в виду простые намерения водителя, и поэтому лучше остановиться на обочине и обнять девушку, пока та не получила удовлетворение без его помощи.

Возможно, её–то и следовало выбрать сегодня, но ей ли, кому ли другому звонить было пока рано, и Платон пока направился домой — не спеша поесть и принять душ.

Недалеко от дома, возле магазина, где вечно толпились одни и те же пьяницы, инвалид, тоже из завсегдатаев, которого Платон ещё не видел трезвым, неожиданно сошёл с тротуара и, не глядя по сторонам, заковылял наперерез машине. Платон, резко вильнув, угодил колесом в изрядную выбоину у трамвайного полотна, которую прежде старательно объезжал, и стук подвески отозвался в нём почти физической болью. С машиной, кажется, ничего не случилось, но настроение Платона испортилось моментально. Оставшийся кусочек пути он тихо бранился, а когда в своём подъезде увидел, что там распивают на троих, не стал сдерживаться; он готов был даже ввязаться в драку с этими тремя. Драка назрела тотчас: один из компании, самый крепкий, с тяжёлыми кулаками, уже двинулся на Платона, не поставив почему–то никуда полный стакан, и Платон подумал насмешливо: «Куда ж ты — с водкой? Не боишься расплескать, а боишься, что дружки выпьют? Да ты ещё когда будешь спускаться по лестнице, разольёшь. Пожадничал, а теперь и размахнуться нельзя — как же ты выйдешь из положения? Так разлей, брось драгоценный свой стакан, алкаш несчастный, брось же, тебе говорят!» Ему нестерпимо захотелось, чтобы тот разжал руку, он представил даже, как ослабевает хватка потных пальцев и стакан скользит вниз.

Противник разжал пальцы и выпустил стакан.

Платон опешил.

Будучи лишь зрителем, он пришёл в себя первым — и засмеялся. Смех вышел странным — неудержимым, как икота. Конечно, ему смешно было, что пьяница выбросил стакан с водкой, а читатель разбросал книги, но Платон смеялся не над их неловкостью, а от страха, хотя пока и не мог взять в толк, с какой стороны грозит и как выглядит опасность: обрывки того, о чем важно было бы подумать, ускользали, никак не сгущаясь в понятные слова, а лишь вскользь задевая сознание, и Платон понял, что пропадает.

Дома, вымыв холодной водой голову, он уселся на кухне лицом к стене. В поле его зрения находились невымытая чайная чашка, кувшин с водой, огрызок карандаша и чахлая геранька в горшке, неведомо зачем переставленная на стол с подоконника. Теперь, в спокойной обстановке, Платон осмелился составить вопрос: уж не научился ли он творить чудеса? Это прозвучало нелепо, и он фыркнул, но память тот-

час снова предъявила ему две сливающиеся картины, связанные единым действием: падением — книг, стакана, долговязого незнакомца, — последовавшим за злым желанием Платона. Чудесного он в этом не находил, оттого что чудо в его представлении могло быть лишь добрым, а он сегодня творил дурное, но как ни назови, а выходило, что то ли взгляд, то ли мысль Платона действуют на расстоянии; новую эту способность следовало доказать опытом.

В обоих нынешних случаях Платон, кажется, сначала представлял себе желаемое происшествие зрительно, вот и теперь было легче всего вообразить, например, что круглый карандашик вдруг сам собою покатился по столу. Когда–то он читал в газете о женщине, способной передвигать предметы взглядом; забыв от волнения о прочитанном, он верил сию минуту, что сам придумал испытание. Надувшись, Платон уставился на карандаш. Лоб вспотел от напряжения, но на столе не произошло никаких перемещений, и он сказал себе, что глупо пытаться навязать свою волю бездушному кусочку дерева, а нужно иметь дело с живой природой. От его взгляда, переведённого на цветок, одному из листиков должно было стать тепло, теплее, чем остальным, потом ещё теплее, потом горячо — в конце концов листу следовало завянуть. Платон снова напрягся и уже, кажется, наблюдал увядание воочию, но едва стоило ему расслабиться, как он увидел, что с цветком ровно ничего не произошло. Он слышал, что растения чувствуют — и предчувствуют — боль, но этому, видимо, ничего не грозило. Ясно было, что опыт придётся ставить с живым существом. Высунувшись в окно, он увидел на соседском балконе голубя. Сосед прикармливал птиц, и бестолковая их стая докучала Платону, ни свет, ни заря будя его воркованием и бестолковым стуком лапок по карнизу. Теряя терпение, он уже было всерьёз собрался смастерить себе какую–нибудь вертушку, рогатку или силок, но теперь неожиданно получил новое оружие. «Умри!» — повелел он, ясно представляя, как голубь, закатив глаза и не раскрыв крыльев, валится в двенадцатиэтажную бездну. Он сам словно бы пережил все перипетии падения, вплоть до удара и размазывания останков по асфальту, но, переведя дух, нашёл птицу сидящей на прежнем месте.

Чародея из Платона не получалось. Пережитые приключения, утратив окраску чуда, более не вызывали интереса, надежды пропали, будни остались буднями, и этого ничто не могло изменить. Кухонные ходики показывали самое обыкновенное время, и не в силах Платона было заставить их идти с другой скоростью или в другую сторону.

Звонить знакомым девушкам было ещё рано, зато вот–вот могли прийти отец с мачехой, а Платону не хотелось объяснять, куда и с кем

он собрался и откуда взялся красный «Москвич», в который он садится с видом хозяина.

Автомобиль празднично блестел на солнце, и Платон подумал: «С чего я вдруг скис? Жизнь прекрасна и удивительна». От одного лишь прикосновения к рулю сладострастное волнение охватило его, и всё постороннее, минуту назад не на шутку тревожившее, сразу отдалилось и утратило силу: ничто, кроме езды, более не было важно — кроме езды и решения начать завтра новую жизнь.

«Наняться санитаром в психовозку — и поступать в медицинский?» — подумал он, но не успел оценить новую версию, как в боковое стекло постучали. Платон открыл дверцу:

— Привет, Гоша!

Они жили в одном дворе, учились в одном классе и вместе служили в армии.

— Твоя?

— Как всегда, дали покататься.

— Не забудь: мы собираемся сегодня попеть под гитару. Минут через сорок вернусь — заходи. Кстати, не подбросишь до Грузинской?

— В одну сторону — да, — согласился Платон, включая зажигание. — Что можно сделать за сорок минут? Будь у меня сорок часов — вот таким сроком я бы распорядился: посадил бы рядом девчонку — только меня и видели.

— С тачкой ты — вольная пташка.

— А надо — чтобы и без тачки. Хочу найти такую работу, чтобы везде побывать.

— Запишись в экспедицию.

— И этот туда же! — в сердцах воскликнул Платон. — Словно сговорились. Экспедиция — удовольствие временное, а мне нужна любовь на всю жизнь. Да и что за кайф — ходить в разнорабочих? Мастером своего дела там, скажем прямо, не станешь.

— Тебе и нужно — временно, не будешь же бродяжить до седых волос. Хочешь, не хочешь, а женишься — и осядешь, как пень. Свобода вообще вещь недолгая.

Высадив соседа на Большой Грузинской, Платон вылез протереть стекло и задумался, глядя вслед Гоше. Больше он не находил, с кем посоветоваться: если Гоша не принял его сомнений всерьёз, то об остальных нечего было и говорить. К тому же Гоша был прав в главном: вечных радостей не бывает; но если это так и если тут бессильно даже сверхъестественное, то оно, сверхъестественное, и вовсе не нужно человеку. В бессилии же его Платон убедился несколько минут

назад. Всё, что он мог — это строить воздушные замки; в конце концов, помечтать было не грех: всякому хотелось бы стать волшебником. Однако в реальной жизни существовали, в лучшем случае, только какие–то скучные биополя, от совпадения или сложения которых зависело совсем не многое — нечаянное угадывание мысли или способность почувствовать чужой взгляд в спину. Платон и сам, бывало, ощущал чей–нибудь пристальный взгляд издалека и поэтому верил, будто, напряжённо глядя вслед другому человеку, можно заставить того обернуться или споткнуться.

Гоша споткнулся.

Платон устало прислонился к машине. С него довольно было странных случаев — не хотелось думать о них, чтобы не испортить вечер.

Не проехав и полквартала, он увидел на мостовой поднявшую руку девушку в голубой юбке. Платон хотел было проехать мимо, да нечаянно чуть дольше, чем нужно, задержал на ней взгляд — и затормозил. Девушка шагнула к машине — и вдруг отпрянула, словно испугавшись. Не поняв, что так подействовало на неё, и опасаясь, что она вот–вот передумает, Платон распахнул дверцу.

— Я думала — такси, — извиняющимся тоном сказала она.

— В Одессе говорят: вам нужно ехать или вам нужны шашечки? Садитесь, теперь я без вас не уеду.

Она неуверенно возразила, но ещё не кончила говорить, а уже садилась в машину.

* * *

Искать связи между событиями он не умел, да и нужда в этом не появлялась в жизни, и когда случилось нечто, оскорбившее его, то скупые злые мысли, пробудясь, так и не простёрлись дальше признания самого факта, напрасно вызвав тягучее беспокойство. То, что он знал и делал раньше, легко излагалось при помощи самого краткого словаря: взял, скрепил винтом или проволокой, включил, отрезал или сломал без колебаний, коли уж решено; сейчас он испытывал неудобство как раз оттого, что припоминал какое–то своё колебание. Схваченное следовало держать крепко, не отдавая чужакам, — эта и подобные доступные ему истины были незамысловаты и ясны, как действия еды или питья, а в том, что сделалось с ним сегодня, он находил непонятное: секундное, быть может, сомнение в обязанности хранить в руке некий драгоценный предмет и, более того, желание увидеть его падение — и гибель. Он тогда ещё сопротивлялся, смутно ощущая нечто вроде долга перед людьми, сопроводившими его в злополучный подъезд, но собственных

сил недостало, и он разжал пальцы. Стакан с водкой мягко скользнул по ним вниз — ещё был миг одуматься и задержать — и с противным треском раскололся на каменной ступени. Брызги и осколки осыпали ногу, но он обратил внимание только на волнующий запах. Именно запах и привёл его в себя, заставив сообразить, что не будь рядом того, кто так нахально нарывался на кулаки, он не лишился бы своей порции. Первым запоздалым порывом было — догнать и уничтожить; но не мог же он состязаться с лифтом.

Какое–то время он ещё надеялся, что товарищи войдут в положение и поделятся оставшимся (ведь он пострадал как–никак за общее дело), но те и не посмотрели на Василия — и были правы; ему ничего не оставалось как уйти. С этой минуты он и мучился непривычным вопросом: почему? Ответ витал где–то рядом, не даваясь в руки и дразня своей простотою, отчего разламывалась голова — знакомая боль, которую можно унять одним лишь способом. Однако необходимое зелье пропало зря.

Пришлось вернуться в магазин, и его снова позвали в компанию, но Василий даже не обернулся, словно обиженный предложением, а подошёл без очереди и взял бутылку.

Дочка, отворив дверь, обняла его и, обрадовавшись шоколадке, убежала в комнату. Жена не обняла и не поцеловала — он удивился бы — и сластей не получила; увидев водку, она сначала подняла брови, а затем сдвинула их так, что лицо стало старым и серым, и спросила без улыбки:

— Никак, сегодня пить собрался?

Ударение пришлось на «сегодня».

— Сейчас, — твёрдо заявил Василий. — Думала, до ноябрьских спрячу?

— Не забыл, что завтра — на работу?

— На память не жалуюсь.

— И глотка не дам. Обойдёшься.

— Что, будешь ещё тут командовать? — возмутился он. — Мужик после смены еле ноги таскает: вкалывал с утра до вечера, пришёл голодный, как собака...

— Что ль не кормлю? Иди мойся, чёрт, да садись за стол, трескай.

— И пива дашь.

— Глянь–ка, пронюхал! — изумилась жена. — Чутьё у вас, окаянных...

По случаю водки обедали не на кухне, а за полированным столом, в комнате. Жена налила себе половину небольшой рюмки и Василию поставила было такую же, но он потребовал стакан и налил до краёв, сказав непонятное:

— Этот–то не брошу.

К водке была, словно жена готовила нарочно, сельдь с варёной картошкой и луком, и второй стакан прошёл ещё лучше первого, и полдюжины пива исчезли незаметно.

Поев, жена отправилась на кухню мыть посуду, но Василий остановил её:

— Погоди, сядь. Споём.

Поставив посреди комнаты стулья, он усадил рядышком жену и дочь, а сам сел напротив и растянул мехи баяна; у него была ещё и балалайка, но сегодня, он чувствовал, требовался мощный звук. Василий начал, и семья подпевала:

Когда имел златые горы
И реки, полные вина...

За стеной включили то ли магнитофон, то ли радио, так уж всегда получалось, что соседям хотелось слушать свою музыку как раз когда Василий улучал минутку для пения; он давно привык к этому, но сейчас обидно стало, что они мешают во время такой его тоски. В ответ Василий заиграл громче, уже другую песню. Поперхнувшись дымом папиросы, он пропустил начало куплета, жена, глядя на него, тоже замешкалась, и Стелла одна завела:

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново...

* * *

Лариса, и стройная, и гибкая, все же завидовала подруге, меньшей ростом и тоненькой, как подросток; считая свои собственные формы совершенными, она тем не менее хотела быть ещё и такой, как Лина. Сравнивать их было нельзя, как две разнородные величины; ничто в них не было одинаково, и если обе, например, были свободны в движениях, то Лариса осознавала и, возможно, даже когда–то училась этой свободе, а зверушечья раскованность подруги оставалась ей недоступна. Более того, одна из них была хороша, а на другую не оглянулся ещё ни один мужчина; впрочем, пара из двух красавиц образуется редко: природе нужно, чтобы невзрачность несчастливой девушки заставляла переводить взгляд на другое, несравненное лицо — поэтому та из двух, что считает себя привлекательнее, не расстаётся с дурнушкой. Сама о себе Лариса знала, что не красива, по строгим меркам, но эффектна — на неё–то как раз на улице оглядывались, — и Лина с лицом забитого деревенского мальчика вполне годилась ей в спутницы. Были у Ларисы и ещё

две такие же влюблённые в неё неприметные подружки, и она и к ним, как к Лине, относилась немного свысока, держа дистанцию, а те, каждая, считали её ближайшей, единственной подругой.

— Как тебе это удаётся? — восхищённо воскликнула Лина, входя следом за Ларисой в свой подъезд. — Такой интересный парень! Ты мне не говорила — вы давно знакомы?

— Минут пять. У него было такое лицо, точно он собирался меня убить.

— Какой ужас! А что же ты записывала? Всё же взяла телефон? Вы встретитесь?

— Он хочет служить у меня шофёром. Задаром.

— Служить — у тебя? Ну, знаешь... Он же хотел убить?

— Такой интересный парень!

— И с Жорой перестанешь встречаться?

— Это и сейчас удаётся редко.

— У него появился кто–то? Другая?

— Типун тебе на язык. Но не в том суть, — улыбнулась Лариса. — Препятствия–то чиню как раз я. Ты же знаешь мою бабушку: стоит сказать, что я иду всего лишь прогуляться (о вечеринках нельзя и заикаться — какое там...), как она сейчас же серьёзно заболевает — сердце, голова, берцовая кость... Тут уж не до личной жизни. Сегодня она знает, что я пришла к тебе заниматься и сюда можно позвонить, но потом непременно встретит упрёками: ей было худо, а я гуляла, и некому было подать стакан воды. А когда я сижу дома, у неё отменное здоровье, дай Бог каждому.

— Жора говорил, что не женится до тридцати.

— Жора живёт по плану. При его аккуратности — какая скука уготована его жене!

— Я бы — за такого — вышла, — вздохнула Лина.

С Жорой, своим однокурсником, Лариса встречалась второй год. Он ходил с нею в кино и отказывался — в консерваторию, иногда они заходили в кафе–мороженое, но чаще проводили время на вечеринках у приятелей; дома друг у друга они не бывали, словно это обязывало бы к серьёзному. На самом деле Жора вовсе не нравился ей, и в компаниях Лариса сразу забывала о его существовании. Жора не обижался и, казалось, готов был вообще прекратить встречи, если она того захочет, но Лариса не допускала этого — держала при себе, не забывая о приближении черты двадцатипятилетия, за которой, она думала, придётся оставить надежды. Новых знакомств что–то не предвиделось, и поэтому нынешняя встреча взволновала её. Платон отличался и от Жоры, и от других её знакомых молодых людей уже тем, что не учился, а рабо-

тал, живя в мире, в который всем им только ещё предстояло войти. Ей было бы интересно хотя б поговорить с ним подольше, но звонить ему она считала невозможным.

— Пусть сам позаботится, — сказала Лариса.

— Жора? — поразилась Лина.

— Причём тут Жора? Платон. Тот, что в машине. Господи, неужели ничто не может решиться своим путём? В конце концов, встретились однажды — встретимся и вдругорядь.

— Хочешь, я позвоню ему? — вызвалась подруга.

* * *

Пение давно закончилось, жена мыла посуду, а Василий всё ещё бренчал на балалайке, стараясь не слышать магнитофона за стеной. Что за диво–развлечение была эта балалайка: не надо двигать туда–сюда тугие мехи, а стоит чуть взмахнуть кистью руки, как возникает чудесный, ясный звук, какие бывают только в живой природе, и перед глазами встаёт картина: пляшущие парни и девки — свои, деревенские, но в народных костюмах похожие на артистов. Телевизору далеко до этой яркой картинки — она и наряднее, и приятней оттого, что не принуждает думать. Голове его стало легко и от зрелища пляски, и от выпитого, и одно лишь мешало отдыху — желание выпить ещё. Желание было вполне определённым, Василий точно знал, сколько и чего требует организм: пол–литра портвейну, чтобы отполировать кровь.

Вздохнув, он отложил балалайку.

Нужно было придумать, где выпить. С новой бутылкой жена домой не пустила бы, в магазине пить не хотелось, да там и не дали б; оставалось только зайти к кому–нибудь из приятелей. «Пойду к Димке, — решил Василий. — У него жена молодая, не станет скандалить. Да и долг за ним не заржавеет».

Выйдя на кухню, он обнял жену одной рукой, а другая привычно скользнула было вниз, но Василий вовремя вспомнил, что так и не сумел выгнать дочку погулять. С сожалением отступив, Василий присел на табурет.

— Мать, праздник сегодня или нет? — начал он издалека.

— Середина недели.

— Что ли мы только что не гуляли?

— Погуляли и хватит. Шёл бы поспал.

— Дай белую рубаху.

— Скоро в штиблетах станешь в постель заваливаться.

— Дай рубаху белую. В гости пойду.

— Пока в стельку не упьётся, не остановится. Стыда человек не знает. Не стирана твоя рубаха. Хочешь — бери из грязного бака.

— Когда ж ты её туда положила? — цедя слова, с подозрением спросил Василий.

— Да на той неделе.

— А ну как она бы мне срочно понадобилась?

— Только у меня и времени — твои тряпки тереть. И так поворачиваться не успеваю.

— Раньше успевала. Где это ты теперь шастаешь?

Последние слова он уже прокричал, оставив табуретку и утвердившись в центре крохотной кухоньки.

— Ни выпить, ни поесть, — распалялся он, — ни белья чистого надеть — на что ты годишься? Желаю сто грамм принять — можешь обеспечить? И чистые портки дать не можешь.. Ну и ... с тобой, пойду, в чем есть: пусть видят, что за баба у Василия.

И, провожаемый бабьим криком, хлопнул дверью, торопясь к заветной цели — бутылке креплёного вина.

* * *

Если только Лариса и в самом деле ушла заниматься (как она вскользь сказала ему), то ждать её в ближайшие два–три часа не имело смысла, но будто само собою разумелось, что потом он приедет и станет караулить у входа, он просто обязан был вернуться и ждать, и обрести, и беречь. Прочее, задуманное на вечер, отменялось — он не раздумал, а просто выбросил из головы лишнее.

Нужно было как–то скоротать лишнее время, и Платон вспомнил, что Гоша–музыкант приглашал посидеть вечером во дворе, послушать гитару.

Гитара была старенькая, исцарапанная, но менять её Гоша не хотел, резонно объясняя, что мастер он маленький, и для песенок, да ещё с его голосом, сойдёт и такая; голоса, честно говоря, не было вовсе, зато играл он — отменно. Во дворе иногда и прохожие девушки без приглашения подходили поближе, послушать, да и старушки, не покидавшие своих скамеек у парадных, ворчали на него не всякий раз. Гоша чаще всего пел песни Окуджавы, звонкая мода на которые осталась в прошлом десятилетии, и реже — те немногие, что сочинил его друг, полжизни проведший в дальних таинственных командировках. Платон предпочитал Окуджаву, а остальные дворовые ребята — самодельные командировочные песни, после которых Платону тоже хотелось уехать куда–нибудь в необжитые края. На днях этот Гошин друг и сам сидел

с ними и пел, и участковый постоял рядом, послушал и попросил дать списать слова.

Забыв, что только что отвёёз Гошу на Грузины, Платон поспешил к нему домой. Не заезжая во двор, где его могли увидеть — и зазвать на ужин — родные, он оставил машину на улице, под Гошиными окнами. Закрыв дверцу на ключ, Платон поднял голову и поёжился: перед ним стоял тот самый верзила, что давеча разбил на лестнице стакан.

— Привет дружинникам, — ухмыльнулся Василий, в знак приветствия подняв над плечом литровую бутылку дешёвого вина.

— От такого слышу — огрызнулся Платон.

— Ну, как хочешь. Имею право в праздник. А насчёт долга не беспокойся, подожду. Ты извини.

— Что–то не припомню за собой долгов.

— Полный стакан водки — и не помнишь? Из–за тебя же разбил. Ты извинишь?

— Ах, это? Считай, что ты его выпил. Так и для здоровья полезнее.

— Как — выпил? — оторопело уставился на него Василий.

— Как, как — теперь разницы никакой. Был стакан — и нету, — нетерпеливо объяснил Платон, пытаясь обойти Василия; тот пятился, но дороги не уступал. — Значит, выпил.

— Ах, ты... Да я сроду капли наземь не пролил, потому что ни один гадёныш не лез, куда не просят. Не вина жалко...

— Ладно, не заговаривайся, не то дождёшься, что я и этот «огнетушитель» разобью.

— Сначала заработай, студент сопливый, а потом уже чужим швыряйся, — зло и трезво сказал Василий, перехватывая бутылку за горлышко.

— Да и сам, смотри, не упади...

Василий шагнул вперёд, и Платон, брезгливо посторонившись, подумал, что лучше бы тот захлебнулся своею злобой и своим вином, лучше растянулся бы здесь, у стены, да так и провалялся, пока не приедут из вытрезвителя; он даже нечаянно представил, как тот, схватившись за грудь, падает на тротуар под звон стекла и как по асфальту растекается красная лужа то ли крови, то ли портвейна. В мозгу Платона это пронеслось мельком, как всегда пролетают случайные мысли между прижившимися и спокойными своими сёстрами; позже, припоминая подробности, он не сумел повторить про себя эту как бы украдкой показанную картинку: в памяти осталось одно только смутное пожелание противнику каких–то неприятностей — искреннее, как видно, пожелание, если оно исполнилось сейчас же. Словно во сне, он хотел закричать — и

утратил голос, увидев, как Василий, царапая ногтями грудь, медленно валится лицом вниз на тротуар, на разбившуюся уже бутылку. Из–под тела потёк бурый ручеёк. И сладкий винный запах повис в тяжёлом воздухе. Улица, только что пустая, вдруг наполнилась беспокойным народом, и какие–то люди, откуда ни возьмись, окружили Василия, переворачивали его, сажали, толкая Платона и браня за бездействие; он и в самом деле стоял столбом, пока не сообразил, что отсюда лучше уйти, и не увидел выходящего из трамвая Гошу.

— Что это с Васей? — спросил тот. — День вроде бы неурочный: он выпивает лишь по большим праздникам, да и то на улицу не выходит, а колотит жену без отрыва от очага.

— Праздник или нет, а только твой Вася ещё днём поддавал на троих в моём подъезде. Но пойдём подальше от греха. Откуда ты с ним знаком?

— Живём рядом, на одной площадке. Через стенку. Он здесь недавно, с зимы. Нет, постой — с той, с прошлой зимы! Время, однако... Интересно, как это сейчас его угораздило? Ты видел что–нибудь? Лицо в крови...

— На бутылку упал. Я стоял рядом.

— Надо сказать его жене...

Гитара, песни, прогулки на авто — ничтожны были, если смотреть с той высоты, с которой срывался в бездну Платон; он уже не понимал, зачем оказался здесь. Всё, только что бывшее для него важным, всё его прошлое могло быть или исчезнуть — и ничего не изменилось бы, во всяком случае для посторонних, зато новое касалось каждого и было страшно. Из окна Гошиной комнаты Платон увидел, как подъехала санитарная машина и как зеваки затоптали лужицу на тротуаре, и, понимая, что один виноват во всем, не только испытывал раскаяние и страх, но и торжествовал.

Чувствуя себя правым в смешной стычке в подъезде, Платон и теперь, когда с Василием случилось настоящее несчастье, не нашёл в себе жалости, словно и не был пусть не виновником, но очевидцем, а прочитал о происшествии в газете. Василий или кто иной попался ему под руку, не имело значения; важно и дурно было другое — то, что он поверг противника словно бы ненароком, даже и мимолётно не успев разобраться, где тут было добро, а где — зло, и это значило, что он мог случайно причинить беду и невинному, и доброму человеку и что отныне ему следует опасаться собственных мыслей; да он и сейчас боялся их.

Вместе с тем, он был доволен собой, получившим в дар силу, какой не владел на земле никто. Платон не знал пока способа применить её во благо, но надеялся придумать что–нибудь достойное — и придумал почти: заставить, с помощью этой силы, неведомую ещё красавицу влю-

биться в него. Эту выдумку он едва не отверг с гордостью — мол, что за прок от купленной любви, — но на этот жест Платону не хватило щедрости: слишком заманчивым становилось будущее, да и Лариса уже встретилась ему. Остальное, кроме любви, уже имелось у него или предвиделось, или не было нужно; лишь дождавшись любви он согласился бы расстаться, за ненадобностью, со своей тёмной недюжинной властью. «К врачу, что ли, пойти? — с тоской подумал он. — Я свихнулся». Как ни странно, такой вывод успокоил Платона: болезнь — это было нечто определённое, описанное в справочниках, то, против чего известно оружие: микстуры, скальпели и заговоры. Он подумал, что его необычную болезнь можно даже не лечить до конца, а лишь умерить степень недуга, снять острый приступ, оставив больному хроническую способность к гипнозу, — с тем, чтобы ему потом и не чинить более зла, и соблюсти выгоду. Он хотел любви — теперь она будет у него, но это не могло стать его единственным желанием, он знал, что непременно захочет сотворить ещё уйму полезных для себя вещей — например, повлиять на экзаменатора.

«Только надо ли сдавать экзамены?» — малодушно усомнился Платон. Цель его была ясна — свобода, ради неё он и собирался учиться, но разве сейчас он не стал свободен? Он волен был распоряжаться собой, сняться с места, уехать, куда глаза глядят, выбрав любую девушку; почему–то девушка в нынешних его мечтах оказывалась лишь спутницей в путешествиях. В случае неудачи на экзаменах он не горевал бы, а мог податься на Дальний Восток или на Алтай — работать шофёром или завербоваться на китобойное судно; простительная слабость души подсказывала и более простой вариант: уехать сразу, не затевая учения, подзаработать на машину, а тогда уже и браться за ум.

— Видел утром ребят из ансамбля, — перебил его мечтания Гоша–музыкант.

— Берут они тебя?

— Ни да, ни нет...

— Тогда плюнь. Если бы ещё речь шла об оформлении на работу по всем правилам, официально — другое дело, а так — это какая–то самодеятельность. Тот самый уровень, когда в лучшем случае приглашают играть на агитпунктах.

— Ну, тут ты кругом не прав. Ансамбль серьёзный, а это значит, что ему суждено весь свой век провести наполовину в подполье. Порядочных людей официально не признают. У меня ведь нет других возможностей, а здесь — зацепка... Постой, да и ты вчера так говорил!

— Вчера! — пренебрежительно махнув рукой, воскликнул Платон. — Всё ж было время подумать. Такие «зацепки» собираются в каждом подъезде после семи вечера.

— Были бы другие места... Да что же я тебе твои же слова передаю? Что с тобой сегодня? Ты недобрый какой–то.

— Разве?

— К ребятам выйдешь?

— У меня свидание. Да и настроения нет, голова занята совсем другим, самыми посторонними вопросами. Вот, например, ты изувечил или погубил человека, причём явного бандита или проходимца, алкаша, то есть ненужного, вредного человека — ты бы жил после этого дальше? В смысле угрызений совести и прочей лирики?

Гоша пожал плечами:

— Зависит от обстоятельств. Если — в драке, если он начал, если... то, возможно, я и не думал бы об этом после — пусть не лезет. Если нечаянно — жалел бы, конечно.

— Хорошо. А если б ты получил право казнить? — не унимался Платон. — Не понравился тебе человек — и в расход. Просто стоило бы тебе захотеть — и нет человека? Ты бы такой властью воспользовался?

— Да зачем? Ну, если по необходимости, если, скажем, ночью подойдут к тебе трое — куда денешься? Но и тут может выйти несправедливость: они у меня — часы и пиджак, а я их — к стенке?

— Часы или нет, а подойдут — с ножами. Только я немного о другом: вот, идёт кто–то, и ты знаешь, что это подонок, и уверен, что все вздохнут свободно, если ты его убьёшь...

— Почём знать, а вдруг это я — подонок? — возразил Гоша, начиная что–то наигрывать на гитаре, перескакивая с мелодии на мелодию и, видимо, теряя интерес к разговору.

— Значит, никто на свете и судить не имеет права? А судьи кто?

— Слушай, что ты завяз на одном месте? Детский какой–то разговор.

— Пойми, — не унимался Платон, — если человек вдруг получает такую власть, он не может делать вид, что ничего не изменилось, и жить по–прежнему. Пусть он никогда не применит свою силу, но он обречён помнить о ней днём и ночью, жить с нею и постоянно, каждую секунду держать себя в напряжении, думая только о том, как бы не навредить невзначай добрым людям. Иначе он обозлится случайно на кого–то. кто ему в трамвае ногу отдавил, и — здравствуй, моя Мурка, и прощай: готово уголовное дело. Таким людям место на войне, они — сами себе оружие, им надо обращаться с собой с особой осторожностью, чтобы не выстрелить.

— Где они, такие люди? — снова возразил Гоша. — Покажи — сто рублей заплачу. Да если б и были, их на улицы не выпускали бы, а держали, каждого, в конуре или — в кобуре.

— Да, да, в одиночке, без прогулок. Еду им подавали бы на транспортёре, чтобы сохранить жизнь бедным, беззащитным надзирателям.

— Ты какой–то фантастики начитался?

— Это всё равно, как если бы какой–то один человек вдруг научился летать. Не на самолёте, не с крыльями, а просто так: захотел — и поднялся. Он тоже, наверно, всякий раз боялся бы, что уже разучился, больше не взлетит, и оттого, надо или не надо, а пробовал бы: идёт, идёт пешком — и подлетит немного. И ещё боялся бы, что умение пропадёт прямо во время полёта, на высоте. Хотя это уже другое. Так и в моём... примере: человек будет думать, что утратил свой дар, и постепенно будет проверять, силён ли он ещё, не разучился ли убивать.

— Лучше жить без этого.

— А если это уже существует? И в самом деле станешь прятаться от людей.

Платон обнаружил, что избегает смотреть на приятеля.

— Пойду–ка я, — сказал он с неохотой. — Неточно договорился с девочкой. Лучше подождать лишнее, чем разминуться.

Не торопясь уезжать, Платон начал протирать суконкой запылившуюся хромировку машины. «Была бы своя, — подумал он, — я б из неё сделал конфетку. А уж если б это были «Жигули»...»

— Купил? — поинтересовалась дворничиха.

— Дали покататься, — недовольно ответил он и, оставив не вытертыми колпаки левых колёс, поспешил сесть за руль.

За углом он увидел переходящего улицу того самого инвалида, который сегодня вылез со своими костылями прямо под колеса. Инвалид ковылял по дальней стороне, и Платону не приходилось опасаться его новых рискованных перемещений, но что–то всё же заставило его задержать взгляд на пьяном калеке, а когда понял, что именно, было уже поздно: тот, разбросав свои подпорки, растянулся на земле. Платон в отчаянии надавил на тормоз, и «Москвич», вильнув, встал поперёк улицы. Платон не знал, зачем затормозил и почему бегут люди — кто с одной стороны на другую, к упавшему человеку, а кто и к машине. Он очнулся лишь когда к окошку кабины склонились два красных мужских лица; лишь теперь он заметил вокруг и другие яростные лица, мужские и детские, и пронзительные голоса достигли его слуха:

— Лихач, частник проклятый! Глаза бы разул — видишь, человек на костылях!

— А ну, выходи! Мы тебя научим ездить.

— ... сам видел...

— Вы что, с ума посходили? — крикнул Платон, поняв, в чем дело. — Посмотрите, где он и где я. Что ж я, по тротуару, что ли, ехал?

— Ты мне зубы не заговаривай.

Один из краснолицых уже тянул на себя дверцу, и у Платона недоставало сил удержать, но он знал, что надо делать. Перед машиной людей не было, они столпились только с его стороны, и двигатель работал, не заглох; значит, надо было только избавиться от ретивого парня, уже распахнувшего дверцу и отрывавшего руку Платона от руля, и мчаться что есть мочи до первого милицейского поста. Сделав вид, что поддаётся, Платон резко повернулся на сиденье и обеими ногами пнул противника в живот. Тот, охнув, рухнул навзничь, увлекая за собой ещё кого–то, а Платон, мигом вернувшись в прежнее положение, выжал педаль — и услышал почти над ухом долгий милицейский свисток.

— Что здесь происходит?

Вокруг загалдели, перебивая друг друга, но постовой не слушал, а лишь выжидающе смотрел на водителя светлыми немигающими глазами.

— Почём я знаю? — устало отозвался Платон. — Там, на тротуаре, человек упал, я подумал — беда, вот и остановился.

— Я видел, можете не рассказывать. Ваши документы. И ваши, — обернулся милиционер к тому, кого ударил Платон.

— Нету с собой, — с трудом выговорил парень; он стоял согнувшись и был бледен.

— Тогда пройдёмте, — машинально пробормотал милиционер, просматривая водительские права и что–то выписывая оттуда в замусоленную записную книжку; покончив с этим, он посоветовал Платону: — Поезжайте, да живее, тут и без вас мороки хватит. Если понадобятся показания — вызовем. Ваше счастье, что я проходил здесь.

Платон не заставил себя упрашивать.

Выходило, что он, как и предвидел, не может доверять самому себе, не властен над собственными поступками и не в силах побороть желание снова и снова убеждаться в своем сомнительном могуществе — испробовать себя, как только подходящий объект оказывается под рукой. Нет, Платон не против воли сделал это, у него и сейчас не пропало желание утверждать себя многократно, и он не хотел знать и знал, что снова и снова станет делать это, а потом — казниться и праздновать победу.

Навстречу, завывая сиреной, проехала «Скорая помощь».

«Всё объяснят жарой», — подумал Платон.

Отныне он был обречён на любовь к ближнему, не смел более гневаться, посылать вслед проклятия, он... Но нет же, он снова заблуждался: последний его противник, тот, что ломился в машину, остался невредим, хотя дошло уже до рукопашной и он имел куда больше шансов быть поверженным, чем никому не мешавший инвалид. Платон постарался ударить его побольнее, сознательно метясь в живот и представляя себе, как тот упадёт, скорчившись; так оно и вышло, но — естественным, если можно так сказать, путём. «Я разучился! — ужаснулся Платон. — Что теперь делать? На ком попро... Что за мысли! Я становлюсь зверем — что делать?»

* * *

Здесь тоже висели часы с кукушкой, но не такие, как у неё дома, а современные, в пластмассовом корпусе, и птичка в них смолоду не пела. Как они здесь появились, трудно было понять, в остальной небогатой обстановке чувствовался строгий вкус, но этот предмет, очевидно, подарил какой–то хороший друг, и теперь его, предмет, и терпеть было неприятно, и выбросить нельзя.

Дверца отворилась со щелчком, кукушка молча выглянула в комнату, и Лариса, подняв на неё взгляд, подумала, что пора собираться домой, оттого что всё равно ничего не лезет в голову и бабушка не смеет лечь без неё, и лучше уж подольше погулять с Чапой и развеяться, чем без толку смотреть в тетрадь, постоянно сбиваясь на болтовню с Линой о тряпках. Хорошо было бы, придя домой, поиграть на пианино, да час уже настал тот, когда люди ложатся спать. В последнее время ей редко удавалось сесть за инструмент. Когда–то Лариса кончила музыкальную десятилетку, но дальше учиться не пошла — до отличницы ей было далеко, а быть в музыке середнячком, по её мнению, совсем никуда не годилось, — однако и теперь старалась играть ежедневно по полтора–два часа, а в выходные дни и больше, чтобы сохранить форму. Как и в школьные годы, она играла гаммы и упражнения, непременно — этюды и Баха, и подруги удивлялись, почему не слышат от неё любимых ими — и ею — джазовых вещей.

Теперь, в сессию, времени на фортепиано не оставалось, и Лариса с грустью думала, что скоро так будет всегда — едва только она начнёт работать. Мало–помалу она осознавала детскую ошибку, и если бы кто–нибудь спросил её, она теперь убеждённо сказала бы, что предпочла бы слыть пусть и посредственностью, но — в любимом деле.

Сейчас она вспомнила о музыке из–за часов: к своим она за всю жизнь не смогла привыкнуть настолько, чтобы не замечать вовсе, и всякий раз переставала играть, как только слышалось кукование. Немую птичку Лины она не замечала, и лишь сегодня её раздражила распахнувшаяся дверца, заставившая оторваться, вздрогнув, от чтения, словно она читала недозволенное, а кукушка подглядела. «Живые птицы не подсматривали бы, — подумала Лариса. — И отчего бы нам не заниматься в саду или у речки, чтобы ещё и кузнечики стрекотали над ухом?»

— Всё время думаю о чепухе, — пожаловалась она. — Смотрю в конспект, а думаю о кино, о парикмахерской, о кузнечиках в траве. Я, когда играю на рояле, если и думаю о постороннем, то всё ж о другом.

— О другом думать неприлично, — засмеялась Лина. — И вредно.

— Скажи, бывает с тобою, будто ты чувствуешь, что кто–то вдруг вспомнил о тебе?

— В этот момент, говорят, икается или уши горят.

— У меня сию минуту как раз такое ощущение, будто кто–то думает обо мне и даже напряжённо вспоминает внешность: как будто меня ощупывает слепой.

— А этого слепого ты не можешь представить?

— Но он же слепой! Нет, я себя вижу, со стороны, будто его... нет, не глазами же.

— Без лоскутка или всё же в белье? — насмешливо поинтересовалась Лина.

— Вот в этой одежде, как есть, — серьёзно ответила Лариса.

— По–моему, ты переучилась.

— Просто, наверно, очень хочется, чтобы обо мне думали, а то ведь — некому: отец далеко, бабушка — тоже, в своем особенном мире, только вот собака ждёт хозяйку, не дождётся.

— Говорят, собачья преданность портит человека.

— Тем, что открывает глаза на отношения между людьми.

— Одно время Жора бегал за тобой, как собачонка — и не он один. Грех жаловаться.

Но Жора или кто другой — это было слишком конкретно, о таком слишком легко было говорить, и сказанное представлялось, из–за своей ясности, излишним; то же, чего ждала она, не могло быть ни писано в письме, ни сказано в речи, разве что — сквозить между строк и быть понятным не каждому или вовсе никому из знакомых ей людей, в том числе — и нынешнему шофёру.

* * *

Похоже было, что Платон вправду, разучившись летать, шлёпнулся на землю — пусть и не в грязь, но это уже всё равно было, он возвра-

щался в пеший, в рядовой строй с единственным разрешённым или физически возможным направлением зрения: снизу вверх. Лёжа, он мог спокойно вспоминать события минувшего дня; ничто не смело и не должно было тревожить его.

Но нет, он ещё сомневался в освобождении: могло статься, что его власть распространялась не на любого (есть же люди, стойкие перед гипнозом) или что употребить её он мог лишь при определённых условиях. Он ничего не имел против тех, кто вытаскивал его из машины, а лишь боялся их: понимал, что люди сгоряча ошиблись и, ударяя ногами, не хотел причинить им настоящего зла, а лишь — защититься и удрать. Тогда и его, Платона, друзьям ничего не грозило (он не вспомнил, как споткнулся Гоша), и девушка, которую он сейчас ждал, была в безопасности.

Ждал он, быть может, напрасно. За час, проведённый им у подъезда, дверь вообще не открывалась, и Платон начал уже думать, что она заколочена, а жильцы пользуются черным ходом; ворота во двор находились вне поля зрения, он раньше не догадался следить и за ними и вполне мог упустить Ларису. Он с усмешкой подумал, что, в придачу к уже обретённой способности повергать, ему сейчас очень бы пригодилось умение видеть сквозь стены; проявись ещё и такой дар, Платон уже не удивился бы. Быть может, он обладал и другим каким–нибудь, не менее сказочным свойством, не ведая того; все их, какие только могли теперь прийти в голову, следовало проверить, в первую очередь, опять–таки, — то, уже известное: просто необходимо было узнать, сохранилась ли его сила или же вышло так, что кто дал, тот и взял. Кошки и собаки не годились для проверки, только — люди, и невозможно было избавиться от желания на долю секунды вообразить падение первого попавшегося прохожего. Пока ещё сопротивляясь, Платон понимал, что всё равно воспользуется тем исключительным, что имеет, как уже пользовался без надобности. Он изо всех сил старался не замечать движения пешеходов, сосредоточив все внимание на подъезде, да и то сощурил глаза так, чтобы лишь заметить полоску света, когда дверь начнёт открываться; едва увидев кого–нибудь в проёме, следовало зажмуриться или отвернуться; как при этом узнать Ларису, он не понимал, но особенно не беспокоился из–за этого, надеясь, что и в полной темноте угадает её присутствие, как это получается у близких людей — по звуку шагов, едва ли не по дыханию. По дыханию, по аромату — глупо, он же сидел в железной коробке, но — по стуку каблучков (он помнил!), по тому, как, увлечённое вперёд движением воздуха, в щели открывающейся створки колыхнётся голубое полотнище, по необычному изгибу руки, которую увидит прежде, чем тело, — он должен был узнать её, как узнают друг друга влюблённые: не видя, не слыша — сквозь стены. Сказав про себя «влюблённые», он удивился наивному слову, но не отверг его. Прежде не склонный к сантиментам, более — любивший позу циника, в которую не всегда умел стать, он вдруг захотел влюблённости, а, возможно, и влюбился уже. Даже и в самые острые моменты нынешнего дня — и когда упал Василий, и когда назревала скорая расправа с ним самим — он не переставал думать о Ларисе. Она и сейчас стояла перед глазами Платона, словно репетировала выход: шла навстречу, разбрасывая ослепительными ногами тяжёлые полы, и махала ему гибкой рукою. Она была так омыта солнцем, что взгляд различал и каждый шовчик кофточки, и каждую морщинку в уголках прищуренных на ярком свету глаз; теперь, вечером, Платон ждал увидеть, скорее всего, лишь силуэт — и ещё, наверно, того, как скупая лампочка высветит голубизну ткани, а потом женская фигура двинется вперёд из светлого проема — и упадёт на тёплый асфальт.

В ярости он ударил кулаком по сиденью, и мягкость подушки ещё более вывела его из себя. В спешке заведя машину, Платон тронулся было подальше от греха, но тут же затормозил и вышел на мостовую. Было бы обидно уехать, потеряв всякую надежду на новую встречу, — и потом узнать, что чёрный дар утрачен им навсегда.

Об этой утрате Платон сожалел бы впоследствии, но теперь, боясь за Ларису (ни за кого больше), он убеждал себя в готовности отдать за избавление от непрошеного таланта полжизни; не понимая физической величины этой жертвы — половины жизни — и не зная цены всякого самоотречения, он был вполне искренен. Как и любой другой начинающий влюблённый, он видел смысл существования в том только, чтобы боготворить свою избранницу; словно подросток, он хотел ходить за нею следом, не смея догнать, а если найдётся предлог, то взять за руку и смотреть в глаза; как самое малое, он хотел увидеть её сейчас, когда она выйдет из парадного, спокойно полюбоваться издали, и, не отводя взгляда, шагнуть навстречу и заговорить; он уже отрепетировал жесты и текст, и мог ещё тысячу раз повторить их, представить — и представил: плавное движение тени и скрип двери, неразличимые против света черты лица, черные туфельки на высоких шпильках, нащупывающие ступеньку, — и мягкое падение тела.

Он и застонать не успел, только жалко всхлипнул, и не успел броситься за руль и умчаться, хотя, кажется, и готов был, и на этот раз не остановился бы и не оглянулся; он опоздал, и вертикальная полоска света разрезала тёмный прямоугольник входа, показав узкую кисть

руки, толкающую створку, и голубая материя осветилась неяркою лампочкой. Платон напрягся в жестоком усилии, не зная, какие порывы и помыслы ему надобно сдерживать и как заменить их неведомой энергией любви, а пока лишь стараясь отвести взгляд — и не отводя, а, напротив, жадно уставившись на Ларису. Он ждал падения и не хотел, чтобы она упала, чуть было не крикнул даже, предупреждая, но тут ему почудилось, что она и впрямь покачнулась и падает и её надо спасать; он не успел понять, происходит ли в это в действительности, но бросился к ней, чтобы поддержать, уже ощущая в груди нелепый холод и в страхе замечая, как вместе с девушкой кренятся и обрушиваются окружающие предметы. Нога, не достав до кромки тротуара, подвела его. Он успел только подумать, что не могут же они падать оба, одновременно.

Разговоры о погоде

Теперь, кажется, даже и записные материалисты верят, будто высказанные мысли не пропадают навсегда, истаяв в воздухе, а незримо витают в нашем мире или возле него, при нужде даваясь в добрые руки. Если это в самом деле так, то можно вывести, что тем более не пропадают для нас молитвы: войдя в особенно посещаемые, облюбованные прихожанами старые храмы, всякий почувствует, как за годы истовых молений настоялось там нечто особенное, словно воздух зарядился людскими ожиданиями, болью, любовью — тем, с чем идут к Богу. О таких церквах говорят: намоленные. Примерно то же можно было бы, вовсе не кощунствуя, сказать и о домах, в которых много думают, пишут и спорят, и даже о публичных читальных залах, где новый гость, прислушавшись, непременно ощутит некую замечательную ауру. Атмосфера иных библиотек кажется насыщенной найденными в чужих сочинениях, а то и новорождёнными суждениями, отчего усугубляется привлекательность всего, что только можно извлечь из выбранных книг. Там читателю странно не мешает чужое соседство: хотя чтение — дело интимное, и незнакомый человек, расположившийся на расстоянии вытянутой руки, мог бы досаждать шелестом бумаги, шуршанием пера, сдержанными покашливанием или смешками, а то и просто своим видом, всё же довольно часто оказывается, что рядом с ним читается едва ли не легче, нежели поодаль, за пустым столом, как если бы то, что видит на своих страницах он, касалось на лету, словно ветерком, и вашего ума. Существуют, конечно, и совсем другие библиотеки, такие, в которых редких откровений не ищут — и не находят; там школьники и студенты готовят, не вкладывая душу, задания либо читают чепуху и флиртуют, и воздух в них бесплоден.

Похоже, что именно в одно из таких, второго рода, заведений и попал в поисках ненужных, он считал, сведений, наш знакомый, Ника Павельев.

Никой звали его в детстве, дома, а теперь, из уважения к ранним сединам, стоило бы перейти не только к полному имени, Никите, но и к Никите Евгеньевичу; вышло же так, что в новом, чересчур тесном

кругу кто–то разузнал про Нику да так и пошло, благо произносилось легче лёгкого, а отчеств здесь, в Германии, всё равно не употребляли. Фамилия его была довольно редкой, он, во всяком случае, не встречал однофамильцев, о чём говорил с некоторою гордостью: «Видите ли, — объяснял он, — это свежая фамилия. Древние предки звались, несомненно, Савельевыми, которых на Руси пруд пруди, но как лишь один из Савлов стал Павлом, так и только один из моих родичей додумался превратиться в своё время в Павельева». Эта придуманная исключительность, впрочем, не сыграла в его судьбе заметной роли — не помогла и не помешала, даже при эмиграции, для которой ему пришлось изобретать собственный, не самый законный способ: уезжай он годами позже, когда из Союза в немецкие земли потекла, уже открыто, еврейская волна, — кто знает, не пришлось ли бы ему приобретать фальшивые документы и прозываться как–то иначе для сокрытия славянских корней; тогда и уехать, и жить в чужой стране стало бы проще. Всё ж он устроился и без этого, после долгих хлопот получив вид на жительство и незначительные права вкупе с определёнными обязанностями, благодаря чему однажды и очутился в предназначенном для армейских офицеров пустом читальном зале, вслух размышляя о том, что если сегодня мало кого удивляет библиотека без читателей, то скоро не менее привычной станет библиотека без книг, вслух — потому что помешать этим мог бы разве что библиотекарю, который прятался где–то за каталожными ящиками, красный от смущения.

Сидя лицом к стеклянной стене, Павельев разглядывал супротивное здание, широкие окна которого были снаружи сплошь и навечно забраны, как жалюзи, нечастыми рейками, своим горизонтальным расположением опошлявшими идею решётки. Ничего иного — ни пейзажа, ни уличных сценок — не мог захватить глаз не только случайного посетителя за столом, но и хозяина помещения, и невольно возникал вопрос: если даже тому, здешнему служащему, ничего не показывают в окошке, то зачем ему вообще зрение? Все знают, что самый знаменитый на свете библиотекарь был слепым, — и принимают это без удивления, почти как должное, кстати, наверно, вспоминая о легендарной глухоте одного из композиторов; продолжая этот ряд, подумал Ника, неплохо было бы поискать (или вывести породу) немых эстрадных певцов. Последние, правда, не досаждали ему, так что, не задержавшись мыслью на них, бессловесных, он задумался над тем, какого же органа или члена нужно было бы лишиться поэту или хотя бы философу, чтобы достичь славы. Напрашивался ответ: головы — неверный, оттого что безголовые встречаются всем в изобилии, они известны, но не достигли бессмертия; их

имена остались в наградных списках, в домовых книгах, в платёжных ведомостях — но не в памяти поколений.

Впрочем, даже будь здешний книгохранитель зрячим, это ничего не изменило бы: Павельев уже понял, что нужное сочинение придётся искать в другом месте.

Погода выдалась скверная, ливень с ветром, и Ника с удовольствием переждал бы ненастье в тёплом читальном зале, но там, как ни смешно это звучит, нечем было заняться, нечего почитать: среди тысяч слишком уж специальных, головоломных для него книг он не нашёл бы доступной; другие же дела не приходили на ум. Безлюдье помещения удручало, и он грустью вспомнил излюбленную библиотеку своих молодых лет, московскую «историчку», где, наскучив сидеть за столом и выйдя в курилку, стоило только бросить в воздух якобы случайное слово, чтобы завязалась дискуссия. «Ах, да, ещё — записочки», — вспомнилось ему следом: наука была наукой и работа — работой, но он почти всякий раз находил, кому из прекрасных незнакомок переслать по цепочке читателей, через весь зал, записку с приглашением к беседе. На его взгляд, в наше время милых девушек в мире только прибавилось, но ещё больше прибавилось прожитых им лет, и он уже не позволял себе подобных развлечений. «Не написать ли — себе?» — подумал Ника, нисколько не шутя, но отвергнув выдумку через минуту потому лишь, что не понимал, как можно послать письмо самому себе, передавая из одних рук в другие, вокруг зала — когда в том пусто.

Раз уж пересидеть непогоду не удавалось, он с обречённым видом поспешил под ветром и дождём в редакцию русской газеты, по поручению которой только что рылся в каталогах; это, собственно, было не рабочее задание, а всего лишь дружеская просьба главного редактора: тот и не мог бы ничего приказать Павельеву, который не числился в сотрудниках, а лишь изредка наведывался в офис на предмет случайных заработков, как правило — ничтожных. За нынешние поиски не причиталось вовсе ничего, но он легкомысленно уповал на светлое будущее, в котором даже и они могли бы зачесться в денежном выражении. То же, что обычно засчитывалось и теперь — или чему следовало бы засчитаться, — было делом на чужой взгляд нелепым, а то и нечестным; между тем Павельев выполнял что велели, и отвечать было не ему.

Редакция, по бедности, не держала собственных корреспондентов, добывая новости окольным лёгким путём: переписывая чужие. Относительно серьёзные сообщения скачивались, как водится, из интернета, бульварную же часть здесь черпали из вчерашних российских газет, целые стопки которых время от времени незнамо откуда появлялись

на столах; тогда объявлялся настоящий аврал, и спешно вызванным верным, вроде Павельева, людям приходилось прочитывать эти залежи, отыскивая там хотя бы что–нибудь для перепечатки в своей газете, и затем переиначивать — впрочем, с азартом — интересные заметки так, чтоб уже никто не мог угадать, где они найдены.

В этот день ничего подобного не предвиделось, и Павельев пришёл зря. Рассказать о неудаче в библиотеке он мог бы и по телефону — наперёд зная, что редактор не раздражится и не вздохнёт, а только, по своему обыкновению, изречёт: «Отсутствие информации — тоже информация», и что трудно будет удержаться, чтобы не посоветовать ему быть последовательным, хотя бы иногда выпуская газету вовсе без текста. Редактор и в самом деле не вздохнул, не раздражился и изрёк, а затем жестом отпустил Павельева на волю.

Очередной номер сдали накануне, и в общей комнате редакции он нашёл только двоих — некрасивую девушку Риту, редко вылезавшую из–за своего компьютера (не вылезшую и сейчас), и Алину Георгиевну, даму средних лет, поставлявшую для газеты рекламу, за счёт чего и жило всё дело. Ему нравилось смотреть на эту женщину — без влюблённости, просто после обутых в кроссовки патлатых девиц, от кого Ника отворачивался в метро, она, всегда нарядная, с искусным макияжем, в элегантных туфельках, казалась существом из другого мира; в какой–то мере так и было.

— Вы, Никита Евгеньевич, конечно, не откажетесь, — не ставя вопросительного знака, сказала она.

— Не было случая, чтобы… — согласился он с предложением кофе. — Спасибо, в такую сырость без жидкости не обойтись.

— Ну, знаете, коньяка мы не держим. Как, известно, и термоса тоже, не то я, послушав вас, сунула бы его в сумочку да, с горяченьким, и улизнула под хладные струи. Давно пора уходить, а я всё не решаюсь. Сижу, от нечего делать читаю брачные объявления. Кажется, выучила все наизусть. Как нарочно, ничего сногсшибательного. Ну что это — »обаятельный инженер с русскими корнями, без вредных привычек, но с интеллектом…»?

— Зато: «Яркая брюнетка с восточной системой ценностей», — подхватил Ника, заглядывая через её плечо в газету.

— Ну, это почти талантливо: пять слов — и точный портрет.

— А это? «Чарующая голубоглазая красавица, — не унимался он, полностью завладев листком, когда Алина Георгиевна отошла к кофеварке, — умница с нежным, но сильным в жизни характером». Послушайте, а не сочиняет ли всю эту страницу, оптом, кто–нибудь один из

наших коллег? Я бы, например, взялся, по сотенке штука. Во всяком случае, не исключено, что многие из этих соискателей попросту нас разыгрывают: нельзя же, будучи в полном здравии, всерьёз рассылать такие перлы. Некоторые, правда, в столь же отменном здравии читают их без тени улыбки.

— Вот и я прочла, — поддела Алина Георгиевна и, поняв, что Павельев ничего на это не скажет, продолжила: — Ну, шутки шутками, а только мне в рубрике, где потерянные и брошенные ищут друг друга, вдруг попалось знакомое имя. Случайно, буквально краем глаза зацепила: однокурсница ищет Оскара Фефилова.

Павельев насторожился: этот человек встречался и ему.

— Собственно, я его не знала, — уточнила она, — но кто–то где–то постоянно упоминал о нём, фамилия всегда была на слуху. Настолько, что я почти стеснялась своего с этим господином незнакомства — как если бы нарочно не обращала внимания, пока не… Словом, тут началась настоящая история. Всё сошлось одно к одному: эта внезапная непогода… От нечего делать я позвонила знакомым, чтобы наконец выяснить, что же это за популярная личность, а заодно потом и сообщить то, что узнала, его подруге. Ну и выяснила…

Она замялась, и Павельев, воспользовавшись паузой, поспешил сказать своё:

— Зато с моим Фефиловым я долго распутывал общие недоразумения с местными бюрократами. Близкого знакомства всё же не получилось, из–за разницы в возрасте: он старше меня лет на двадцать пять. И потом, он скоро переехал в другой конец города, поселился где–то возле зоопарка.

— Верно, у зоопарка. Мы с вами говорим об одном человеке. Удивительно, что и его сокурсница — здешняя. Они вполне могли встретиться на улице.

— Напишите же, позвоните, обрадуйте вашу студентку.

Обрадовать, однако, было невозможно: Алина Георгиевна, не теряя зря времени, до прихода Павельева уже позвонила одной из своих подруг, знавшей, кажется, обо всех всё, и услышала от той, что искомый человек умер с месяц тому назад.

— Ничего не скажешь, крутой поворот. И неприятная миссия, — пробормотал Павельев, имея в виду предстоящий теперь звонок. — Быть может, и не стоит вмешиваться? Не родственники же затеяли поиск. И ещё может быть, что туда сию минуту названивают с этою же вестью другие.

— Стало быть, вы поняли, что придётся взять это на себя? Нет, нет, не настолько уж я бесцеремонна, просто может выйти, что телефоном

тут не обойдёшься, а нужно повидаться. Я же в ближайшие пару дней занята по горло.

Миссия была не только неприятной: Ника и прежде терялся, когда случалось выражать кому–нибудь соболезнование, оттого что произносить стандартные, чужие слова бывало неловко, а свои, когда бы и оказались уместными, не приходили в голову, сейчас же ему предстояло прежде тех слов известить о кончине — начав издалека, подготавливая, при том, что никакого далека не могло найтись для впервые встреченного человека. Затем его наверняка стали бы расспрашивать об умершем, о котором он ничего не мог сказать, тем более, что ко времени их знакомства давно прошла пора, когда в городе жило так мало русских, что хотелось откровенничать с любым из них.

Чтобы скорее покончить с неожиданным делом, Павельев набрал номер тут же, в редакции, но услышал одни долгие гудки. Дозвонился он лишь во второй половине дня, из дома, недовольный тем, что рядом нет Алины Георгиевны, наверняка больше него знавшей о покойном.

— Говорит Никита Павельев. Я прочёл объявление: «Инна Вебер (девичья фамилия Тимолаева) ищет…»

Она не дала договорить:

— Вы знаете Фефилова!

— Вынужден вас огорчить…

Вебер перебила и тут, торопливо (наверно, жалея его деньги) справившись:

— Из какого города вы звоните?

— Судя по номеру телефона, мы с вами почти соседи. Я живу на Паркштрассе.

— И в самом деле, рядом. Было бы лучше, если б вы зашли.

Было бы лучше разговаривать, не видя друг друга, но она уже диктовала адрес. Павельев с трудом втолковал ей, что занят вечерами.

* * *

Приостановившись на пороге, Павельев оглядел кафе, оценивая публику. Преобладали, кажется, немцы, и лишь у самого входа сидела несомненно русская пара (он где–то уже встречался с ними). В комнатке за стойкой Марина, хозяйка, как всегда, предложила ему вина — зная наверняка, что он не выпьет перед работой; Ника отказался, и оба улыбнулись, потому что и предложение, и отказ были частями приятного ритуала.

— Что–нибудь особенное? — спросил он о посетителях, и Марина пожала плечами; это был если не тоже ритуальный, то привычный

вопрос: каждый вечер сюда приходили, конечно, не одни и те же, но всё–таки, на её взгляд, одинаковые, одного неширокого круга люди — доведись, однако, угадывать, какой музыки они ждут в этот вечер, она всякий раз ошибалась бы. Зато сам пианист всегда точно знал, что нужно играть — сонаты или блюзы; во всяком случае, Марина ещё не видела недовольных его выбором.

— Все брюки в кошачьей шерсти, — проворчал он, пытаясь отряхнуть одежду.

— Никто не заметит.

Никто не заметил даже, как Ника вышел к инструменту. Примериваясь к обстановке, он сначала небрежно проиграл одну за другой несколько тем, не доводя ни одну до конца, а плавно сливая со следующей. Старые джазовые вещи никого, по–видимому, не задели, вальс Шопена — тоже, и тогда он уже всерьёз приступил к Баху — для немцев. Зал на какое–то время притих, но Нику это не тронуло, он играл для себя, негромко, чтобы никому не мешать, и если ему ещё нужно было, чтобы музыка нравилась и другим, то лишь для того, чтобы эти другие не мешали — ему. Сегодня слушали хорошо, но сам он был недоволен своей игрою, оттого что мысли всё вертелись вокруг давешнего визита.

После встречи с давшей объявление женщиной у него остался неприятный осадок, словно он сделал или сказал что–то не так, и теперь надо выходить из неудобного положения. Забежав с недолгим поручением к незнакомому человеку, но не сумев тотчас откланяться, он теперь досадовал на свою слабость. Вдобавок — смешная вещь — он ухитрился извозиться в шерсти. В действительности ему вовсе не нужно было туда ходить, а только промямлить по телефону, изображая скорбь и сочувствие, что того, кого разыскивает собеседница, больше нет на свете, и повесить трубку, чтобы никогда больше не созваниваться, тем более — не встречаться, но он попросту не сумел вставить слово, чтобы настроить беседу на траурный лад, как и никогда не умел перехватывать инициативу в диалогах с бойкими либо решительными дамами. Впрочем, тут ему следовало бы выразиться точнее: какая уж там бойкость, если эта Инна Вебер говорила как бы через силу, словно продавливая слова через частую сетку — но, наверно, именно поэтому и неловко было, и не удалось воспротивиться напору её речи; не удалось — в телефонном разговоре, но потом, в живом общении, когда они сидели рядом и были свободны в жестах, она заговорила легче. Павельев, с первого взгляда нашедший в ней агрессивные черты — она была крупной черноглазой и не по возрасту черноволосой женщиной

с большими руками — и на минуту почувствовавший себя маленьким и хлипким, наконец расслабился.

Он не хотел проходить, порываясь избавиться от принесённого известия за полминуты, в дверях, но хозяйка резонно возразила, что тогда и вовсе не стоило б являться, изложив что нужно по телефону; озадаченный, он постеснялся напомнить, что она же сама и не дала этого сделать. Вебер хотела подробных историй — и знала, каких, — но ему было ясно, что подробности после сообщения потребуются — другие.

— Не стойте же в передней, — с нетерпением повторила она, и Павельев вопросительно глянул на свои башмаки, не зная, придётся ли обуваться в здешние шлёпанцы; она отрезала: — Ни в коем случае. Не затем люди подбирают туфли к платью, чтобы в гостях бросать их под вешалкой.

«И чтобы кот напрудил в них», — продолжил он про себя, осторожно отодвинув ногой (как бы не показалось, что — отшвырнув) тёршуюся о брюки кошку.

— Итак, вы… — начала Вебер, падая в кресло и указав гостю на другое.

На сей раз перебил уже он:

— Не то, что вы думаете. Вы не слушали, а я всё порывался сказать, что ваши поиски… Что поиски не нужны больше. Придётся вас огорчить…

— Что–нибудь случилось?

— Случилось. Вы искали господина Фефилова — но больше невозможно искать. По крайней мере, того Фефилова, которого я знал, теперь нет. Господин Фефилов умер.

— Оскар? — захотела уточнить она, и Павельев повторил имя и фамилию, сошедшиеся в столь редком сочетании, что тут не могло выйти ошибки.

Внимательно следя за лицом женщины, он нашёл его в первый момент растерянным, потом жалким и наконец хмурым; он не сказал бы, что дурная весть её потрясла.

— Вот и наш возраст пошёл, — проговорила она. — А мы–то считаем себя ещё молодыми. Вам этого не понять. Бедный Ося, у него многое не ладилось, везло в любви, а не в делах. Это — в характере, в судьбе. Вы, конечно, знаете, когда похороны?

— Господь с вами. Давно прошли. С месяц тому.

— Ах, да, вы же позвонили только из–за объявления. Глупое совпадение, — вздохнув, она без перехода спросила, кивая на его сюртук: — Вы всегда так одеваетесь?

— По вечерам, на работу. Мне ещё предстоит…

— Как всё нелепо! Как всегда у Оси. Но хотя бы полчаса у вас есть? Надо же помянуть.

Что ж, примерно таким временем он располагал, и, обрадовавшись его вялому согласию, Вебер мигом поставила на стол бутылку русской водки и стопки. «Довольно крутой репертуар для одинокой женщины, — машинально отметил он про себя и тотчас поправился: — Почему ж одинокой? Она — Вебер, это не девичья фамилия».

Взявшись разливать, себе он налил на донышко.

— Боюсь, я не много расскажу о вашем знакомом, — сказал Павельев, когда они выпили. — Так совпало, что мы вместе ходили по здешним конторам — и только. Познакомились, сидя в очереди, и потом несколько раз встречались, всё по тем же делам, да так и не подружились. До откровений не дошло. Так, обычные вопросы: кто, что, откуда. Чаще, насидевшись в коридоре, мы принимались сравнивать немецкую бюрократию с русской — какая бюрократичнее, — и костили обе, а коснуться личного не успевали, это каждый оставлял при себе. Честно говоря, я не любитель чужих биографий. Вот, вам я чужой, и…

— Свои–то разбежались. Это известное правило, закон природы, — задумчиво проговорила она, давным–давно заметившая, как неизбежно всякий дом при печальном в нём событии наполняется посторонними, и как скоро эти неизвестно откуда взявшиеся люди одни только и остаются на месте происшествия, а само событие стирается из памяти, которая в наше время коротка.

— Разумное правило, — заметил он. — Сохранение материи.

— В том и дело, что ничего не сохранишь. Всё нелепо. Ведь Ося бежал сюда, чтобы выжить. Не в том смысле выжить, как это понимают многие из нас — чтобы не голодать, не ходить босым, иметь, на что купить лекарства, — а в самом физиологическом: ему всё мерещилось, что откуда–то несёт могильным холодом. Это была довольно стойкая идея.

— А сюда приехал — и здесь прошло? Этот холод?

— Вы забыли, что я его потеряла. Да ведь наверняка прошло, это же страх был, он умереть боялся, иначе бы не уехал. То и нелепо, что он здесь умер. Что он умер — здесь.

— Такое впечатление, что люди, уезжая из Союза, думают, будто здесь нет смерти. Отчего это никто из эмигрантов не задумывается над тем, что как бы и куда ни бежать от напастей, а итог выйдет тот же самый? Что это — единственный выход?

— Но вот нету же тех напастей. И с ума сходить не надо. Посмотрите, как здесь живут люди: никто не ждёт завтрашних потрясений.

— Хватает — сегодняшних? — предположил Павельев и, увидев, как нахмурилась Вебер, отступил: — Впрочем, верно, конечно: какие уж тут страсти? Люд влачит сытое существование — и доволен, никому не приходит в голову куда–то и незнамо ради чего бежать, за что–то биться, губить самого себя, своими руками…

— Он что — сам? Покончил с собой?

— Разве? — растерялся Павельев, пожалев, что ему не сопутствует Алина Георгиевна. — Я совсем не знаю обстоятельств.

Он не только не знал обстоятельств, но и вообще сомневался в достоверности своего известия; прежде чем бросаться к телефону, ему следовало бы всё проверить, уточнить, не очень полагаясь на слова Алины Георгиевны, — та, в конце концов, всего лишь пересказала чужое. Да и мало ли совпадений встречается в жизни? Могло случиться даже так, что в Германии, где число выходцев из Союза отнюдь не бесконечно, вдруг нашёлся бы и еще один Оскар Фефилов, и что один из тёзок, а именно — обитавший близ Алины Георгиевны, скончался, а другой, подлинный, сокурсник Инны Вебер, спокойно поживает себе в полном здравии где–нибудь в Гамбурге или в Нюрнберге. Как бы там ни было, а Павельеву хорошо было бы навести справки, потянув время на случай, если Инне вдруг позвонит ещё кто–нибудь из бывшей студенческой компании.

Павельев попытался представить себе этих «студентов» в молодости. С Вебер это вышло легко: он отчётливо видел темноглазую крепкую девочку с чёрной косой до пояса — одну в амфитеатре университетской аудитории. Зато молодой Фефилов не хотел рисоваться в воображении, словно мог выглядеть только таким, каким знал его Ника — изношенным человеком с угловатым неподвижным лицом, с мёртвым голосом, в модной молодёжной одежде, в которой выглядел клоуном; в этом случае всё совпадало: рыжий Оскар на пустой арене — и молодая Инна, оказавшаяся единственным зрителем в цирке.

Более реалистической картинки вообразить не удалось: по крайней мере, эти двое никак не годились в любовники друг другу.

— Обстоятельства, — наконец повторил он. — О них куда больше знает моя коллега. Я непременно сведу вас.

— Коллега по?..

— К моей профессии это не имеет отношения. Речь всего лишь о социальных работах за полтора евро в час. На этих началах я служу мальчиком в редакции газеты: бегаю на угол за водкой для мастера, чищу сапоги да отношу любовные записки в ближайший бутик.

— Вы говорили, что работаете по вечерам.

— Тапёром в русском кафе, — ответил он и, заметив пробежавшую по лицу Вебер тень, рассмеялся: — Нет ничего зазорного. По сути, мне просто–напросто позволяют побренчать на рояле в своё удовольствие.

Тапёр получил своё удовольствие и сегодня: найдя нужное слушателям и для начала сыграв одну и ту же вещь несколько раз кряду (никто не замечал повторений), он увлёкся и сам — не настолько, всё же, чтобы забыть впечатления дня, столь не устоявшиеся, что ему не удавалось думать лишь о каком–нибудь одном их них; самые разные его мысли, двигаясь параллельно сплетающимся темам фуги, не мешали одна другой. Он пытался понять, отчего это Инне Вебер лишь по прошествии нескольких лет одинокой жизни в чужой стране вдруг вздумалось искать персонажа из своей юности, отставшего от неё в бегстве из дому; одновременно он думал и о том, что придётся показывать ей могилу Фефилова, поехать на кладбище, на какое — узнает Алина Георгиевна, и тогда, быть может, они отправятся все вместе, втроём, и о том, что его самого совсем не тянет к людям из прежней, советской жизни, тем более, что родственников у него не осталось, а друзья, две самые близкие ему семьи, давно обосновались в Америке, и о том, что надо бы принять приглашение мужа Марины и съездить с ними на машине к морю.

Марина обошла посетителей с тарелочкой, собирая гонорар пианисту. Он заметил, что сегодня раскошеливаются легко.

* * *

Едва выйдя на улицу после занятий музыкой с десятилетней не подающей надежд девочкой, Ника сразу вспомнил о Вебер. Свести её с Алиной Георгиевной, как он пообещал, возможно было не раньше, чем через день, и ему было неловко надолго оставлять женщину одну после получения дурной вести — хотя и не произведшей, как показалось, особенного впечатления. Как бы там ни было, он, позвонив из автомата, сказал, что приедет.

Вагон метро был наполовину пуст, и всё же Павельев сел не на свободный диванчик, а между двумя другими пассажирами, рядом с по–вечернему яркой девушкой, угадав в ней землячку; по другую руку мужчина в нелепой в эту пору вязаной шапочке занимался кроссвордом. Они долго ехали молча, пока сосед, затруднившись отгадыванием, не спросил, поверх Ники, девушку по–русски:

— Творец человека, четыре буквы?

— Отец? Мать?

— Нет, первая — «т».

Девушка пожала плечами, Ника принялся усиленно думать, но мужчину, где–то разжившегося ещё одной буквой, скоро осенило:

— Труд!

«Что я туда рвусь? — подумал Ника. — Как на любовное свидание. Как ждёт любовник молодой, но тётенька старше меня лет на двадцать, самое малое. Будто больше не с кем поговорить. Мне, тем не менее, по дороге».

В действительности же он ехал, помня о вчерашнем недобром осадке, и всё твердил себе, что не успокоится, пока не проверит, не появится ли тот снова, как если бы во всём были виноваты либо место, либо человек, но твердил — неправду, где–то в глубине души тая желание отвезти этот осадок туда, откуда взял.

Квартиру Вебер было не узнать: повсюду — на спинках стульев, на кухонном столе, на полу — валялись какие–то тряпки, сапоги, коробки, шкап стоял настежь, и гость, испорченный кинематографом, заподозрил, грешным делом, недавний обыск. Вебер поторопилась извиниться: мол, забегала дочь, что–то искала, и потом не успеть было прибраться.

— Так вы не одна здесь? — едва ли не с разочарованием воскликнул Ника, про себя посмеявшись над тем, что жалел её, одинокую; пойди так дальше, поблизости вполне мог бы найтись и муж. Прикинув, сколько лет может быть этой дочери, он нашёл, что та — совсем не девочка и что вежливый вопрос о внуках позвучал бы сейчас вполне уместно. Но Вебер и сама уже начала рассказывать, что семьи у неё нет, отец девочки остался в Москве, да и со вторым мужем пришлось расстаться.

— Пришлось? — рассеянно переспросил он.

— Никаких потрясений, просто постепенно остыли. Смешанные пары, знаете, не лучшее изобретение: в первое время оба подлаживаются друг к другу как могут, устраивают общий быт, а потом вдруг обнаруживается, что их представления о быте едва ли не противоположны. Одному в обед ежедневно — борщ, а другому, — бутерброд с майонезом. Тут не сговоришься. Муж к таким вещам относился спокойно, а я психовала, и вина за развод целиком лежит на мне. Поняла я это слишком поздно: спохватилась, а поезд ушёл. Вот обо что разбиваются у нас романы.

— Кстати, Оскар: почему — Оскар? Он немец?

Этого Вебер не знала, она, оказывается, вообще почти ничего не знала о Фефилове, даром, что училась вместе, даже и об отъезде не ведала, пока о том не рассказали общие знакомые. Предположение Ники о их близости потеряло всякую цену. Умер тот или нет — для Вебер это был итог чужой жизни, в её же собственной ничего не менялось, и Павельев, уже не зная, зачем приехал к ней сегодня, с досадой подумал, что его понятный порыв — помочь безутешной женщине — не стоит потерянного часа.

— Я рассчитывал отвлечься от своих трудностей, — пробормотал он, одновременно продолжая про себя удачно поданную ею мысль — припомнив, что у классиков такие порывы тоже вызывала несчастная женщина, да не безутешная, а проще: падшая.

— Так что же вы мечетесь? Сядьте, наконец, и я сварю вам кофе. Или чаю?

Он послушно присел на жёсткий стул возле окна, оставив кресло кошке. Едва хозяйка вышла из комнаты, зазвонил телефон.

— Снимите трубку, послушайте, — крикнула она из–за какой–то двери.

Звонили — женский голос — снова по объявлению.

— Поздно, к сожалению… — равнодушно проговорил он. — Искать Фефилова… Впрочем, ваш рассказ очень помог бы.

— Что значит — поздно? Если поздно, то и помогать нечему. И какой рассказ? Я ведь только от вас узнала, что Фефилов в Германии. Да и вообще вся информация наверняка стекается сейчас к вам. Мне–то она, по правде сказать, не нужна.

— Зачем же вы звоните?

— Что ж, пора представиться: я — Инна Тимолаева. В невинном прошлом, понятно.

— Забавно.

Павельев больше не жалел о своём бесцельном визите: более своевременного появления в этом доме трудно было представить. На кухне что–то застучало, и, решив, что та из Тимолаевых, что взялась варить кофе, возвращается, он заторопился, сказав, что, разобравшись что к чему, сам позвонит завтра. Тимолаева на другом конце провода продиктовала телефон; номер был мюнхенским, и Ника с облегчением подумал, что встретиться им было бы трудновато.

— Звонили по объявлению, — объяснил он вошедшей с чашками Вебер. — Вы уж извините, но я распорядился без вас. Эта женщина живёт в Мюнхене, ничего не знает об Оскаре и в общем будет не против, если мы поделимся своими сведениями. Пришлось пообещать созвониться с ней попозже, не сегодня.

— Мало вам своих забот.

— Похоже, тут появилось кое–что и для вас. Её фамилия Тимолаева.

— Ну и ну, — проговорила она, опускаясь на стул, и рассмеялась: — Эффектно я влипла.

Павельев молчал, ожидая объяснений.

Объяснения вышли бесхитростными. Фефилов был единственным известным ей по советской жизни человеком, обосновавшимся в Германии, — известным, но не знакомым: они действительно кончили одно и то же заведение, только он — на три года раньше, так что вряд ли мог её знать. Инна (теперь уже можно открыть, что — Абельницкая, а вовсе не Тимолаева), выйдя замуж за немца, уехала из Союза и в новой стране долго не встречала соотечественников кроме как в консульстве; лишь спустя год или полтора она стала понемногу обзаводиться русскими знакомствами. Тот эмигрантский круг, в который она тогда попала, пришелся не по душе, других же, если они и существовали, надо было ещё поискать, только неизвестно как, и тут кстати пришлось известие о переезде куда–то в Германию Фефилова. Найти его или его друзей казалось ей простым делом, но теперь, когда цель определилась, Вебер позволила себе расслабиться, отчего и прособиралась очень долго, прежде чем сделать хотя бы какой–то шаг. Начала она с простейшего, с газеты, придумав верный способ заставить коллегу откликнуться: назвалась наверняка ему знакомым именем.

— Вы рисковали, — заметил Павельев. — Представьте, а вдруг эти студенты, он и она, в своё время поженились и живут здесь вместе? Они бы хорошо повеселились, читая ваш призыв. При скверном характере могли б и полицию наслать.

— Не в наших это правилах.

Он не стал бы утверждать это так смело, но не захотел спорить.

— И то верно. Только что ж, они так и оставили бы, при скверном–то нраве? Но хорошо, это всё мои фантазии, а пьеса разыгрывается — ваша. Вы однокурсницу Оскара вспомнили, к тому же свою тёзку — удачный ход. Ну а то, почему он бежал из Союза, его холодные страхи — это вы тоже выдумали? Живописная, надо сказать, деталь.

— Как вы вдруг загорелись разоблачать! Подумайте же, откуда я вообще знаю, что он уехал? Это всё — из одного и того же рассказа, из одного источника. Знаете, сарафанное радио. Я и по сей день переписываюсь с институтскими подружками.

— Вы–то, вы сами — чего боялись? — не отступался он, словно не понимая очевидных русским вещей.

Ответ был прост: того же, что и все, — но Павельев, как раз такого и ожидавший, усомнился и в нём, и в переписке с московскими подругами, зная, как ненадёжно почтовое сообщение с Россией: письма оттуда шли, случалось, и по две, и по три недели, а в ту сторону часто и не доходили вовсе, распотрошённые в пути искателями ассигнаций.

— Вы сами и ответили, — нашлась Вебер. — Меня тоже могли распотрошить.

Между тем она уехала, не дождавшись поры больших и малых потрошителей с присущими той страхами, но не бежала, не скрывалась, не была выслана, а, законная жена германского подданного, пересекла границу без приключений. Сам по себе отъезд не был целью брака (что в России никого не удивило бы), заключённого не по расчёту, а по любви, и тем обречённого на распад, потому что расчёты можно делать на десятилетия вперёд, зато любовь, как известно, непостоянна, а её капризы непредсказуемы. Этот союз, в котором никто не хотел поступиться привычным образом жизни, с самого начала казался сомнительным. До развода всё–таки прошло несколько лет, и ещё несколько проскучав потом в одиночестве, Инна решила действовать — пока хотя бы ради самих действий, отчего её и не расстроило известие о кончине Фефилова, расспрашивать о котором, больше не существующем, она стала сейчас только из вежливости.

Из той же вежливости Павельев старался припомнить то, чего никогда не знал. Интересной для него самого была только сцена знакомства, как читателю известно — в казённом доме. Тогда он застал в коридоре на удивление мало народу — наголо бритого молодого человека в джинсах и пожилого рыжего мужчину в тройке и при галстуке. Оторвав талончик, Ника узнал номер своей очереди: двадцать второй; между тем табло над нужной дверью показывало, что вызвали только четырнадцатого. Вздохнув, он уселся рядом с рыжим, и тотчас, приглашая следующего, номер пятнадцать, брякнул звоночек.

Никто не пошевелился.

— Идите же, идите, — с сильным славянским акцентом поторопил рыжий мешкавшего молодого; тот, однако, резонно возразил, что его очередь лишь двадцатая.

— Нас–то всего трое, никого больше нет, идите.

— Но меня не вызывали.

Теперь к уговорам присоединился и Ника. Звоночек продолжал время от времени звякать, числа то на всякий случай повторялись, то всё–таки росли, но спровадить бритоголового удалось только когда в кабинет потребовали уже восемнадцатого.

— Ordnung[1], — переглянувшись с соседом, объяснил Ника.

— Ну, знаете, с таким порядком пороха не изобретёшь.

— Изобрели же?

---

[1] Ordnung – порядок (нем.)

— Да просто какая–то алхимия случайно рванула в ступочке.

— Славное, наверно, было время, — с некоторым удивлением проговорил Павельев. — Никто ничего не знал и не умел. Что ни выдумай, всё — твоё. Хоть велосипед изобретай.

И он живо представил себе воинов в латах, катящих, дребезжа, на горных велосипедах.

— Вы и сами, вижу, изобретатель.

— Ошибаетесь: учитель немецкого. Бывший. А ещё — мог быть, был уже музыкантом, да повредил руку. Играть играю, но карьере конец…

Он замолчал, недовольный собственной внезапной болтливостью.

— Здесь всякой карьере конец, — с неожиданной злостью почти выкрикнул рыжий. — Будь хоть семи пядей во лбу, ты всё равно — безликая эмигрантская единица.

Звякнул звоночек, и число высветилось неожиданно правильное: двадцать один.

* * *

Столик, за который Марина обычно сажала русских, пока пустовал. Особое его назначение объяснялось соседством с полкой старых эмигрантских журналов; это была хорошая приманка, Павельев замечал, что иные посетители перелистывают страницы с таким интересом, словно только ради этого и пришли в кафе. Мысли о том, что кого–то притягивает сюда его музыка, Ника не допускал — впрочем, и это не трогало бы его, довольного самою возможностью свободно музицировать; его собственный несерьёзный инструмент — электронную «Ямаху», за бесценок купленную на рынке, — не сравнить было со здешним фортепьяно с живым звуком. Сегодня он начал с того же, что и вчера, ненужно предупредив об этом хозяйку; ему вдруг понадобилось произнести вслух, что он свободен в выборе, — затем произнести, что, как он сию секунду подумал, к этому и свелась вся свобода, обретённая им после бегства из Союза. Он, правда, не сожалел… Просто какие–то обстоятельства прежней жизни давно смягчились в памяти, словно пришла пора простить многое; но, кажется, для того в зале и висела полочка с некогда запрещёнными в Союзе изданиями, чтобы лечить ностальгию усомнившихся.

Вот и сейчас кто–то, едва сев возле полки, заинтересовался её содержанием; Ника, улучив паузу, всмотрелся — и едва не присвистнул, узнав Инну Вебер в сопровождении русоволосой девушки. Чуть позже, сделав перерыв, он подошёл к ним, и Вебер представила:

— Наташа, моя дочь.

Ника поискал сходства, но это был другой тип: серые глаза, продолговатое лицо, нос с наметившейся горбинкой. «А говорили, чёрная масть всегда побеждает», — удивился он.

— Какие–нибудь новости? — спросил он у Вебер, заподозрив неслучайность её появления здесь.

— Да ведь нету новостей. Тема, наверно, исчерпана.

«Если было что черпать, — продолжил Павельев про себя — неожиданно сердито, оттого что она, видимо, сказала правду. — Вместо поисков мифического Оскара лучше дали бы вы, дорогая, сразу брачное объявление. Тогда не пришлось бы разгуливать вот этак, шерочка с машерочкой».

— Интересно, что никто больше не позвонил, — сказал он вслух. — Моя знакомая слышала о Фефилове от многих — многие и должны б отозваться.

— Так–то читают вашу газетку.

— Вы работаете в газете? — медленно приподняла брови Наташа.

— Отбываю социальную повинность. Шестьдесят часов в месяц — вы, наверно, знаете.

Она сразу же прикинула, что это будут всего–то двое с половиной суток, одним куском укладывающиеся в календарные пределы намного уютнее, чем вразнобой повторяющиеся часы. Павельев мимолётно возжелал такой замены — и отогнал мысль: когда б и вправду подвернулась фантастическая возможность отбыть месячную норму одним махом, без сна и отдыха, он вряд ли потом справился бы с освободившимся временем — при том, что обыкновенно испытывал в нём явную нужду.

— Интересная идея, — сказал он девушке. — Любопытно бы пожить по такому расписанию, но — не спать дома? Увы, я консервативный человек — нахально причисляю себя к таковым — и собираюсь так до старости и проводить в постели все тридцать ночей в месяц.

— К старости это пройдёт.

— Ната! — одёрнула её мать. — Бессонница — болезнь мучительная.

— Опасен также лунатизм, — подыграл ей Павельев.

— Стало быть, консерватор… И этим всё сказано? — продолжала Наташа. — Всего–то — одним словом?

Иной раз многих слов и не требовалось, он знал это и, чтобы далеко не ходить, готов был сослаться на близкий пример, на их же едва начавшуюся беседу, из единственной реплики которой получалось, будто Фефилова знали те лишь, что не читают газетных объявлений, а то и самих газет. Одно это уже кое–что говорило о круге его знакомств, а значит, и о нём самом — кое–что, но далеко не всё, это следовало

признать. Ника подозревал, что стоит копнуть — и непременно откроется что–то несимпатичное: он не был расположен к этому человеку. Выводов он пока не делал даже для себя, потому что не только не съел с тем, как требует поговорка, пуда соли, но и бутылки не распил, что было уже противу всяких обычаев.

Вторая встреча с Фефиловым случилась довольно скоро, чего и следовало ожидать, потому что дела их в германской конторе были одинаковыми или хотя бы похожими, и вёл их один и тот же чиновник. Автобус к нужному учреждению ходил всего четыре раза в час, и если им назначили явиться одному вслед за другим, то и неудивительно было, что встретились они ещё в дороге. Фефилов, торопившийся попутно зайти ещё и в другой какой–то кабинет, попросил, обрадовавшись оказии, оторвать номерок на его долю: хотя время назначалось заранее, живой очереди это не исключало. На сей раз собралось столько народу, что вместо сидения в душном коридоре вполне можно было отлучиться на часок по каким–нибудь посторонним делам или хотя бы просто погулять. Фефилов, однако, первым делом предложил перекинуться в картишки — и уже достал колоду. Ника посмотрел на него с жалостью, как обыкновенно смотрел на увечных и немощных.

— Нас выведут с позором, — нашёл он верный довод. — Да я и не играю вовсе.

Своим ответом он, видимо, сбил с толку Фефилова; иначе не объяснить было, отчего тот выдержал изрядную паузу, прежде чем заметить невнятной скороговоркою:

— Все играют.

Ника, озадаченный новой дикцией, внимательно вгляделся, не пьян ли собеседник.

— Так или иначе, — добавил тот после новой задержки.

С этой добавкой его мысль могла бы, пожалуй, претендовать на некоторую банальную мудрость, о чём Павельев и не замедлил сказать с нарочитой усмешкою; хорошо понимая, что вести себя так с малознакомым человеком по меньшей мере невежливо, он всё–таки не собирался прощать усилий, понадобившихся тому, чтобы придумать простую реплику в простой болтовне. «Этот кандидат наук, — подумал он, — похож на пожилого пролетария, столкнувшегося с квадратным уравнением».

— Так или иначе, — сказал Ника, сам не понимая, как ему могло прийти в голову столь мудрёное сравнение, — но и я ничего не помню из школьной алгебры.

— Что это вы так скачете? Науки тут ни при чём.

Тема игры, однако, продолжала развиваться. Похоже было, что Фефилов сел на любимого конька; Ника заподозрил даже, что имеет дело с профессионалом, возможно, и с шулером. Тот не поверил, что Павельев так никогда и не приобщился ни в студенческом общежитии (но он и не жил там) к преферансу, ни в школе к «очку», и в этой последней, простейшей игре и предлагал сейчас попробовать силы, на что Ника, посмеиваясь, отвечал, что лучше уж, отбросив карты, сыграть сразу в «напёрсток»: мол, обидно, что в Москве он навидался жуликов–напёрсточников (нет, «жуликов» он не произнёс), а в Германии не встретил ни одного, даже на турецких базарах, оттого, наверно, что улицы здесь для такого промысла слишком малолюдны, вокзалы таковы, что там негде и незачем задерживаться, а публика, когда бы случайно и скопилась, не азартна.

— Не поспеваете за жизнью, молодой человек, — попенял ему Фефилов. — За светской.

В его забавах Ника, однако, не увидал прогресса и, чтобы достойно ответить, даже сослался на классику — на «Пиковую даму», как уже понял читатель, — но Оскар упрямился:

— С вашим ретроградством теперь не выжить.

— А на ваших картах, можно подумать, мир стоит. Но и спорить не буду: что стоит, то и стоит. И потом, что это с вами: вы будто подраться хотите? — поддразнивая, спросил Павельев, но не стал возражать Оскару по сути, хотя со дня отъезда из Союза больше не боролся за выживание, а жил обыкновенной скромной жизнью, и те привычки и пристрастия, с которыми он раньше чувствовал себя уютно, и теперь остались при нём.

— А впрочем, — сказал он Наташе, вставая из–за стола (тапёру не годилось рассиживаться с посетителями), — слыть консерватором и сохранять старые пристрастия — это всё же разные вещи.

— Вы сохранили — к чему?

Припоминать и перечислять пришлось бы долго, а вопрос и так был задан уже вдогонку, и Ника свёл всё к простейшему:

— К джазу.

* * *

Журналы на полке — за такие в Союзе когда–то можно было угодить в лагерь, как и за антисоветские анекдоты, которые рассказывали все да не всем, а лишь в своём кругу, что, впрочем, тоже было небезопасно, оттого что и там, среди близких и доверенных, всё же мог найтись — и, случалось, находился — любитель пересказывать услышанное теперь

уже не среди своих, а в каком–нибудь тайном кабинете; попался такой и среди знакомых Павельева, которому потом пришлось провести немало часов уже в других кабинетах, общий адрес которых до сих пор известен каждому москвичу. Пугали его там нещадно (а поначалу корили безнравственностью профессии, не очень умно развеселив старым куплетом: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст», — и как бы определив этим направление допросов), однако чувствовалось, что с арестом такой мелкой сошки, как он, торопиться не станут, а прежде соблюдут свою особенную корысть. Он же был убеждён, что над всяким анекдотом хорошо смеяться лишь единожды, и, опережая предложение, твёрдо заявил, что нет на свете такой чистой и благородной цели, ради которой возможно было бы стать доносчиком, оттого что это как раз самоё цель и замарало бы. Довод он выбрал слабый, какого едва хватило бы на пару бесед со следователем, но тот, собравшись, видимо, в отпуск, неожиданно устроил передышку. Павельев понял, что нужно использовать шанс и, не теряя времени, срочно и надолго исчезнуть из Москвы, потому что с глаз долой — из сердца вон: он знал успешный пример таких пряток. Возможностей нашлось несколько: завербоваться года на три на Север («Поближе к лагерям, — шутил он, — чтобы переход потом не показался чересчур резким. Даст Бог, это и зачтётся как ссылка»), уйти на сезон с геологами или податься в тёплые края со знакомыми джазистами, настойчиво звавшими на шальные заработки. Последней оказии, правда, следовало ждать до лета, а на дворе только начинался апрель, и Нике пришлось примкнуть к первой же подвернувшейся экспедиции — в Среднюю Азию.

Так он однажды оказался в странном ресторане, заполненном людьми с узкими нерусскими глазами. Пол в зале был выложен красно–белой метлахской плиткой, за окнами на фоне жёлтого угасающего неба чётко вырисовывались горы, а музыканты, вполне славянской внешности, наигрывали вещи из репертуара Петра Лещенко. «Я как будто попал в Харбин, — подумал Ника. — Этот эмигрантский оркестрик…»

Успевший захмелеть, он даже стал подпевать вполголоса: «…всюду слышу я речь неродную, и от тех незнакомых мне мест я по родине больше тоскую». Случайно пришедшая в голову мысль уже не оставляла его: «А почему в самом деле — не Харбин? Почему — не Стамбул, не Америка? Меня там уже не достанут. О, Стамбул!» Хорошие знакомые в своё время осторожно обещали показать ему верные пути за рубеж; Ника тогда отнёсся к предложению несерьёзно, а теперь пожалел — в первую очередь о том, что упустил шанс повидать белый свет, хотя и понимал, что дело тут вовсе не в путешествиях: стоило, вернувшись в Москву, попасться на глаза участковому — и повестка на свидание со следователем пришла бы незамедлительно. Да и жить там было уже не на что.

Прежние сомнения показались теперь несущественными, словно отдаление от дома на две–три (он не подсчитывал) тысячи километров изменило перспективу. «Я ничем не рискую», — убеждал он себя попробовать, хотя рисковал как раз многим.

— Вы говорите вслух, — холодно улыбаясь, предупредил его сосед по столу, павельевского возраста и борцовского телосложения мужчина с неподвижными глазами.

Ника встревожился, не представляя, какие из слов могли вырваться на волю, и едва не ответил грубостью: мол, это личное дело каждого, разговаривать ли с самим собою (ведь всегда приятно побеседовать с умным человеком) или с подругою, как никому не может быть дела до того, почему подруги как раз и нет рядом. Собеседник его пришёл, конечно, с женой (во всему выходило, что — не с любовницей), присутствие которой и не позволило Нике огрызнуться; поразмыслив, он решил, что был бы несправедлив.

Пока экспедиция пребывала в городе, Павельев не торопился сближаться с её работниками, да так и получалось само собою: с одними не нашлось о чём поговорить, с другими же пока не удалось даже как следует познакомиться; сбежавший из дома, он, опасаясь излишних расспросов, предпочитал до поры держаться особняком. Район, в котором он сейчас жил, выглядел неуютным для одиноких прогулок, и, потомившись несколько вечеров, Ника под выходной поехал на автобусе в центр, где ждал увидеть фланирующую по главной улице толпу, а нашёл лишь несколько пар, быть может даже и не гуляющих тут, а прохожих. Не собираясь напрасно мерить шагами сомнительный променад, он завернул в первое попавшееся заведение. Ресторан был набит до отказа, и ему пришлось смириться с соседством чужой пары (советский человек, с детства приученный к жизни в толпе, среди чужих, он ничего не имел против — но теперь следовало бы помнить об осторожности, оттого что любой из якобы случайно встреченных незнакомцев мог оказаться осведомителем милиции, а то и более серьёзных служб; кому, как не Павельеву, было знать это).

— Как же говорить, если не вслух? — нервно улыбнулся он в ответ на предупреждение.

— Выговор у вас нездешний.

Женщина, поведя плечами, поднялась с места, и муж кивком показал ей, в какую сторону пойти. Ника ужаснулся банту на её платье.

— Вы правы, я живу далековато, — не поддался он, — почти у аэропорта. А сейчас брёл мимо, услышал танго… Большая нынче редкость.

— Зачем это вам Иванушку играть? Я без задней мысли сказал.

— Все мы кого–нибудь играем. Так что давайте, расспрашивайте, у меня секретов нету.

— Вы так отвечаете, что и спрашивать расхотелось. Начните уж лучше вы.

— Теперь начнём торговаться, кому первому в дверь пройти. Только вам ведь хотелось поинтересоваться, чем это я, чужак, занимаюсь на глухой окраине. Ответ прост: ночую в общежитии. А работаю — у археологов, рабочим.

Заметив, какой взгляд бросил сосед на его руки, Ника рассмеялся:

— Нет, копать мы ещё не начали, тут подготовка идёт, а я — я, конечно, раньше землю не рыл. Когда–то был пианистом, аккомпанировал…

— Были.

— Все под Богом ходим. Знаете, от сумы да от тюрьмы не отрекайся? Так вот, случайная несерьёзная травма, вывих — и конец всему. Пустяки, всё словно бы прошло, но за инструментом в любой момент может случиться конфуз. Для себя же — играй, сколько хочешь.

— Сейчас сыграли бы?

У музыкантов был перерыв, эстрада пустовала.

— Кто ж позволит? Да я и не рвусь, — равнодушно отозвался Павельев, тотчас сообразив, что лжёт: ему вдруг остро захотелось сесть за инструмент. — Тоска.

— В своих раскопках вы пианино, надо полагать, не отрыли. Так воспользуйтесь случаем. Послушайте–ка, — остановил он проходившую мимо официантку, — у меня такой вопрос… Ба, да я вас знаю, вы — Черванская, правда? Видите, как удобно быть завсегдатаем, хотя, с другой стороны, хорошая память иногда вроде бы и не к месту. Так я вот о чём: пока ваши оркестранты отдыхают, узнайте–ка, нельзя ли этому молодому человеку заменить их, хотя бы частично? Он у нас либо смел, либо горазд.

Как раз смелости и недостало Нике: зал залу оказался не чета, и то, что было естественно — в концертном, в этом, среди пьяных, выглядело постыдно. К инструменту, старому «Бехштейну», Ника подобрался неловко, почти бочком, так же бочком присел на табурет, и только тронув клавиши, почувствовал себя в своей стихии. Радуясь неожиданному подарку, он заиграл старое танго, и очень скоро на эстраду поднялся и сел за свою установку ударник, так что вторую вещь они сыграли уже вдвоём.

«А я нанялся ямы копать», — вздохнул Ника, возвращаясь к столу.

— Нет, нет! — замер он, вдруг осознав, что здесь для него никогда не найдётся инструмента и всё, что останется сделать, это — лагерный способ — нарисовать клавиатуру на какой–нибудь столешнице или подоконнике и тогда беззвучно упражнять пальцы. Странно, ему не приходило в голову раньше, что можно провести годы, меняя одну экспедицию на другую, увериться наконец в своей безопасности — и если не позабыть ноты, то потерять всякую технику. Его гнало из дома единственное желание — скрыться, и тут он, видимо, добился чего хотел, занятия же музыкой, его призванием, разумелись как бы сами собою, об этом можно было не думать — он и не думал, а теперь вдруг словно наткнулся на стену. «Я так не выживу, — решил он. — Тут и нельзя долго прожить, всё это устройство обречено и рухнет — интересно, как. А до того я буду есть, пить, тупо выполнять поручения — для того лишь, чтобы есть, пить (не одну лишь воду), напиваться, спиваться, опускаться. Провести свой век в бегах, пугаясь каждого куста, — такое можно вынести, но порвать с музыкой — это не для меня».

— Видите, не подвела же рука, — заметил за столом сосед.

— Я и не играл вовсе, — отозвался Павельев, — и ничем не рисковал.

— Так вот о чём вы думали вслух!

Ника покачал головой. Он уже принял решение.

* * *

Редакция располагалась на шестом этаже старого, с высоченными потолками, здания, и подниматься туда было не самым приятным занятием даже для всего лишь сорокалетнего Павельева; перед дверью ему пришлось отдышаться. Не увидев на столах российских газет и поняв, что сегодня здесь не задержится, он повеселел. Какие–то незнакомые люди теснились в проходе между столами, видимо, ожидая редактора, и вопросительно уставились на Павельева, он же, не обратив на них внимания, направился в дальний угол, откуда махала рукой Алина Георгиевна, вольно, закинув нога на ногу, расположившаяся в глубоком кресле для посетителей и ожидавшая его с делами, далеко не служебными. Она протянула руку ладонью вниз, для поцелуя, и Ника расцвёл: ему претили принятые в стране женские суровые рукопожатия.

— У меня удачный день, — сообщила Алина Георгиевна. — Нашла неожиданно дорогую рекламу, заключила, пока они там не передумали, договор, и теперь имею законное право отвлечься.

Она переменила ногу, и Ника подумал, что не напрасно в американских офисах, как он слышал, советуют носить строгие костюмы: иначе отвлекаться будут — все.

— Я покурю? — словно спросила позволения Алина Георгиевна.

Они вышли на балкон. Солнце заливало черепичные крыши, башенки, мансарды и обильную зелень — Павельев любил этот вид; но таков был и остальной город, который он видел обычно снизу, с тротуаров или из своего жилища на нулевом этаже: кусты жасмина перед самым окном, а поодаль — стоящие стеной берёзы. Он всем говорил, что живёт, как на даче, не хватает только пенья петуха, и тогда его неизменно спрашивали, а не тянет ли его в какое–нибудь дачное подмосковное место— в Малаховку или Клязьму, — он же всякий раз честно задумывался, словно взвешивая за и против, а потом отвечал, что нет, нисколько. Следом его спрашивали и о самой Москве, но ответ бывал тот же, причём доводами всё больше служили не коварство и алчность КГБ (время шло, и опасность якобы меркла), а память об убожестве тамошнего быта — о вечных очередях, о протекающих трубах, о талонах на провизию или о неистребимом запахе мочи в подъездах.

Алине Георгиевне не терпелось узнать, дозвонился ли он давшей объявление женщине: как–никак, она и сама была причастна.

— Звонил — и оказался вовлечён, — усмехнулся Ника. — Неизвестно, во что.

Она с самого начала была уверена, что тут не обойдётся единственным звонком, и даже испытывала известные угрызения, оттого что не приняла участия в деле, стала хотя и причастна, но не вовлечена, как Павельев; случай был, всё–таки, не рядовой. Ей пришлось навёрстывать теперь: чтобы удовлетворить любопытство, она позвонила одной своей знакомой, другой — из тех, что могли слышать или слышали о Фефилове или даже определённо встречались с ним в публичных местах, — но те не ведали о его судьбе.

— Странно, — сказала она Павельеву, — буквально до вчерашнего дня все говорили об этом человеке — и вдруг никто больше ничего не знает.

— Полно вам. Просто, как сказала сама наша героиня, тема исчерпана.

— Вовлечены же? — напомнила Алина Георгиевна.

— Но это уже другая история.

Пришлось настоять, чтобы он наконец рассказал — первую.

— Хорошо, что обошлось без рыданий, — выслушав, заключила она. — Я переживала за вас в роли утешителя.

Она ещё не знала, что эту роль Нике пришлось исполнить дважды.

— Эти двое, похоже, были не очень близко знакомы, — сказал он. — А в наших декорациях разыгралось вот что: одинокая немолодая женщина принялась искать общения, хотя бы на завалинке, доступная

среда её не устроила, и тут вдруг оказалось, что неподалёку обосновался живой человек, с которым могут найтись общие воспоминания.

— Как вы осторожно выражаетесь: могут найтись! Они однокурсники.

— Опечатка. Учились на одном факультете, это верно, но на разных курсах. Он старше.

У самого Павельева такого живого человека не было; так давно Ника уехал из дому, что и не с кем, и нечего было бы вспоминать— не азиатский же горячий простор и не уроки немецкого в школе — дай Бог, чтобы не забыли его самого. О другом, музыкальном прошлом он когда–то запретил себе думать, и в итоге словно забыл сам себя.

— Простите, что я взвалила всё на вас.

Алина Георгиевна сожалела — вдвойне, оттого что упустила интересное знакомство и теперь волей–неволей довольствовалась скупым рассказом Павельева. Он же затруднялся даже описать Инну Вебер. В его изложении это была просто старая женщина…

— …со следами, разумеется, былой красоты, — не удержалась она.

Подумав, он согласился, а о другой старой женщине, Тимолаевой, решил до поры умолчать — не задумав интригу, а потому, что другую историю и рассказывать следовало в другой раз; он, впрочем, не знал, стоит ли та вообще разговора — начавшаяся так многообещающе, со скандального обнаружения нового в пьесе лица, а окончившаяся ничем. Точку в ней поставил вчерашний звонок в Мюнхен.

Павельев позвонил, чтобы извиниться за выходку Вебер, тогда–то и придумав объяснения, которые позже услышала от него Алина Георгиевна — одиночество, возраст, среда — и в которых не было ни лжи, ни фантазии. Каждый, кто истосковался в небольшой русской колонии, занервничал бы, познав о появлении в ней однокашника, и, быть может, сгоряча позволил бы себе даже более смелые шаги, нежели этот, с подменой имени, сделавшегося теперь верной приманкой.

— А ведь Инка Абельницкая была его поклонницей, — доложила другая Инна. — Одной из. Так что её нынешние штучки понятны, но непростительны. Пусть не думает, что самозванство сойдёт ей с рук. А Ося… Девицы, особенно с младших курсов, ходили за ним табунами — возможно, из–за масти: он был замечательно рыжий, как клоун.

Ника, помня, как недавно уже пытался представить себе Фефилова молодым, сейчас попробовал повторить опыт — и снова у него не получилось красавца.

— Оскар, конечно, отвечал всем взаимностью, — предположил он.

— Не знаю: у меня была другая компания. Как говорится, у вас свои знакомые, у меня — свои. Не всё ли равно, кто там с кем?.. И всё же Абельницкую надо проучить.

— Карфаген должен быть разрушен.

Вряд ли Тимолаева помчалась бы через всю Германию выяснять отношения, однако проучить кого угодно всякий мог и не выходя из дома.

— У неё нет компьютера, — предупредил Ника. — Придётся свести вас вместе — и радуйтесь встрече.

— Кстати, не оставите ли вы мне на всякий случай телефоны — свой и Оскара?

— Свой — нет проблем, Инны Вебер — вы уже знаете, а вот у Фефилова больше нет никакого телефона. Мы с вами всё шутки шутим, и все — не к месту. Пьеса–то оказалась сложнее, чем вы думаете. У нас вот что произошло: некая женщина разыскивала через газету давнего знакомого, а оказалось, что его нет на свете.

— Как, совсем? — вырвалось у неё.

— Он хотел бы — частично, — ответил Павельев, подумав, что стал одним из таких гонцов, каким в старину рубили головы за дурные известия.

— Опять я сказала глупость...

Но он и в гонцы попал только случайно: пошёл бы в библиотеку в другой день (или — не в ту библиотеку), не лил бы тогда проливной дождь, не взялась бы Алина Георгиевна читать газету, и тогда уже это не он, а кто–то другой разносил бы плохие вести, и казнили бы — того. День был нехороший — понедельник и тринадцатое число, — и Ника, с утра настроенный на неприятности, почуял неладное ещё в читальном зале, подозрительном тем, что там взрослые могли бы играть в прятки. Возможно, непорядок таился в тамошних книгах, которые он не мог прочесть, словно текст был написан не латиницей, а причудливой арабской вязью. Ника вспомнил, как недавно диктовал адрес одному арабу: тот записывал, держа блокнот почти вверх ногами, оттого что иначе не мог совладать с привычкой к письму справа налево, в христианском мире свойственной, в разумении Павельева, скорее уж левшам. Тогда он решил, что найти по такой записи нужный дом можно только двигаясь ходом коня, но оставил это соображение при себе; впечатление не пропало, вернувшись в нынешнем сне, в котором Ника сидел в концертном зале рядом с Алиной Георгиевной, слушая струнный квартет арабских музыкантов: те играли по нотам, написанным справа налево. Проснувшись, он задался вопросом, как те могли бы играть в действительности — пользовались бы особыми нотами, переписанными для

них словно бы наизнанку, или же просто смотрели в обычные, но тоже под каким–то неестественным углом? Ответа он не знал — и не ждал подсказки: спросить было не у кого. Неспособный вообразить арабских музыкантов, Ника упустил из виду близкое соседство множества — еврейских, но даже и вспомнив, и спохватившись, он сейчас не завёл бы нужного разговора: вряд ли среди них, приехавших из бывшего Союза, нашёлся бы кто–нибудь, верный исключительно родной письменности.

Зачем хотелось это выяснить, Ника не объяснил бы и самому себе: ремесло того не требовало. Оно не требовало ни глубоких раздумий об обратной последовательности мыслей, натуральной, если читать в неверную сторону, ни сравнения с магнитной лентой, запущенной задом наперёд, а то и с разбитым человеческим телом, оживающим в озорном кино в эпизоде падения снизу вверх, с мостовой — на крышу небоскрёба; в переложении на музыку всё это стало бы чистейшей какофонией, а в устном рассказе — бредом (но всё же не абсурдом, который, как известно, всегда должен быть хорошо продуман).

То, что Павельев наблюдал сейчас, продумано не было и, начавшись интересно, не могло разрешиться ни во что; он, быстро наскучив вялой пьесою, всё ж пытался угадать, как станут — и станут ли — развиваться события, но в голову приходили только банальные развязки. Инне Вебер, например, он предлагал, вспомнив о давнем увлечении, встретиться с предметом оного (слух о кончине которого не мог не оказаться ложным); они бы сперва не узнали друг друга, а узнав — огорчились, не показав того; делу между тем следовало окончиться добром в духе «они жили счастливо и умерли в один день». У другой пары — самого Ники с Алиной Георгиевной — розовой сказочки не получалось, не выдумывался даже и мимолётный тайный роман; мешало тому нечто неразгаданное. Последним персонажем — нет, была ещё младшая Вебер, Наташа, не занятая в общих сценах, так что тут он не смел надеяться, — последнею оказывалась Тимолаева; эту он оставлял безвылазно жить в Мюнхене, хотя мог бы нафантазировать и её непрошенный приезд, и сцены ревности — всё, возможное и в действительности. Узнав о смерти Фефилова, она засуетилась, как будто решив что–то немедленно предпринять, и принялась суетливо выспрашивать подробности — когда, отчего, где, — а он не мог ответить, посторонний человек.

Было странно, что совсем не так повела себя в том же положении Вебер — потому ли, что берегла себя?

— Говорят, это была неразделённая любовь, — поведал он Алине Георгиевне. — Первокурсницы буквально боготворили Фефилова.

— Вы же подтвердили: былая красота. Мог бы и заглядеться.

— Если только не предпочитал следов красоты — будущей.

— Опять вы умничаете…

— Есть же такой тип интеллигентных девушек, обыкновенных во всём, которые к старости становятся весьма интересными особами со значительными, благородными лицами.

— То есть, у меня не всё ещё потеряно? — рассмеялась Алина Георгиевна.

— Вы хороши сейчас, — серьезно сказал он.

— Никита Евгеньевич, дорогой, давайте, не будем менять…

Она не находила слова, и Ника с недовольным видом подсказал:

— Тональности.

* * *

Несмотря на то, что затеянное дело было уже сделано, Алине Георгиевне, как–никак знавшей о заочном его герое чуть больше других (хотя и не знавшей — ничего), хотелось поговорить с Вебер. Павельев сдержанно, оттого что мечтал вернуться наконец к собственным заботам, пообещал устроить встречу — не сказав лишний раз, что обещал то же и Вебер, которая и затеяла всё лишь ради новых знакомств.

Они стояли у подъезда редакции, на широкой улице, и Алина Георгиевна морщилась от шума машин. Идти ей и Нике было в разные стороны.

— Быть может, посидим с нею в тихом местечке, в кафе? — размышляла она вслух; заметив по лицу Павельева, что тот не в восторге от предложения, она поспешила добавить: — Я приглашаю. Просто попьём кофе, поболтаем полчасика.

Он покачал головой — считал, что ей будет непросто объяснить незнакомому человеку своё приглашение: та женщина, для себя уже поставившая все точки, могла бы подумать, что у неё хотят что–то выведать или, напротив, навязать. Да и договориться о времени встречи в городе было бы непросто: Вебер, хотя и нигде не работавшая, жаловалась, что редко находит днём свободную минутку, а вечерами бывал занят он.

— Подозреваю, что мне ещё придётся зайти к ней, — произнёс он наконец. — Составьте мне компанию, и такой визит будет выглядеть естественно. Если только вы терпимо относитесь к кошкам.

— А вы — нет?

— Я — собачей.

— Господи, где только вы откапываете все эти слова? Признаюсь, их бывает приятно услышать — на фоне того, что все вокруг обходятся словарём Эллочки–людоедки.

— Всё просто: так говорили у нас дома — матушка и бабушки, обе прожившие очень долго. Одна была городская и довольно образованная, отчего провозглашала себя атеисткой, вторая — из глухой деревни, истинно верующая. Думаю, она–то дала мне больше всех.

— Мне в этом не повезло, обошлась без Арины Родионовны. А, знаете, одну древнюю бабульку я, приезжая в Питер, обязательно навещаю. Это мать моей школьной подруги, я знаю её так давно, как будто она была всегда. Сама подруга умерла, но старушка, к счастью, осталась не одна, у неё полгорода родни. Завтра будет оказия — пошлю подарочек.

Павельев ничего не знал ни о ком в редакции. То, что Алина Георгиевна петербурженка, оказалось для него почти откровением: удобно было считать, что все тут, как и он сам, выходцы из Москвы.

— Кстати, Никита Евгеньевич, вам не нужно ли передать что–нибудь?

. — Некому.

— А вы сами — бываете в России?

Он не бывал (и не страдал от этого), беспаспортный беглец, не мог бывать.

Если на него иногда и находила тоска, то не по разорённому гнезду, а по местам детства — вместе с оным и сгинувшим; другие, связанные с его зрелой жизнью, стали Павельеву безразличны, оттого что он, если обращался к ним мыслью, то сперва неизменно вспоминал не те, где ему когда–то было хорошо, а невзрачный тесный кабинет, в котором с ним беседовал следователь — да, беседовал, тихо, спокойно, а Ника, потный от страха, ожидал неминуемого перехода к более серьёзному этапу, догадываясь, что ему пока ещё не сочинили нужного дела — его нынешнее выглядело всего лишь ничтожным наброском, даже не стоило допросов: подумаешь, анекдот, — а когда сочинят и подберут сообщников, тогда–то всё и начнётся. Прав он был или нет, осталось неизвестным: он, к счастью, не дождался разгадки. Но теперь всё московское стало для него связанным с этим липким страхом, и он не верил рассказам о переменах к добру, зная, что не могло кануть в небытие, отпустив на вольные хлеба мастеров своего дела, известное всем ведомство.

Он не мог и не хотел бывать в России, и вдруг, после вопроса Алины Георгиевны, вспомнил дачу, которую семья однажды снимала в Загорянке. Хозяйкой была одинокая учительница музыки, вдова полярного лётчика, и десятилетнему Нике нравились и её рассказы о приключениях мужа, и то, что она, когда родители Ники оба уезжали в город, не очень строго отсчитывала положенные ему часы занятий за пианино; эту дачу и выбрали только из–за инструмента. Вот куда он захотел сей-

час попасть, посмотреть на аккуратный домик с русской печью, так ни разу при Нике и не топившейся, на крохотный ухоженный участок — если всё это ещё существовало (он с улыбкой вспомнил, как не раз утверждал, что не скучает ни по каким подмосковным местам, — и не кривил душой; сейчас же перед ним словно бы приоткрылось крохотное окошечко, зимняя форточка, впустившая припрятанное впечатление). Прошлое было достижимо труднее, нежели наступающие дни.

— Не бываю, — ответил он Алине Георгиевне. — Я нелегал. Был нелегалом.

— Я могу вам помочь? — откликнулась она. — Может быть, нам стоит поговорить?

Ника был тронут искренней готовностью, прозвучавшей в её голосе; поговорить стоило, но разговор был бы долгим.

— У меня сегодня уроки, — сказал он с сожалением. — Волка ноги кормят.

На сей раз это были уроки не музыки, а немецкого. На счастье Павельева, шестимесячные курсы для эмигрантов языку не научали, отчего некоторые из выпускников, отчаявшись, обращались потом к нему — и через те же полгода говорили уже сносно.

— Итак, немецкий, музыка, это ваше кафе — кое–что вы зарабатываете. А перспективы?

— А перспектив нету. Что было, то и будет. Если повезёт.

В наступающих годах пока не просматривалось никаких радужных далей, но Павельев был бы не против, когда бы там всего лишь сохранилась неизменною поднадоевшая повседневность. Вместе с тем ясно было, что кафе рано или поздно закроется, а поток эмиграции постепенно иссякнет, и ему придётся жить на пособие, отнюдь не бедствуя, конечно, но с горечью сознавая свою ненужность (то, что учить детей музыке будут всегда, он пока осторожно выносил за скобки). Так пройдёт несколько — немного — десятилетий, а потом его похоронят за государственный счёт.

Распрощавшись сейчас с Алиной Георгиевной, он пожалел, что не попросил её навести дальнейшие справки о Фефилове; его интересовало не как тот жил, а осталась ли родня. Это нужно было ему самому, чтобы как–то примериться к собственному — он надеялся, что далёкому — будущему: у него–то не было здесь никого, и никого не удавалось завести; случись что, некому было бы прийти на кладбище. Могила скоро заросла бы, а потом и дождалась нового хозяина.

Подобные мысли посещали Нику нечасто. «Уж не Алина ли виною?» — подумал он.

Ещё наверху, на балконе, Алина Георгиевна, улучив момент, спросила Павельева о его женщинах — так не обидно и осторожно, что он сразу даже не понял, о чём идёт речь, а поняв — не знал, что ответить. С женой он развёлся до бегства, в Германии же почувствовал себя, в своих летах и положении, никому не нужным: получатели пособия были в глазах обывателей людьми дна. Несколько лет назад ему, правда, случилось сблизиться со студенткой университета. Невзрачная и неухоженная, она была ему почти безразлична, и он словно со стороны наблюдал за развитием романа — куда повернёт, девушка же взяла уверенный курс на замужество (и её отец, судя по всему, намеревался пристроить будущего зятя в своей фирме). Всё решил незначительный случай. У Ники тогда шла дурная полоса: ведомство по делам иностранцев предъявило странные претензии, одновременно он потерял нескольких учеников, потом ошпарил кипятком ногу; сговариваясь однажды со своей Гудрун о встрече, он сказал ей, как близкому человеку, в надежде на сочувствие:

— Знаешь, у меня сейчас серьёзные проблемы…

— Вот когда не будет проблем, тогда и приходи, — беспечно ответила она.

Проблем в своё время не стало, однако Ника не пришёл никогда.

Эту историю он не рассказывал никому, не стал и — Алине Георгиевне.

Глядя ей вослед, Ника подумал, что стоило бы проводить её хотя бы до следующей станции подземки: время ещё оставалось, а ясная нежаркая погода была идеальной для прогулок. «Знай меру, — опомнившись, одёрнул он себя, поворачивая в свою сторону. — Твоя тоска — это твоя забота». Так и не спустившись в метро, он дошёл до места, а после урока так же, не торопясь — и до своего кафе, всё равно оказавшись там чуть раньше, чем нужно. Гостей, пока ещё немногочисленных, обслуживал, по случаю пятницы, муж Марины, Володя (Вольдемар, конечно), в другие дни появлявшийся лишь поздним вечером.

— Когда же мы с вами покатим? — первым делом поинтересовался тот, напоминая о своём приглашении в поездку на море. — Скоро осень. Купаться уже нельзя. Возьмите с собой какую–нибудь невесту и — вперёд.

Володя, немец из Восточной Германии, когда–то учился в Москве и хорошо знал русский; они с Никой разговаривали, перемежая языки.

— Только не послезавтра, — вздохнул Ника, не представлявший, чем будет занят этот его выходной; он не сомневался, что случай с Вебер ещё не исчерпал себя: вот и Алина Георгиевна из любопытства затеяла визит. — Вы же и без меня поедете, как обычно, а я уж присо-

единюсь, если можно, в следующее воскресенье. Прогноз хороший, я смотрел. А купаться — отчего ж нельзя — в такую–то теплынь?

— Тогда пойдёмте, выпьем. Ваша порция, известно, на десерт, но составьте компанию. Народ раньше, чем через час, не соберётся.

— Марина говорила, что вы занялись благотворительностью, — начал Володя, когда они уселись на тесном диване, один с пивом, другой — с колой.

— Это иносказание, — с улыбкой возразил Ника. — Один человек разыскивал другого, а я случайно узнал, что тот, другой — уже покойник. Пришлось звонить, объяснять. Звали его Оскар Фефилов — вы, может статься, слыхали?

— Покойник, из ваших? Я бы знал.

— Ну, а в этот раз не знаете. Жаль. Да он и не сегодня умер. Сбежал от плохой жизни, а тут и никакой не досталось. Человек, увы, смертен.

— У вас говорят: все под Богом ходим. Верно?

— Верно. В Союзе ходили и под дьяволом. Там и нынче далеки от Бога. С одной стороны — показное православие, президент со свечкой, а с другой — забвение всех заповедей.

— Значит, вы приехали к нам в поисках Бога? — вывел Володя.

— Христианин — в страну, которая лет через тридцать станет мусульманской? — усмехнулся Павельев, вспоминая сон о нотах. — Впрочем, неважно, куда: Бог–то — во мне.

— Какие вы серьёзные, — удивилась Марина, заглянув в комнату. — Важные дела?

— Мы говорим о божественном, — ответил ей муж.

— Такая вот тема вечера, — заключила она. — И что же вы, Ника, будете после этого играть? Снова Баха?

— Снова джаз, — ответил он так, словно это разумелось само собою.

Снова. Накануне он играл классические вещи со странным равнодушием, а сегодня решил обойтись вообще без них. Он даже подумал, что хорошо было бы устроить какой–нибудь маскарад: и обстановка кафе, и его собственный костюм — элегантный сюртук, который он купил на блошином рынке за пять марок, — были, по его мнению, излишне строги для выбранной программы, а небрежная мебель из салуна на диком Западе, стетсоновская шляпа, сигара в зубах и стакан виски на крышке пианино существовали исключительно в его воображении. Для полного соответствия стилю вестерна следовало бы, пожалуй, придумать ещё и драку; такое было не в традициях заведения — и всё же, самое удивительное, едва не приключилось в действительности.

Едва Ника сделал перерыв между вещами, к нему решительной походкой направился мужчина в джинсовом костюме, до того сидевший в дальнем углу с рюмкой шнапса.

— Это — место для немца, — хмуро сказал он, больно ткнув пальцем в грудь пианиста.

— А вот то, — смеясь, показал Ника на освободившийся стул в углу, — для русского?

Пока джинсовый посетитель подыскивал лучший ответ, из–за стойки выдвинулась внушительная фигура Володи.

— Я немец, — сказал он вполголоса. — Вот ваш счёт — и мы с вами больше не увидимся.

Четверка молодых людей за ближайшим столиком, слышавшая всё, зааплодировала. Володя же, получив по счёту, наведался в комнату за стойкой и, ухмыляясь, водрузил на пианино — на место воображаемого стакана виски — табличку с жирно выведенной древней остротой, когда–то шутки ради изготовленную Павельевым: «Не стреляйте в пианиста. Он играет как может».

* * *

Придя за полночь, Ника первым делом выбрал диск и переодевался уже под игру Колтрейна. Слушать музыку на ночь было в его обыкновении — так, собственно, продолжалась, в том и состояла его работа, чтобы слушать, а потом исполнять, слушать одно, а исполнять что–либо совершенно другое. Он делал своё любимое дело, и в этом ему повезло: почти все, кого он знал здесь из русских, кроме, пожалуй, двух медиков и ещё, конечно, художников, занимались трудом не по умению, притом обидно простым; такой могли предложить и ему, коли он честно рассылал свои резюме по всевозможным, подряд по телефонной книге, фирмам — рисковал, конечно, — но пока, к счастью, неизменно вежливо отказывали, и он радовался, что не отрывается от своего ремесла. В кафе Ника играл незаконно, не оформив договора, но и не получая денег от хозяйки, а рассчитывая лишь на щедрость посетителей: это обставлялось так, будто он, зайдя выпить чашечку кофе, вдруг попросил позволения помузицировать. Такая работа в России называлась левой, а здесь — чёрной, а о той, что называли чёрной там, в Германии не было слышно вовсе, её словно не существовало в природе — ворочанья вручную шпал, рытья канав или перетаскивания на спине мешков с цементом или мукою; возможно, и не существовало, но Павельев жил, нервничая в ожидании внезапной отправки на социальные работы именно такого сорта — на которых мог окончательно испортить руки.

В Союзе, где ему грозили лагеря, лесоповал, жестокие морозы, он не думал о своих руках — и не только потому, что жил в те дни в каком–то зыбком состоянии, словно в трансе (отчего натворил немало разнообразных глупостей), а потому ещё, что, больше не годившийся в солисты, считал своё ремесло окончательно потерянным: и в самом деле, во всей огромной стране для него не нашлось бы сцены. Ни один человек не изобрёл бы для него в советской Москве даже Марину с её кафе; большее, на что он мог там и тогда рассчитывать или даже большее, на что хватало фантазии, была игра в ресторанных ансамблях, которую Ника считал недостойной халтурой, не имеющей отношения к подлинной музыке; случалось, правда, что он соглашался и на неё, но — лишь во дни отчаянного безденежья.

Невозможное в Союзе было доступно и даже само собою разумелось в Германии — но и наоборот; новая страна предстала перед Павельевым не просто другой, но и непонятной. Убегая от Советов, он не ведал, куда: считал, ничем этого не подкрепив, что просто–напросто уходит под крылышко другой, заведомо расположенной к нему власти, а попал поистине в другой мир — обратный тому, с которым сроднился с детства. Чего он не ждал встретить в желанной пёстрой вселенной, так это пошлой скуки, а встретив, растерялся — маялся, пока не получил возможности — нет, не избавиться от неё напрашивающимся бунтом, а — уходить в музыку, неважно, в своём ли исполнении или звучащую из динамика: слушая (да, сейчас, слушая концерт Колтрейна), он верил, что ему и дано, и дозволено многое. Во всяком случае, он теперь мог думать что и как угодно, даже — вслух.

Звонок застал его врасплох. Если перезваниваться поздними вечерами с неблизкими людьми было в этой стране верхом неприличия, то звонки, раздавшиеся после полуночи, могли означать только нечто непоправимое.

Звонила Вебер.

Она начала с оправданий — с того, что, зная, как поздно он приходит домой, была уверена, что не поднимет его с постели. Тон её не был виноватым, а таким напористым, словно она не просила прощения, а настаивала на его необходимости.

— Что–то случилось, — уверенно сказал Павельев.

— По такой погоде вы могли прийти ещё позже!

— Уж не собрались ли вы на ночную прогулку? — спросил он, не потрудившись скрыть насмешки. — Однако и луны что–то не видать.

Он не стал распространяться, сообразив, что не далее как вчера уже говорил ей что–то о лунатиках; не годилось, чтобы она сочла эту тему его излюбленной.

— Луна в последней четверти, — сообщила Вебер.

— Волки, по–моему, воют — на полную.

— Не знаю, не знаю, не знаю. Ника, мне плохо.

Она, однако, не могла сказать, что с ней. Всё, что мог сделать сию секунду Павельев, это вызвать врача, но и тому она не знала бы, на что пожаловаться.

— Ника, мне не кардиолог нужен, не хирург, мне всего лишь страшно, страшно, только страшно. Нет, никто не лезет в окно, не прячется за шторой, не ковыряет отмычкой — это, Ника, не мания преследования, а страх вообще. Чёрное! Я боюсь, что случится нечто ужасное — может, и не со мной. И когда я стараюсь представить себе, что же это такое, то вижу — черноту. Не могу описать: там — не темно, нет, там… там — зрение невозможно! Знаете, говорит: темно, хоть глаз выколи? Я знаю, что вокруг всё залито светом, и читать в состоянии, вот и телефон ваш не ощупью набирала, а ощущение такое, будто и впрямь мне выкололи глаза: чёрный провал.

С ней уже случалось подобное (однажды — в метро), только не такой силы, и всегда при этом рядом был кто–то ещё. Обычно она звала Наташу, но та сегодня уехала с компанией на уик–энд.

— Я зажгла все лампы, включила телевизор и проверила запоры. Только снаружи ведь не жулик с топором…

— Ну хотите, я расскажу вам какое–нибудь приключение, любовную историю или просто пачку крепких анекдотов? Забудьте вы о своих жуликах.

— Слышу, у вас приятная музыка. Вы не спите, а мне не заснуть… Надо же, какой бред. Мне плохо, Ника, придите, прошу.

«Неплохой сюжет из ночной жизни города, — подумал он. — Однако придётся идти».

— Понимаю, как странно это выглядит, — продолжила она, — но… Если честно, я боюсь сойти с ума. Я боюсь: вы понимаете — ночь кругом?

Ночь на дворе — это он понимал, но, не веря её страху, иронизировал про себя, вспоминая детские страшилки: кругом чёрная ночь, а по чёрной–чёрной улице громыхает чёрная–чёрная карета…

— Ну а если вышибать клин клином, — засмеялся он, прерывая неловкую паузу, — то придётся рассказать вам на ночь страшную–страшную сказку. А пока погладьте кошку, это поможет. Я скоро приду.

Утверждая, что любит ночные прогулки, Ника всё–таки никогда не выходил поздней ночью без дела, не позволял себе чудачеств: ни один нормальный человек, говорил он, не пойдёт в два или три часа пополуночи бродить по спящим улицам — разве что решившись на воровские

или разбойные дела. В Москве останавливало как раз последнее. В Германии ему хватало пешей, если хотелось, дороги от кафе Марины. Город казался тогда безлюдным: ночная жизнь, разгоравшаяся за дверьми баров и клубов, не выплёскивалась наружу. Скромные кафе и закусочные работали до последнего посетителя; когда Павельев вышел из подъезда, направляясь к Вебер, как раз такой гость, выскочив из пивной, помчался к остановке, где тормозил ночной автобус. Водитель подождал его, засидевшегося, выпустив взамен прехорошенькую девушку, совсем юную. Она пошла в одну сторону, Павельев — в противоположную, с особенным, из–за стука её каблучков, удовольствием осязая уютную пустоту пространства.

Он попытался представить себе, как выглядел бы сейчас на экране: освещённые витрины, скупые лампочки в стеклянных домиках фонарей и безлюдная перспектива, вместившая единственную мужскую фигуру, уходящую вдаль.

У Вебер горел свет, но дверь она не открывала очень долго, Ника даже оглянулся в поисках уличного телефона, потом отошёл, чтобы заглянуть в окно издали, — и только тогда зажужжал замок. Ника ждал, что она встретит его разобранной, в халате, но увидел женщину, одетую, как на выход: в белом пиджаке, в брюках.

Только сейчас он как следует разглядел её жилище: в первый раз он был занят своим поручением и невнимателен, в следующий — застал разгром после набега Наташи и лишь теперь всмотрелся — разочаровавшись, оттого что квартира походила на десятки других, в коих он побывал: случайные, как попало расставленные предметы. Зашторенная ниша вмещала, очевидно, кровать, а в самой комнате разместились фрагмент стенки, кресла с низкими, неудобными спинками, стеклянный журнальный столик, старомодный телевизор. Теперь не любили лишней утвари, он же, считая, что хорошая вещь лишней стать не может, с грустью вспоминал чужие московские комнаты, в которых лелеялась антикварная мебель, вмещавшая в себя и непременный хрусталь, и доставшиеся по наследству фарфоровые чашки, и книги, с трудом добытые в эпоху книжного голода.

Как и в первый раз, Вебер, едва впустив гостя, упала в кресло — но тотчас поднялась, чтобы снять пиджак.

— Я, как пришла, не раздевалась: а вдруг…

— Нужно лечь, — велел он.

— Не нужно: я ведь не засну. По–моему, надо бы как–то действовать, двигаться. Но воля ваша, попробую, и если вдруг получится и вы будете уходить — просто захлопните дверь.

На её лице не читалось признаков ни усталости, ни волнения, однако оно показалось Павельеву почти чёрным. Он не знал, что предпринять — может быть, и в самом деле начать рассказывать байки.

— Но есть же у вас какие–то подруги, — поинтересовался Ника.

— Кто же пойдёт ночью? Мужья, дети — с ними спросонок не разберёшься. Слава Богу, что вы — в двух шагах. Простите уж.

— Да что там… Дело, видимо, серьёзное, только, я вижу, вы и врачей боитесь. Так я посижу с вами, ничто больше не повторится. Завтра выходной, так что успею выспаться, — проговорил он и, вспомнив уговор с Алиной Георгиевной, добавил: — И вас проведаю, если позволите — с одной симпатичной женщиной, которая и ваше объявление первой нашла, и о судьбе Оскара разузнала — иными словами, заварила всю кашу, — и теперь очень интересуется. Мы–то с вами будто бы обо всём договорились, а вот у неё то ли комплекс вины, то ли, элементарно, женское любопытство. Да вы и сами хотели новых знакомств.

Вебер внезапно оживилась, справившись, к слову, о русском окружении самого Павельева, но он только развёл руками: знакомых было достаточно, близких — никого. Приехав в Германию в таком возрасте, когда заводятся уже не друзья, а собутыльники, он не был любителем застолий. С другой стороны, дни его проходили то в поисках работы, то в самой работе, и для поддержания случившихся связей попросту не оставалось времени. (Совсем иной разговор был бы — о женщинах, но Павельев не собирался его начинать).

— Так, богема, не богема, — сказал он о тех, с кем знался. — Художники, приехавшие, как и я, ещё до сноса Стены: что за эмиграция без художников? Но с ними беда: нынче все стали отъявленными модернистами, а я этого не понимаю, и добрую половину из них считаю шарлатанами. Так и хочется устроить какой–нибудь бунт.

— Который они посчитают перформансом, — фыркнула Вебер. — И в их полку прибудет.

«Вот и страхи прошли», — решил Ника.

* * *

С этим стариком Павельев неизменно сталкивался в подъезде, идя на ранний урок; тот, в неизменном твидовом пиджаке и при бабочке, в эту же минуту спускался со своего этажа, отправляясь на прогулку по Паркштрассе — на которой не было парка. Они вежливо раскланивались — и расходились, никогда не заговаривая, разве что отпустив замечание о погоде. Так продолжалось годами и могло продолжаться годами же, и если Ника знал имя соседа, то потому лишь, что прочёл его

на общей табличке у входа. Сегодня они встретились случайно: была суббота, и каждый изменил своему расписанию.

— Добрый день, — произнёс Павельев.

— День, — эхом отозвался старый джентльмен, пристукнув тростью.

Пропустив его в дверях, Ника немного потоптался на тротуаре, чтобы не пойти с ним рядом: это могло показаться невежливым. Глядя вослед, он сказал себе: «А деду очень пошло бы ходить с собакой». Возможно, при этом он вспомнил кадр из старой картины.

Ему вдруг пришло в голову, что у соседа нет семьи, во всяком случае, он никогда не видел того в чьём–либо обществе — жены, детей, прислуги, — скорее всего, встречал их поврозь да не знал, кто и что. Он вообще мало кого из жильцов знал в лицо и уж наверняка не сумел бы связать их в воображении между собою. Но что бы там ни было, а старику нужна была собака.

— Где–то я читал, — час спустя говорил он Алине Георгиевне, — что с хозяевами собак реже, чем с нами, смертными, случаются удары. И самоубийства.

— Что за мысли у вас с утра!

— Давно уже не утро. Мысли же — оттого, что я встретил человека без собаки.

— Тогда понятно: это событие. Так бы и сказали.

Они расхохотались.

Павельев всё же не слишком шутил: прошедшей тревожной ночью он посоветовал больной женщине поласкать кошку, и считал, что совет не пропал даром. Но рассказывать об этом её будущей гостье сейчас вряд ли стоило.

Он набрал номер, чтобы предупредить о своём приходе.

— Что–нибудь ещё? — выпалила Вебер, едва сняв трубку.

— Нет, и того достаточно, — невозмутимо ответил Павельев. — И потом, это не я. Кстати, здравствуйте.

— Я думала, что опять звонит… Простите, Ника, но у меня снова происшествие и… вы правы: клин клином вышибают. Мне уже не до своих капризов: вернулась Наташа.

— Что ж в этом дурного?

Дурными оказались: поломка машины, возвращение среди ночи в случайном пикапе — и спокойный звонок утром: мама, я дома, нет, ничего не случилось, нет, больше не поеду, нужно бы отдохнуть наконец — это казалось скупым конспектом. К себе она вошла в то позднее время, когда Павельев был у её матери, и только сейчас позвонила, что придёт.

— Тогда мы с коллегой наведаемся в другой раз, — предположил Павельев, но Вебер не захотела менять планы: дочь не могла бы помешать им, не намеренным ни держать трудных речей, ни спорить.

Наташа, когда они пришли, была уже там.

— Красавица у вас дочка, — заметила Алина Георгиевна.

— Но что устраивает!

— А что устраивает? — поинтересовался Павельев.

Девушка ещё ничего не успела толком рассказать матери. История же была — об автомобильной аварии. Водитель машины, в которой она ехала, то ли заснул, то ли, замечтавшись, просто не заметил в темноте клумбы в центре перекрёстка, но только вместо того, чтобы объехать её по кругу, помчался напрямик. Колёса с такой силой ударились о каменный бордюр, что Наташе показалось, будто они отломились — возможно, так и случилось, но ей потом было не до изучения обломков. Машина же, начав заваливаться — и упав, всё–таки, не на крышу, а на бок, — проскользила через всю клумбу, чудом не задев торчащего посередине столба. Выбраться из мешанины сработавших воздушных мешков и гнутых железок пассажирам удалось лишь с посторонней помощью — и оказалось, что никто не пострадал, только юноша, сидевший рядом с водителем, порезался о разлетевшуюся стеклянную бутылку.

— Я не успела испугаться. Просто подумала, что вот, всё. А испугалась много позже.

— Мало кто, наверно, успевает, — сказал Павельев.

— Подумали, что — всё, а потом обрадовались, что всё позади? — неуверенно проговорила Алина Георгиевна. — Теперь, наверно, долго не сядете в машину.

— В эту уже никто не сядет, а в другую — уже садилась, меня довезли до дому в каком–то джипе. Я ещё подумала: зачем же обратно, мы ведь ехали на озеро. А теперь туда больше не добраться. Всё, закрыла сезон.

Павельев и Алина Георгиевна переглянулись: девочка была, вероятно, ещё в шоке от случившегося, и её испуг был впереди. Зато у матери он уже наступил: она сидела бледная, вцепившись в подлокотники кресла, и безнадёжно пытаясь вымолвить хотя бы слово.

— Мы там привезли кое–то к чаю. Яблочный пирог, — бодро сказал ей Ника, хорошо помнивший, как она провела ночь. — Не нальёте ли нам по чашечке?

Не переставая говорить, он помог хозяйке подняться и увлёк на кухню.

— Пирог, — проворчала она. — А у меня всего наготовлено.

Припасено всего и в самом деле было довольно — покупного, из того, что можно из магазина сразу нести на стол, — и лишь пирог пришлось поставить в духовку.

Когда Вебер и Ника вернулись в комнату, разговор там шёл о тряпках; другого и не могло завестись между двумя незнакомыми женщинами, а теперь его поддержала и третья, и Павельеву только и осталось удивляться вслух тому, как быстро они нашли общий язык, а про себя — задаться вопросом, что ему делать среди этих разных людей с такими далёкими от его собственных интересами. Отмолчаться, сказав, что не смыслит в моде, не удалось, они сразу нашли, за что зацепиться: а сюртук? Пришлось, напустив небрежный вид, объяснить, что вещь куплена по случаю (не признавшись, что — на барахолке), — и услышать от младшей из женщин, что случай был — счастливым.

— Это очень важно — выдержать стиль. Вот ваши исполнение и костюм — в одном стиле.

— Играй я «попсу», то и другое пришлось бы сменить, — согласился он, — Это не моя музыка. Слава Богу, я пока ещё могу выбирать, играть её или нет.

Ника ещё выбирал, считать её музыкой или нет, а коллеги — считали, многие, но он вступал в спор редко, оттого что восклицать при народе «А король–то голый» дозволяется только детям. Он, конечно, видел протянувшуюся во времени цепочку — от вальса, через фокстрот и буги–вуги к рок–н–роллу и далее, уже без названий, это был естественный путь, — но ведь объяснить ещё не значит простить. Когда–то, говорил Ника, мгновенно увлекшись, и вальс слыл непристойным танцем, он, видимо, волновал танцующих, однако новым поколениям требовались возбудители посильнее, новейшим — ещё более сильные, юным слушателям становилось уже не до виртуозности, они удовольствовались бы и одной дворовой ритм–группой, задающей будоражащий темп, семьдесят ударов в минуту, при каком, он читал, лучше всего вырабатывается адреналин. От музыкантов больше не требовалось мастерства — и мастера ушли; время великих джазистов кончилось, и их отпустили спокойно — Дюка Эллингтона, Чарли Паркера, Сэчмо. Замены не нашлось, и не стало надежды, что её проявит время, как изредка проявляет великих композиторов, художников и поэтов: всякий понимал, что исполнителей не выкапывают из прошлого, с оглядкой, они или есть здесь и сейчас, или их нет.

— Какой вы энтузиаст! — изумилась Алина Георгиевна. — Ну а вы, вы сами…Жаль, что я вас не слышала.

— Я не смел зазывать. Но ничего и не потеряно: приходите, наконец, с мужем. Во всяком случае, в нашем заведении варят хороший кофе.

— Вы–не–сме–ли–за–зы–вать.

Павельев не приглашал, а она не ведала, чем и как живёт её коллега — они виделись в редакции редко и всегда мельком, — но и зная, не ждала бы, что найдёт его игру сколько–нибудь стоящей: колония изобиловала дилетантами, титулам которых нельзя было верить. Скажи ей Ника о своём ремесле — она сочла бы, что и тут не обошлось без самозванства.

— Явиться незваной — вы смутились бы.

— Пришли б инкогнито, — улыбнулся он. — Парик, чёрные очки, поднятый воротник.

— Так вот каков ваш любимый уклон! Но одну детективную историю мы уже разыгрываем целую неделю — историю с вашим, Инна, объявлением, — повернулась она к Вебер. — Признаюсь, это я была зачинщицей. Связать вас с этим вашим молодым человеком казалось легче лёгкого: он мелькал всюду, и многие могли знать его телефон. А сегодня никто не знает, что он умер.

Даже подруга, сообщившая ей эту весть, больше ничего не сумела добавить: мол, слышала от кого–то, но подробностями не поинтересовалась, не близкий же человек. На этой подруге всё и замыкалось: выходило, что никто не присутствовал на похоронах, ни у кого не оказалось общих с Фефиловым близких знакомых, и если Алина Георгиевна ехала к Вебер с намерением пересказать ей слухи и женские пересуды о Фефилове, то постепенно это стало казаться ей незначительным и ненужным.

— Проще всего справиться в общине, — сказал Павельев, и Вебер, подавшись вперёд, уставилась ему в глаза:

— Вы что, предполагаете, что он жив? Иначе незачем справляться.

— Я хочу сказать, что ничего не знаю, ни да, ни нет. Предположить можно многое: и то, что он похоронен чин чином, и то, что укатил, не сказавшись, в Россию. В первом случае где ж узнавать подробности, как не в общине, а во втором — его можно искать до второго пришествия. А ведь есть и ещё варианты, совсем некрасивые: человек запил или, пардон, сел в кутузку — например, за азартную игру. Он ведь был картёжником. Скажем так — удачливым игроком.

— Хорошего же вы о нём мнения, — сказала Вебер, не слушая одновременного возражения «Я говорю что знаю». — Возможно, вы правы — и вы, видно, мастер отговаривать. А я, когда вы начали — о карточной игре, вспомнила, к слову, как одна дочкина подруга к месту и не к месту склоняла: «Играю без мяча, играет без мяча, играют…». Вот я, оказывается, так и сыграла, после чего уже сомневаюсь в собственных намерениях и подозреваю, что не обрадовалась бы, если б Оскар

нашёлся. Представьте, вдруг, среди белого дня, он звонит и спрашивает: «Что тебе вздумалось меня искать?» А я отвечаю: «От скуки».

Между тем не только пропавший Фефилов, но и никто больше не позвонил ей даже от нечего делать, и впору было предположить, как это и сделал Ника, что всё дело затеяно неспроста, лишь бы свести вместе их троих («Четверых», — поправила Алина Георгиевна), а потом тотчас оборвать любые связи, чтобы другие люди не стали причастны.

Наташа, осушив свой бокал — у них и вино было на столе, — отошла к окну, став спиной ко всем, и Алина Георгиевна забеспокоилась:

— Вам, Наташенька, скучны эти материи? Вот, кстати, Инна, о скуке. Наш сюжет иссяк.

— Оставьте её, — вполголоса сказала Вебер. — После такой встряски я бы лежала трупом.

— Надо как–то возместить…

— Как я сразу не догадался? — вскричал Ника, вскакивая с места. — Есть же возможность переменить обстановку. Хотите, Наташа, провести денёк у моря? Мои шефы, Марина с Володей — да вы видели их обоих, — ездят туда по воскресеньям и звали меня. Мне всё как–то недосуг, но я наконец назначил себе срок: через неделю. Если хотите, поедем вместе, у них большая машина. Да нет, что я, можно ведь не ждать, отправляйтесь одна, завтра же. Если хотите, я прямо сейчас позвоню.

— Не плачь, дед, не плачь, бабка, — рассмеялась Алина Георгиевна.

— Я без вас не поеду, — испуганно сказала девушка.

— Как же так… Они помоложе меня и вам понравятся.

Наташа стояла на своём, не соглашаясь ехать с чужими людьми, и Павельев с удовольствием вывел, что его–то считают своим. Впрочем, это ничего не меняло.

Ничего, казалось, не могла изменить и нынешняя встреча, по их замыслу — первая и последняя: они сходились, чтобы разойтись, надолго или навсегда, словно вернувшись ко дню выхода газеты с объявлением Вебер (позже она одна всё–таки решила поставить точку, справившись в еврейской общине: «Ну как же, пропал человек, — сказала она. — Или умер, но не похоронен? Прямо фильм ужасов»). Не было ничего проще, чем вернуться в прежнее бытие, ещё не нарушенное негромкими событиями недели, — не было бы проще, когда бы оно само не изменилось отныне.

Младший

«Чем лучше я узнаю людей, тем больше люблю собак».
Мари де Рабютен–Шанталь де Севинье
(кому только не приписывали этот афоризм: Ницше и Сократу, Эренбургу и Киплингу, Б. Шоу и Черчиллю…)

«Все решающие выборы, вроде, к примеру, выбора возлюбленной, суть эстетические; опираясь в своём выборе на этику, мы можем отдать предпочтение собаке».
Иосиф Бродский,
доклад на Нобелевском юбилейном симпозиуме Шведской академии в декабре 1991 г.

Никому не пожелаю заводить собак: слишком короток срок, отпущенный им на земле, и горе по их смерти иной раз бывает горше, чем по смерти человека. Они, впрочем, в большей мере человеки, нежели иные из нас.

Для меня они всегда меньшие, всегда маленькие, не животные вовсе, а невырастающие дети, их и жалеешь, словно детей. Никогда никого не оплакивавший вслух, со слезами, я, похоронив своего последнего пса, потом месяца два кряду то и дело срывался в глухой плач (да и через два года при воспоминании сдерживался с трудом), а теперь, когда собственных оставшихся лет стало во много раз меньше, чем прожитых, утешаюсь надеждою, что первым, кто встретит меня по ту сторону черты, будет мой Тибул. В такой мечте нет святотатства, а лишь нескромное упование на лучшую участь.

Вовсе не встревая в споры о наличии у собак души — бесплодные, оттого что и в человеческую верит не всякий, — я всё–таки посмею утверждать, что часть моей души жила вместе с ним и с ним — отлетела. Вот отчего это горе — горше.

Никому не пожелаю прожить свой век без собаки.

Тысячи раз говорено, что собака это и друг, и защитник, и беззаветно любящее существо, а я к этому добавлю, что ещё и собеседник. Специалисты — не скажу об учёных, но практики, инструкторы на дрессировочных площадках — в беседах со мной никогда не соглашались с этим взглядом; к таким, как я, они относятся с лёгким презрением как к людям никудышным, напрасно портящим племенных животных, очеловечивая их вместо того, чтобы приучить по–солдатски, не думая, выполнять команды. Но ведь и человека, вытравив культуру и подавив интеллект, можно вымуштровать так, что он станет покорным, как робот или скот (опыты, увы, общеизвестны); каждый из нас всё же хочет для себя большего.

Кинологи уже написали и напишут ещё свои статьи и книги; уважая их труд, я всё ж оставлю за собою право на свежий взгляд профана — естественное, так как и среди профессионалов не существует единства взглядов: каждому нужен верный кусок хлеба, и каждый пишет свою, оригинальную диссертацию; в точных науках дело обстоит лучше, но в иных описательных — сколько учёных, столько и учений, среди которых всегда возможно сыскать удобное для себя. Примеров все мы знаем сколько угодно. На нашей памяти не раз выходило так, что если один авторитетный муж убедительно доказывал пользу для здоровья, скажем, регулярного и достаточного питания, то скоро непременно находился его коллега, ратующий за голодание, причём убедительных доводов в пользу своей теории и даже впечатляющей статистики её применения каждый из них приводил предостаточно. Иные склоняли к обильному питью какой–нибудь живой воды (которую сами изготавливали, наливая из–под водопроводного крана, и потом продавали недёшево), и тотчас объявлялись их оппоненты, рекомендующие не пить вообще и неведомым образом зарабатывающие и на этом. Обыватели же, не имея возможности быть в курсе всех направлений наук, следовали тем или другим лишь в зависимости от того, чья книга нечаянно попала им в руки. В этом не было бы особой беды, когда бы время от времени на случайном выборе одной из тьмы параллельных линий не основывались целые государственные идеологии. В Советском Союзе, например, вышло так, что когда один из академиков счёл всех животных управляемыми одними лишь инстинктами и рефлексами (рассказывали, что в его лаборатории строго запрещалось говорить: «Собака подумала»), власти нашли его теорию чрезвычайно полезной для собственных ненаучных целей и, быстренько наложив запрет на прочие, противоречащие, распространили её на людей.

Между тем сила слюноотделения, на измерении которой зиждились суждения уважаемого академика, вполне могла зависеть, помимо рефлексов, ещё и от диеты, и от настроения, а то и от воспитания, как у людей. Как тут не вспомнить Набокова, заметившего однажды: «Всегда удивляюсь тому, сколько слюны у простого народа». Эта цитата приводится здесь будто бы в шутку, но недаром же она вдруг пришла на ум. Вообще, только шутка по этому поводу и уместна в моём повествовании, потому что не мне, человеку в естественных науках несведущему, перечить мировым величинам. По роду занятий мне полагается копаться лишь в человеческих душах — но не писать же тут о себе, владельце собаки, которая думала.

Другие

Никогда не знаю, что отвечать на вопрос, сколько у меня было собак: это уж как считать. Полностью свои жизни прожили рядом со мною только две, а с остальными приходилось расставаться по самым разным причинам, существенным лишь потому, что всё происходило в отцовском доме, где я не имел права голоса. Родители держали собак и до моего рождения, и я наслышался об этом легенд; не стану их пересказывать, а напишу о том, что видел сам.

Отсутствие собаки в моём младенчестве, видимо, случайно; впрочем, можно предположить, что виною была мамина любимица — огромная белая сибирская кошка, существо недоброе даже к людям (я называл её сторожевою): с собакой она бы не ужилась. Потом была война, и лишь когда мне исполнилось уже лет одиннадцать, в доме появилась немецкая овчарка Жермен — то ли сама военный трофей, то ли дочь трофея.

Следом за нею, с перерывами, у нас были доберман–пинчер Тагир, ротвейлер Чабби и ризеншнауцер Тибул.

Сегодня уже не восстановить причин исчезновения Жермен, да я и не посвящён был; во всяком случае, на то, чтобы они утратили силу, понадобилось изрядное время. Прошло несколько лет, прежде чем я, мечтавший, как и многие мои сверстники, о собаке, начал готовить почву. Возражения родителей были минимальны, сводясь к трудностям уборки (и в самом деле, во время линьки шерсть нашей овчарки обнаруживалась и в постели, и в супе, и в рояле), и я рекламировал гигиеничные коротконшёрстные породы, перечень которых для Москвы тех лет умещался на одной строке: дог, доберман–пинчер и боксёр. Удобнее всего было развивать тему добермана, так как в соседнем подъезде держали элитную суку, и наглядное пособие было под рукой; я так и поступил — и выиграл.

Заводчица (не та, не соседка), отдавая чудесного, кофейного цвета щенка, посоветовала: «Если он будет плохо есть, а это случается, дайте ему для начала шоколадную конфетку». Аппетит у него, однако, оказался отличным, и до конфет дело не дошло. Щенок скоро стал огромным (семьдесят два сантиметра в холке, предел стандарта) кобелём, красавцем, но обладавшим одним досадным изъяном, который закрыл ему дорогу на выставки. Не ему одному: весь помёт забраковали на первой же выводке молодняка.

Мы выходили на ринг в числе последних, и кто–то из судей сказал: «Хоть под конец попались хорошие доберманы». Тагиру вместе с его двумя братьями и сестрой понаставили пятёрок, и оставалось только проверить прикус; никто из щенков не давался, и один из судей махнул было рукой: «Да что там, отличные собаки», — но другой настоял на осмотре — и тут–то у всей компании обнаружился дефект прикуса.

Это привело к тому, что Тагир не получил диплома об образовании. На дрессировочной площадке он был отличником: безукоризненно выполнял все команды, с азартом задерживал «нарушителя», а двухметровый барьер, который многие собаки не перепрыгивали, а перелезали, хватаясь лапами, перелетал, не зацепив даже коготком. Его одноклассники учились намного хуже, из–за чего на каждом занятии повторялись одни и те же задания, и Тагиру это в конце концов надоело. Он забастовал, вдруг перестав выполнять какие бы то ни было упражнения, например, не брал даже игрушечный барьерчик высотой всего мне по колено, — но стоило нам отправиться с площадки домой, как он с радостью перемахивал через любые препятствия, какие только я выбирал. Учёбу нам пришлось оставить — задолго до экзаменов; диплом он поэтому не получил, но коли выставки нам не светили, то и предъявлять его было бы негде.

Тагиру я обязан жизнью.

Это произошло на даче. Я только что сдал весеннюю сессию в институте и так устал, что однажды нечаянно уснул после обеда, хотя обыкновенно дневной сон был для меня немыслим (говорили, что я перестал спать днём в двухлетнем возрасте); на кухне же остался гореть газ. Не могу понять, почему он вдруг погас: в доме были закрыты все окна и двери, и никакой сквозняк не мог бы возникнуть сам собою. Скорее всего, я просто плохо закрыл кран. Разумеется, я во сне не слышал никакого запаха и успел вдоволь надышаться газом, пока Тагир не растолкал меня. Разлепив глаза, я увидел перед собою собачью морду и опять куда–то провалился, но полностью сознание всё же не потерял, так как успел привстать и разбить головой окно. Это меня спасло. Когда через

пять часов приехали из города родители, я лежал с рассечённой кожей на лбу, на земле под окном валялись окровавленные осколки стекла, а вся моя одежда была в блестящих полосах — следах собачьего языка: Тагир долго облизывал меня, стараясь разбудить.

Он был отличным другом и хорошим сторожем, защитником, иногда и перебарщивая: одно время, например, не позволял никому здороваться со мной за руку и только повзрослев понял, что рукопожатие — жест дружественный.

На даче он не доставлял хлопот, хотя деревенские обходили наш угол посёлка стороной: «Там сумасшедшая собака». Дачи не были разгорожены между собою, но эта «сумасшедшая» точно знала половину расстояния между ними: Тагир будто бы не обращал внимания на происходящее за этой чертою, однако соседи не смели переступить её — пёс останавливал их и держал на месте до тех пор, пока кто–нибудь из нас не приходил на помощь; себе он, однако, позволял забегать к ним едва ли не в дом — и там сразу становился вполне милой домашней собачкой, ласкался и позволял всякие фамильярности. Если же с нашего крыльца он видел, как на их участок заходят чужие люди, то срывался с места и, добежав точно до границы, устраивал настоящий скандал.

Этот пёс прожил у нас одиннадцать лет, а умер всего лишь от чумки: прививок тогда не делали. Его, быть может и спасли б, если бы сразу поставили правильный диагноз. Но у него определяли то мифическую опухоль, то — камни в мочевом пузыре, пока очередной врач не закричал, едва я открыл дверь кабинета: «Куда вы? С чумной собакой!»

Он назначил лечение в стационаре, но было уже поздно.

Теперь–то я знаю, что чумку можно было бы распознать с одного взгляда. У следующей своей собаки я и распознал — вовремя.

Очень тяжело переживая смерть Тагира, моя мать зареклась впредь заводить собак. Зарока, однако, хватило ненадолго: через несколько лет мы купили ротвейлера.

Этот пёс, Чабби, подвигов не совершал, да и прожил у нас всего лишь года три.

Породу я на сей раз выбрал наугад (увидел в чужих руках собаку — и захотел такую же): порасспросить о её свойствах было не у кого: ротвейлеры были новинкою для Москвы, экземпляры можно было пересчитать буквально по пальцам, и на улице они мне попались всего два или три раза. Я не упускал случая поговорить с хозяевами — и каждый их них жаловался на свирепость своего питомца (одна владелица молодой сучки едва ли не с радостью выпалила наболевшее: «Сущая ведьма! Сущая ведьма!»), но это меня не остановило — пожа-

луй, наоборот: по молодости я считал, что собака должна прежде всего быть сторожем и защитником.

Найти частного заводчика не удалось, и щенка взяли в военном питомнике.

Щенок оказался неестественно молчаливым. Он вообще никогда не лаял, а угрозу выражал рычанием, раскатистым, как у льва — не вальяжного господина с заставки фильмов Metro Goldwin Meyer, а зверя из зоологических страшилок. Видимо, он никого и ничего не боялся, и много позже мне сказали, что подобных (да ещё взятых из питомника) собак никак нельзя держать в квартирах, и я склонен был согласиться; поначалу же я думал так: «Вырастил Тагира, выращу и этого».

Другой проявившейся чертой Чабби оказалась его жадность — следствие, быть может, «детдомовского» несытого существования. Напрасно было думать, что с нею можно легко справиться, закормив щенка — не тут–то было. Посчитав, что если он разочек как следует переест, то потом больше не захочет лишнего, я однажды попробовал: едва он съел свою обычную порцию, я снова наполнил его миску — он одолел и её, и третью и не прочь был подчистить четвёртую. Как и у всех малышей (а ему было от роду всего два месяца), видно было, как по мере еды увеличивается его животик — так раздулся, что уже третью миску Чаб не мог есть стоя и сел; четвёртую он, пожалуй, ел бы лёжа, если бы опыт не прервали, всерьёз опасаясь за его жизнь.

Эта жадность осталась у него навсегда, и я считаю — спасла его, когда он заболел чумкой. Чаб совершенно не мог глотать и умер бы от голода, но я резал сырое мясо тончайшими ленточками или буквально разнимал на волокна, и отказаться от такого лакомства он был не в состоянии: хоть несколько граммов в час, но осиливал; он ел — и выкарабкался из болезни. И вот при своей ненасытности он никогда ничего не подбирал на улице. Зато доберман Тагир, с его аристократическими капризами, с его разборчивостью в домашней еде, оказался настоящим помоечником: хватал всё, что валялось на улице, я не успевал уследить. Сравнивая этих двух собак, трудно найти тут хотя бы какую–нибудь логику.

Тагир признавал хозяином одного меня, хотя я никогда не кормил его (это делала моя мать), а только выгуливал, играл с ним, дрессировал. Мама, например, не смела его ни ругать, ни наказывать, оставляя это мне, и он, набедокурив, к моему приходу скрывался под рояль в ожидании нотации. Для Чабби, как со временем стало ясно, хозяина не было вообще. Распределение обязанностей в семье осталось прежним, но пёс был благосклонен только к той, что его кормила, мне — подчинялся, хотя и не безоговорочно, моих же отца и сестру вовсе не жаловал и, например,

на кухню, то есть — к еде, пропускал не всегда; коридорчик туда был узкий, собаке, чтобы перекрыть его от стены до стены, приходилось лежать там чуть наискосок — и упаси Бог было поднять ногу, чтобы перешагнуть через него. Сестра, в конце концов, именно таким образом и пострадала и в течение месяца, пока не зажила прокушенная нога, не выходила из дому. Однажды Чабби набросился и на отца — в передней, уж не помню, из–за чего. К счастью, это было зимой, отец только что пришёл с мороза и не успел снять дублёнку — она его и защитила.

С ротвейлером я прожил всего пару лет, а потом, когда переселился в отдельную квартиру, вышло так, что пёс остался — на старой: я зажил одиноко, работа же моя требовала частых и длительных разъездов по стране, что исключало даже мысль о том, чтобы держать в доме хотя бы какое–нибудь животное. Но и в редкие московские месяцы я не брал пса к себе, оттого что не мог бы его кормить: о сухой собачьей еде тогда не слыхали, а специально готовить было практически невозможно из–за отсутствия холодильника: чтобы купить эту вещь, нужно было простоять в очереди года три, а то и все пять; я записался, конечно… Сам я обходился утром яичницей, а вечером — купленной по дороге котлетой, для собаки же нужно было бы хранить где–нибудь в холоде и мясо, и похлёбку.

Итак, Чаб остался у моих родителей — и они с ним не справились…

Ризеншнауцер Тибул появился, когда я уже был женат и переехал в квартиру попросторнее, где хватило места и для собаки. У нас составилось дружное семейство из четырёх душ: я с женой, сын Митя и Тибул — о двух последних мы говорили: наш старший и наш младшенький. Эта семья оказалась очень гостеприимной, и у нас время от времени гостили посторонние собаки — брошенные или потерявшиеся; Анна, моя жена, подбирала их и потом скоро пристраивала в хорошие руки. Тибул, хотя и бывал недоволен такими гостями, не обижал их, как вообще никогда не мог обидеть меньших; однако и фамильярностей от них не терпел. Даже своей родной полуторамесячной дочке, которую мы передерживали несколько дней, он позволил спать не ближе, чем в метре от себя.

К взаимоотношениям больших и маленьких я ещё вернусь, а пока всё же расскажу о характерном поведении одного из наших приёмышей, тибетского терьера. В доме не нашлось маленького ошейника (тибулов годился бы ему разве что на ремень вместе с портупеей), и мы не знали, как вывести пёсика погулять; в конце концов пришлось согласиться с тем, что, единожды потерявшись, он не решится далеко отойти от нового хозяина, и значит, можно рискнуть вывести его без поводка;

в крайнем случае мне помог бы Тибул. К моему удивлению, никакой помощи не потребовалось: малыш, сразу поняв, чьи в лесу шишки, слушался старшего беспрекословно. Эти две собаки бегали по двору, как самолёты–истребители в паре, ведущий и ведомый: один впереди, второй — чуть сзади и сбоку, строго на одном, неведомо как выбранном расстоянии, не изменяя его даже на виражах. По пути им попалась стайка из четырёх или пяти дворняг с чужой территории; Тибул обычно, едва увидев, загонял тех за забор — погнал и сейчас, но от него не отстал и терьерчик: оставаясь в боевом строю, с лаем помчался на стаю, в которой каждая из собак была по меньшей мере вдвое крупнее него. Добежав до границы владений, мои псы мгновенно успокоились, зато чужие подняли по другую сторону ограды запоздалый многоголосый лай: если развить военно–воздушное сравнение, там устроили разбор полётов.

Последней из тех, кого мы приютили, оказалась большая чёрная собака — ни разу до того не стриженная, так что нельзя было понять, кто это — ризеншнауцер или чёрный терьер. Анна подстригла её, как привыкла — с чёлкой, с «юбкой», — и вышел ризен.

Это было почти сразу после смерти Тибула, всего через пару месяцев. В том, чтобы заводить новую собаку после утраты своей, близкой тебе, есть сильнейший привкус — нет, вкус — предательства. Обычно это слово не произносят вслух, а только придумывают против такого прибавления семейства вполне разумные доводы, начиная от опасения не полюбить новую собаку так, как прежнюю, из–за неизбежности их сравнения (понятно, в чью пользу), и кончая напоминанием о короткости собачьего века — о том, что, потеряв одного такого вечного ребёнка, через немного лет потеряешь и второго.

Только ведь и жить без собаки — нельзя.

У нас с Анной выбора не было: мы уезжали в Германию, точно зная, что какое–то время проведём там в общежитии, а то и в лагере (о котором слышали теперь много раз и беспокоились — впрочем, заранее смиряясь, — не в палатках ли?), и что с собакой туда не примут. Несмотря на это, мы собирались ехать только вчетвером, с Тибулом — он был родной, член семьи, которую нельзя разбивать, и мы надеялись, что как–нибудь да устроимся: рассудили, что безвыходных положений не бывает, а бывают только трудности, и что не отправят же нас обратно. Если бы взять Тибула с собою было решительно нельзя, мы б остались в России. Но теперь речь шла о чужой собаке, и брать её с собой казалось безумием.

И всё же дело обстояло не так просто. Было похоже, что это Бог послал мне другую собаку — чтобы я не горевал по Тибулу. Или чтобы

испытать меня. Слишком уж всё совпало, и я до сих пор не уверен, что поступил правильно.

Этого шести– или семимесячного щенка нашли поздним вечером — он был привязан на троллейбусной остановке на немноголюдном в этот час Кутузовском проспекте. Кому не нужно, тот и прошёл мимо, не обратив внимания, а одна женщина, которая уже до того подобрала и держала несколько (да что там — полтора десятка!) таких брошенных животных, разглядела этого издали, на ходу; остановила машину и, конечно, увезла его в свою псарню, в подмосковный военный городок, где служил её муж. Городскую квартиру эти люди сдавали, а на вырученные деньги кормили собак. Конечно, где едят пятнадцать, там не обидят и шестнадцатого, но как раз этот шестнадцатый мог не ужиться в чужой сложившейся компании из–за свойственного ризеншнауцерам стремления к лидерству и наведению порядка в собачьих обществах. Едва войдя в дом, эта женщина села за телефон. Скоро выйдя на нас, она сочинила неловкую сказку о неких любителях, намеренных приехать именно за этим щенком из Одессы. Что ж, время до отъезда в Германию у нас ещё оставалось, и мы взяли пса, однако никаких одесситов в природе не нашлось, и Анне пришлось пристраивать собаку самой; заняло это недели три, если не больше.

Щенок был в страшном виде: умирал то ли от голода, то ли от отчаяния и усталости. Наши с ним первые прогулки были предельно короткими, да и на те ему едва хватало сил: возвращаясь домой, он с трудом добредал до лифта и там уже не мог ни стоять, ни даже спокойно сесть, а самым настоящим образом беспорядочно рушился на пол; на лестничную площадку его потом приходилось просто вытаскивать волоком. Держаться на ногах он стал только дня через два–три, но и тогда на прогулках ни о каких поводках можно было не думать: безумно боясь потеряться, он не отходил ни на шаг. Лишь однажды, прожив у нас пару недель и уже окрепнув, он заигрался с молоденькой овчарочкой. Сломя голову он носился за ней по двору — и вдруг, спохватившись, что потерял меня из виду, застыл как вкопанный (я чуть ли не готов был поручиться, что слышал визг тормозов). Такого, как у него, выражения панического страха я у собак ещё не видел. Я окликнул его — очень тихо, вполголоса, — и пёс кубарем полетел ко мне через кусты и клумбы, позабыв обо всех овчарках на свете.

Новых хозяев ему подыскивали по телефону, и звонков было довольно много. Угадав, что речь идёт о нём, щенок подходил поближе, вслушивался, в нужных местах словно просил: «Не отдавай меня», — и успокаивался только убедившись, что мы не строим в отношении

него каверзных планов. Правда, повесив трубку, Анна снова пересказывала ему содержание разговора, а я объяснял, что он больше никогда не останется один, что у него будут и дом, и хозяин, — и он внимал. Можно подумать, что я фантазирую, сумасшедший собачей, но ведь и в каких–то специальных текстах я нашёл, что ризены усваивают до двухсот отдельных слов (не команд!); в контексте они, видимо, понимают гораздо больше.

В конце концов нашему приёмышу досталась отличная семья: довольно молодая пара с двумя мальчиками — десяти и двенадцати лет. У них не так давно потерялся трёхгодовалый чёрный терьер, и они снова хотели такого же. Люди они были небогатые, но такие если и заводят собак, то не по минутной прихоти, а из любви к ним, и мы были уверены, что нашему псу у них будет весело и сытно. Он в свою очередь нисколько не обиделся на нас за то, что мы не оставили его у себя — подействовала психологическая обработка, — и, когда мы через несколько месяцев приехали, уже из Германии, его проведать, собрал целую толпу зрителей, обнимаясь и целуясь со мной в вестибюле метро («Он, его, ему…» — я здесь до сих пор никак не называл эту собаку, с трудом обходясь местоимениями, оттого что мы и в самом деле нарочно не дали ей имени, оставив это удовольствие будущему владельцу. Тот назвал: Рэм, как и своего пропавшего «черныша»).

Потом, приезжая в Москву, Анна несколько лет подряд навещала Рэма — и, заодно, стригла. Под ризеншнауцера.

Воспитание

Считалось, что мы завели собаку — для сына. Во всяком случае, я воспользовался этой удобной версией.

В последние перед женитьбой годы я из–за своих долгих командировок не мог держать собак да и потом, с маленьким ребёнком, тоже было не до животных. Я, правда, не раз осторожно заводил будто бы отвлечённые разговоры о том, что дети должны расти в компании со зверьми — с собаками, предпочтительно; они хотя и не встречали возражений, но успеха не имели. Нашему сыну, тем не менее, было одиноко. У него не завелось приятелей ни в подъезде, ни во всём дворе: два–три парнишки, моментально почуяв, что он не их поля ягода, задирались и обижали, а ровесников иного пошиба что–то не нашлось под рукою. Ему подошли бы ребята и немного помладше, он даже, наверно, таких предпочёл бы — но не было и этих. Гулять в одиночку Митя поэтому не выходил, наша небольшая семья была перегружена взрослыми заботами, и он,

скучая, всё просил у матери братика, потом, сбавляя цену — сестрёнку, а когда понял, что ему отказывают и в этом, вскричал: «Ну хотя бы собаку–то можно завести?» Быстрого отказа от Анны не последовало, и тогда, используя момент, я и сам начал осторожно развивать эту тему: то как бы случайно обращал на улице её внимание на особенно симпатичного пёсика, то, подведя речь, начинал рассуждать о породах — о породах крупных собак, с какими, считал, только и можно водить настоящую дружбу. Сам я мечтал о ризеншнауцере, но Анна, даже и в будто бы отвлечённых разговорах, приводила естественный довод: ну где в квартире держать большого зверя? Мы тогда ещё не понимали, что как раз для маленьких и, значит, очень подвижных собачек места в доме требуется значительно больше, нежели для спокойных гигантов, и я отвечал только предложением компромисса: мол, известны шнауцеры и, так сказать, малогабаритные — миттели (миттельшнауцеры, конечно, да ведь в России очень принято сокращать неудобные в речи слова: позже, в Германии, мне пришлось столкнуться с обратным — продираться через громоздкие словообразования, не смея сократить их хотя бы наполовину; когда я говорил «ризен», то немцы, в том числе и хозяева этих самых ризенов, меня не понимали — да что там, в этой стране если и человеческое дитя называли долгим именем — допустим, Мария–Элизабет, — оно от младенчества, даже в устах матери, и до конца своих дней, во все жизненные моменты так и пребывало Марией–Элизабет, безо всяких сокращений, без каких–нибудь там Лиз, Маш и просто Марий). Итак, я время от времени произносил что–нибудь о миттелях — о которых, честно говоря, толком почти ничего не знал и которых пока и не встречал в городе, — считая их удобным компромиссом: это была, с одной стороны, компактная, с другой — всё–таки служебная, собака. Постепенно тема шнауцеров стала привычной — вот и в речи жены начали попадаться те же слова…

Я не торопил события, но однажды мы с Анной, подходя к дому, увидели на поляне перед церковью нечто интересное.

Здесь необходимо отвлечься на описание места действия.

Наш дом стоял на проспекте Мира напротив обелиска в честь покорителей космоса и станции метро ВДНХ. Построенный покоем, он не имел близких соседей: с одного его бока лежала не обременённая застройкой площадь, по другого — Церковная горка, представляющая собою рощу на просторном склоне, спускающемся от церкви Тихвинской Богоматери к проспекту, и только с третьей, открытой стороны, вольно и щедро разбросанные, разместились три или четыре жилые девятиэтажные башни. Примерно на середине горки, на месте снесён-

ных лет тридцать лет назад убогих бараков, лежала свободная от кустов и деревьев поляна — вот здесь и выгуливали собак жители ближайших кварталов, вот здесь я и увидел издали, со своего двора, нечто интересное и спросил жену:

— Посмотри, не миттель ли?

Мы пошли посмотреть, и оказалось, что я из–за расстояния неверно оценил размеры: по мере приближения собака стала увеличиваться, пока не оказалась аккуратненькой самкой ризеншнауцера. Мы разговорились с хозяйкой, наслушались её восторженных рассказов о породе, и хотя я не думал заходить дальше самых общих вопросов, Анна всё же поведала о наших неопределённых планах, неожиданно услышав в ответ :

— Терри как раз недавно ощенилась. Заходите, полюбуйтесь.

Мы воспользовались приглашением в тот же вечер, но если я собирался для начала только посмотреть щенков, то жена, коли уж пошла, то — приобретать. Там, на месте, хотя мы и поменялись ролями и это не Анна, а я говорил, что надо бы спокойно обсудить столь важное дело дома, к ночи мы уже стали владельцами крепенького кобелька.

На первый взгляд все щенки помёта были одинаковы, все — приветливы, лизались, и только один даже не порывался лизнуть; эта серьёзность мне и понравилась.

Назвать его оказалось непросто. Клички этих щенков должны были начинаться на «т», как у матери, и как раз на эту букву нашлось удивительно мало имён, да и те уже разобрали братья и сёстры: тут были и Тибальд, и Тойфель, и… Мы же придумали — Тибул (причём имели в виду не Тибула–канатоходца, а римлянина Тибулла из сословия «всадников», но я остерёгся непременной путаницы со вторым «л» в протоколах, паспортах, грамотах… Между тем ему подошло бы именно римское написание: его отца звали Цезарь).

Мы и прилюдно разделяли наших детей так: «старшенький» (Митя) и «младшенький» (Тибул); разница в возрасте у них была — тринадцать лет. Никто из них не возражал, и всё же меньший не считал Митю взрослым, а скорее всего — таким же, как он сам, щенком, товарищем для игр. Всякая собака сама выбирает себе хозяина в семье. Наш Тибул определялся с этим непомерно долго, года полтора, а выбрал в конце концов — меня. Узнали мы об этом, когда Мите пришлось уехать из дома почти на два месяца — собирать, кажется, черешню где–то под Днепропетровском. Тиба явно скучал по «старшенькому», но когда мы втроём — Аня, Митя и я — приехали с вокзала, он, едва открылась дверь, будто бы и не заметив Митю, бросился ласкаться — ко мне.

Но это было — в своей семье, в других же случаях, с посторонними, он отдавал предпочтение младшим, а к маленьким детям не просто тянулся, чтобы поиграть с ними, но и, бывало, заступался за них перед взрослыми: ругать их при нём было нельзя. Впрочем, как раз с играми у него поначалу выходило не всё и не так. Малыши из нашего двора, завидев большую собаку (а ведь большая игрушка всегда интереснее маленькой), с криками бежали навстречу — потрогать, потормошить — и Тибул, тоже радуясь встрече, выражал это по–своему: лез обниматься, кладя лапы на плечи — и повергал своих дружков наземь; тут начинались крики уже другого сорта. Такие эпизоды, однако, не успели рассорить их: пёс скоро сообразил, в чём дело, и стал осторожен; дети же в свою очередь сообразили, что с ним можно делать что угодно — и трепать, и заставлять катать на санках…

С чужими же детьми, на чужих улицах, случались неожиданные сценки. Однажды, когда Тиб сидел, ожидая Митю, у магазина, незнакомый ребёночек бесстрашно завладел его мордой, то ли пытаясь открутить ухо, то ли совершая ещё какой–то акт вандализма. Молодая мама, спохватившись, бросилась к месту происшествия с ахами, командами и бранью — и Тибул не подпустил её к ребёнку, защитил того от агрессии. В другом случае ребёнок издали заковылял к Тибулу с протянутыми ручонками — пообщаться — и пёс, чтобы тому, крохотному, было удобнее, лёг перед ним.

Это так и осталось у него на всю жизнь — со слабыми (никто ведь не умеет утешить расстроенного или больного лучше, чем это делают собаки), с меньшими, младшими. Теперь уже не вспомнить, как рано это проявилось — только у матёрого пса или уже у щенка; границу тут провести трудно, а детство своих детей, как известно, пролетает незаметно.

Закрывая тему, расскажу один забавный случай. Как–то у нас гостили пару суток незнакомые люди: родители с грудным младенцем. В первый день глава семьи ушёл по делам, а молодая мама, оставив дитё лежащим в комнате поперёк дивана, хлопотала на кухне. Малыш вдруг расплакался, а она то ли не услышала, то ли не могла сразу подойти, только Тибул поспешил навести порядок: захватил зубами то, во что был завёрнут грудничок — простынку или одеяло? — и собрался нести на кухню (прямо–таки разыграв сценку из известного мультика); мать перехватила свой свёрток, когда пёс уже поднял его с дивана.

Сам Тиба оказался лёгким ребёнком: не проказничал, не ел хозяйскую обувь, не портил мебель (но любил рвать в клочья пустые полиэтиленовые пакеты, против чего мы особенно не возражали), вовремя усвоил правила гигиены, и я помню только один его проступок — «про-

чтение» очень нужной мне книги — Бахтина. Томик этот был сработан ещё по всем старым правилам: в твёрдом ледериновом переплёте и, наверно, на настоящем столярном клее — который и привлёк…

Просвещением (нет, не дрессировкой) щенка я занялся с первого же дня — сам того не сознавая: мне просто нравилось много разговаривать с ним (а ему — слушать); на прогулках я вообще не умолкал, рассказывая, куда и зачем мы идём, объясняя, почему обходим стоящую машину с той, а не с этой стороны, почему не шлёпаем по лужам и так далее, и так далее. Но мне и в голову не приходило, что попутно можно было бы и поучить его некоторым обязательным вещам — не приходило, потому что существовали какие–то будто бы научно обоснованные сроки начала дрессировки: в учебные группы записывали лишь подросших, годовалых собак, а моего добермана, например, в своё время и подавно допустили лишь в четырнадцать месяцев: доберман–пинчеры считались слишком нервной породой. Боюсь, что это была порочная установка, справедливая разве что для прохождения школы защитно–караульной службы, — ведь на дрессировочные площадки у нас приводили собак с уже сложившимися взглядами и характером.

Позже, в 90–х годах, меня поразили собаки в Германии, дисциплинированные едва ли не более, нежели сами немцы. Они без поводка ходили рядом с хозяином как приклеенные (что у нас в России давалось только с большим трудом) и ни одна на моих глазах не посмела перейти улицу, не услышав на то команды, а садилась у кромки тротуара и ждала. Видеть это было интересно и странно, и прошло несколько лет, прежде чем я узнал нехитрый секрет послушания: щенков начинали обучать основным премудростям, в том числе и правилам уличного движения, едва ли не с первых дней жизни. Тогда и я вспомнил один нечаянный урок, преподанный Тибулу и усвоенный моментально, крепко и на всю жизнь.

Пожалуй, первое, к чему начинают приучать собак у нас, — это к чистоплотности. Методы — и результаты — здесь известны самые разные, но есть и общие моменты — например, собака не станет пачкать там, где спит. Так вот, я всегда удивлялся аккуратности Тибула — врождённой, как я думал: никогда на прогулке он не пытался (больше того — его невозможно было бы принудить) справить большую нужду на асфальте: ему непременно бывал нужен хотя бы клочок живой земли, травы, хотя бы засохший куст. Помню, я намучился, когда в нашей квартире покрывали лаком полы и нам пришлось трое суток ночевать в центре Москвы, в каменном мешке Нового Арбата: на первой прогулке Тибул никак не мог найти себе местечка, пока мы, уйдя за километр,

не нашли какой–то кустик. Потом уже я придумал водить его чуть поближе, всего лишь за два квартала, на плохо огороженную стройку.

Нужно было прожить двенадцать лет в Германии, без собаки, чтобы вспомнить всё объяснивший эпизод.

Тибулу было месяца три, и он только ещё начинал проситься на двор. Мы шли с ним в глубине квартала, где пространство между редко стоящими девятиэтажными башнями было расчерчено по газону узкими асфальтовыми дорожками. И вот прямо на одной из этих дорожек срочно понадобилось усесться моему щенку. Запретить ему словами уже не получалось, и я просто оттащил его за ошейник на травку: пёсик так и отъехал в сидячей позе. Я не поругал его, а только разъяснил ему свои действия (что тут вот нельзя, а там — пожалуйста) и, забыв об этом на два десятка лет, всё изумлялся тому, как разумно Тиба выбирает места для своих дел. И только глядя на германских собак — и то совсем не сразу, — я понял, что он просто отлично выучил единственный урок.

Только ученье ученьем, а Тиба и сам понимал что к чему, иногда, на человеческий взгляд, и выходя за рамки. Когда мы впервые приехали с ним на дачу, он с любопытством и с видимым удовольствием обнюхал весь дом (и поднял тревогу, зайдя в отдельно, на углу участка, стоящую кухню и обнаружив, что там, искря, вот–вот загорится трансформатор, через который только что включили холодильник). Чуть позже, когда он в какой–то момент попросился на двор, я просто отворил дверь дома: иди, гуляй. Не тут–то было: он ни за что не захотел осквернить садовый участок, ведь всё, обнесённое забором, было нашей территорией, для прогулок же следовало выйти на — ничью. Как мы ни уговаривали пса, он твёрдо стоял на своём, и мне пришлось взять его на поводок и повести за ворота.

Собаку мы завели всё–таки для сына, причём заранее было оговорено, что заниматься с нею — выгуливать, кормить и водить в школу будет он. Как и следовало ожидать, первый пункт соглашения выполнялся нерегулярно, второй был отменён, а третий, деться некуда, пришлось выполнять, но из этого ничего не вышло, оттого что пёс не понимал, почему надо слушаться того, кто в семье явно не командовал. В итоге экзамены за первый курс («Общая подготовка») он не сдал, и потом проходил эту науку повторно — уже со мной. Справедливости ради надо сказать, что наша юная парочка кое в чём всё–таки преуспела — например, замечательно освоила работу на спортивных снарядах: хождение по бревну, прыжки через барьер. Не знаю, как собаке, но «старшенькому» это далось трудно: бывший до того довольно пухлым мальчиком, Митя за первый Тибулов курс потерял в весе семь кило-

граммов: как только пёс не удерживался на бревне, инструктор командовал: «Поставьте собаку на снаряд!» — и Митя поднимал на руках и ставил на бревно Тибула, весившего не меньше, чем он сам. Потом на этом пострадал и я. Мой второгодник уже не мог спокойно пройти мимо бревна — непременно должен был вскочить на него и пробежаться, — и я всегда давал ему порезвиться после занятий: по дороге домой мы проходили как раз мимо снарядов. Однажды перед первым свободным бревном я только ещё повёл рукою, чтобы послать Тибула, как тот уже помчался. Я не успел размотать или хотя бы сбросить поводок, висевший на другой, правой руке, и Тибул, дёрнув, сломал мне четвёртый палец (он так и не узнал об этом, иначе переживаниям не было бы конца).

У меня уже имелся опыт обращения к врачам по таким поводам: однажды мне при сильном вывихе ноги диагностировали перелом и так поставили гипс, что начала слезать кожа, а в другой раз, когда я сломал плюсневую кость, определили сначала рожистое воспаление, потом — артрит и пока их лечили, кость срослась не лучшим образом… Так что на третий раз я не стал рисковать, а предоставил организму выпутываться как знает. Он — знал, и палец быстро сросся: сначала — чуть кривовато, став как бы на четверть согнутым, а потом и вовсе выпрямившись настолько, что я стал нажимать им на клавиши рояля или пишущей машинки не хуже, чем остальными.

Так вот, на экзаменах трудностей со снарядами не возникло. Тибул сдал и всё остальное, и только в один момент заставил меня поволноваться.

Нужно было выполнить упражнение на выборку предмета: из четырёх одинаковых деревянных цилиндриков взять тот, до которого минутой раньше дотронулся инструктор. Я, разбросав эти деревяшки по площадке, послал Тибула на поиск — и тот вдруг сорвался: в нескольких шагах от нас торчал какой–то столбик, и на нём только что, на наших глазах, «отметился» неизвестно откуда взявшийся совсем молодой кобелёк; Тибул, поведя носом, опрометью, не слушая моих окриков, бросился ставить свою метку поверх. Я решил, что упражнение провалено, однако мой пёс, сделав своё дело, спокойно вернулся от столбика на место и уверенно схватил нужный предмет. Я посмотрел на судей — они улыбались, а один из них, махнув рукой, проворчал что–то о том кобельке: мол, что с щенка взять, простим его. Тибул заслужил высшей отметки.

Потом я не раз замечал, что Тибул, прекрасно зная, что и где от него требуется, чётно различает урок и игру. С остервенением изорвав на предполагаемом бандите ватный халат, он вполне мог после занятий подойти к тому ласкаться. Думаю, что на первых порах выполнение

упражнений на задержание требовало от него немалых душевных усилий: мне всегда казалось, что основной его заботою, чем бы не довелось заняться, было не причинить человеку вреда. Во всяком случае, пёс всегда был предельно тактичен. Уступить место, дорогу — это он проделывал автоматически, не задумываясь, потому что уступал — не из робости, а напротив — оттого что был сильнее других, мог себе позволить уступать не только нам, старшим, но и среди собак — самкам, слабым и малышам. Очевидно, этою его чертою объясняется и то, что он почти не просился на улицу, напрасно, по его мнению, не беспокоя хозяев, а обычно ждал, пока они сами не вспомнят о прогулке (кроме, конечно, неотложных случаев). Если ж ему нужно было дать знать о своей нужде, Тибул просто молча садился у входной двери и ждал, когда на него обратят внимание, а со временем, когда я стал понимать кое–какие собачьи слова, он один раз тявкал — и тут надо было ему ответить: сказать, что, мол, сейчас пойдём или, напротив, велев погодить. И только по утрам всё это выглядело немного по–другому. Я вставал на службу очень рано, в шесть, и сдвинуть это время ещё на полчаса назад ради прогулки с собакой мне было бы трудновато; поэтому Тиба выводила Анна, но — после моего ухода. Пёс, усвоив этот режим, вёл себя так. Будто бы не слышав будильника, он, пока я умывался, продолжал лежать на своём месте, а с началом моего завтрака приходил ко мне на кухню и ложился под стол — досыпать; разумеется, потом с этого стола ему перепадало что–нибудь вкусненькое. У двери Тибул меня не провожал, а уходил в нашу комнату и там уже не укладывался, а садился возле нашей постели и принимался смотреть на Анну, молча и сколько угодно долго — пока та не открывала глаза. И лишь тогда начинал беспокоиться.

Будучи, повторяю, неизменно тактичен и предупредителен, Тибул никогда не заискивал перед нами. Собственно, тактичность и есть проявление чувства собственного достоинства. Теперь это ясно уже далеко не всем, и понятию такта грозит участь понятия чести, изведённого на Руси; причиною этой потери — росшее, начиная с 1917–го, одичание: обратив на него внимание, наверно, в 70–х годах, я с тревогою следил за процессом вплоть до первых 90–х. Потом о постепенных изменениях стало даже как–то неловко говорить, оттого что вдруг стали отвергнуты все прежние устои: в нашем обществе по известному принципу «из грязи — в князи» быстро перемешались самые разные слои, и мы вымарались и в том, что было на самом дне, и в том, чем до сих пор жила тёмная верхушка.

Ничего подобного у собак, к счастью, не бывает. Но потрясения в человеческом обществе неизбежно отражаются и на них — иначе откуда вдруг у нас в конце века появилось множество бездомных животных?

Мы, люди, нынче всё больше забываем свои десять заповедей, на которых испокон веку зиждилась наша мораль. Зато собаки свои, неписаные, — соблюдают. Не стоит это понимать буквально, механизм тут иной, нежели у людей, и во избежание придирок лучше о том же сказать иными словами: собаки от природы честны и благородны. О том, что они всегда придут на выручку человеку — быть может, даже вопреки инстинкту самосохранения, — нечего и говорить. Но и в обращении между собою они руководствуются самыми строгими правилами и не знают произвола. И пусть многие их конфликты — ведь приходится бороться и за власть, и за еду, и за самку — разрешаются силой, но и для того есть свои законы, и первый из них — не бей лежачего.

Когда–то его придерживались и люди. В детстве я видел драки подростков в нашем дворе, причём — с участием блатных, а значит, нешуточные; но и в них никто не трогал упавшего, больше того — дрались только до первой крови: разбил нос — сеанс окончен. Увы, это всё отошло в прошлое, и теперь, свалив противника наземь, его не только не оставляют в покое, но и добивают ногами.

Собачьи потасовки кончаются иначе: стоит одному из драчунов лечь на спину, как бой прекращается: лежачего не бьют.

Лидер

Всякое множество случайных, но постоянно сходящихся вместе людей со временем либо распадается на группки — по интересам, симпатиям, родству, возрасту, — либо оказывается в руках кого–то ловкого, из своей же среды. Впрочем, одно другому не помеха, и в каждой из новых группок происходит то же. Таких опытов — и нечаянных, и намеренных — известно немало, и только в прошлой нашей жизни, в Советском Союзе до этого доходило не всегда, оттого что какое бы сообщество там ни возникало, ему тотчас назначался казённый предводитель — и поди проверь, как это соотносилось с законами естества.

Но и каждая стая терпит своего вожака.

К слову, собаки и человечью семью, в которой живут, не представляют без вожака — иной раз только его одного и слушаются. Я уже писал чуть выше, что так у меня было с Тагиром: моя мама кормила его, и он это ценил, однако если ему случалось как–то набедокурить, то разбираться с этим мог только я, сама она — не смела; так было и с Чабби, и только с Тибулом всё вышло иначе: сознавая, что он в семье — младший, пёс и вёл себя соответственно.

Наблюдать жизнь стаи одичавших собак мне не приходилось, но законы звериных обществ писаны для всех и соблюдают их, по возможности, также и домашние, находящиеся при близких людях, собаки. В каменных городских мешках, в тесных дворах, в переулках, где немыслимо отстегнуть поводок, их компании если и образуются, то — по вкусу хозяев: собачья воля значит тут мало. Зато сотня четвероногих на нашей Церковной горке чувствовала себя свободно: каждый дружил с кем хотел и резвился без привязи, и только внимательно присмотревшись, можно было понять, что тут есть кому следить за порядком. Я то ли тогда не обращал внимания, то ли сейчас позабыл, кто верховодил в стае, огромной для города: я однажды не поленился подсчитать и получил в итоге пятьдесят пять служебных и около семидесяти охотничьих и декоративных собак. Вожаком мог быть, например, Дон — мощная агрессивная овчарка (здесь мне придётся попросить прощенья за небрежность языка: я не стану делать различия между овчарками немецкими и восточноевропейскими — мало кто знает эту разницу); мог быть, но не стал — из–за чрезмерной своей злобности. Хозяйка Дона, старая женщина, управляясь с ним с трудом, старалась избежать контактов и с людьми, и с собаками. Многие видели его только как бы на горизонте, но помнили о нём все — видимо, и собаки тоже, — и стать вожаком можно было только победив Дона. Вожаком мог бы стать и Ронни — тоже овчарка, крупная и послушная — и тоже, кажется, не был: я не помню выяснения отношений между ним и Тибулом, но боялся он Тиба безумно; пару раз случалось так, что, выходя на поляну и завидев вдали моего ризена, он просто падал на дорожку и так лежал, положив голову на лапы, — уговаривать его подняться приходилось не хозяину, а мне.

Тибул и Дон стали врагами с первого взгляда. И мы с Аней, и Донова хозяйка старались, чтобы наши питомцы не встречались, а лучше — и вовсе не видели друг друга, и всё–таки нельзя было уберечься от того, чтобы, выйдя из–за какого–нибудь угла, не столкнуться нос к носу с противником. Всё, быть может, ещё обходилось бы, когда б старушке хватало сил удержать завидевшего добычу своего пса, — нет же, он таскал её волоком, пока ей не удавалось за что–нибудь ухватиться. Теперь я уже не представляю, как всё–таки удавалось разнимать наших драчунов — во всяком случае, добром их встречи не кончались. Однажды Тибе даже пришлось идти на выставку постриженным, вымытым, причёсанным — и со свежеразорванным ухом. Жюри, правда, отнеслось к этому с пониманием.

Неизвестно, к чему привела бы наша вражда, но Дон — молодой, здоровый кобель — неожиданно умер.

Нет, он не был вожаком в стае — потому, что всегда оставался чужим, а вот Тибул сразу после его ухода — стал. Связи между этими событиями я не искал. Если она сегодня кажется очевидной, то причину можно найти и в моей тогдашней невнимательности, и в дефекте нынешней памяти. В те же дни я просто не уловил момента, когда Тибул начал верховодить на нашей поляне. Собачье общество на ней жило своей жизнью: сверстники играли друг с дружкой, младшие слушались старших, а маленькие — больших, и я едва не пропустил момент, когда Тибул вмешался в перебранку двух небольших собачек — кажется, спаниеля и тибетского терьера. Начавшаяся с препираний, ссора явно разгоралась, но Тибул подбежал вовремя: он только проворчал что–то большему из них — и тот мгновенно ретировался. Может быть, с этой сценки и началось его лидерство.

Не знаю, какие по содержанию сообщения могут передавать друг другу собаки, но я видел, что они запрещают что–то друг другу, воспитывают — словами. Когда мы впервые вывели совсем ещё маленького Тибу на горку и встретились там с Терри, Марина, её хозяйка, сказала: «Отпустите щеночка с поводка, пусть побегает», — но я не мог сделать этого, потому что знал: удерёт. Марина, однако, настояла, и я попробовал. Тиба тотчас рванул прочь, под горку, к проспекту, но Терри, в два прыжка догнав его, что–то тихо сказала ему на ушко — и пёсик, пристыженный, вернулся к нам.

Потом точно так же на поляне слушались и его. Он вмешивался во все без исключения конфликты, причём если не успевал к началу и дело заходило так далеко, что его внушения уже не действовали, то не задумываясь применял силу: разбегался и чугунной болванкой врезался в забияк, разбрасывая их в стороны; у тех потом не возникало охоты спрашивать, за что. Это был его неизменный стиль нападения: использовать не зубы, а только свою мощную грудь.

Как–то на поляне одновременно появились три новичка — немецкие овчарки, примерно годовалые, то есть уже крепкие, здоровые кобели. Двое, помнится, прижились у нас сразу, но третьего стал обижать кто–то из старших псов — и дошло до того, что его хозяева перед прогулкой сговаривались с нами по телефону, чтобы выйти вместе: при Тибуле его никто не смел тронуть и пальцем. Вообще, при Тибе собаки не дрались — словно при директоре школы, на перемене вышедшем в школьный двор. Его называли нашим шерифом (он чувствовал себя хозяином не только на поляне, но и во всём обширном квартале — причём чётко знал границы своих владений, земля по ту сторону которых или даже за кромкой тротуара была или ничья, или чужая). Такое поведение можно счесть случайным, но однажды я услышал о другой собачьей площадке, где–то на противоположном конце города, за порядком на которой так строго следил опять–таки ризеншнауцер, что местные собачеи прозвали того: «Шериф»…

Интересно, что один из этих трёх новеньких панически боялся Тибула — и в этом–то не было странного, хотя тот никогда его не трогал, — но заодно боялся и меня. Проходя однажды днём без собаки через нашу поляну, где гулял только один этот пёс, я остановился поболтать с его хозяйкой, он же — бродил в полусотне шагов от нас. Когда же она подозвала пса, тот сделал несколько шагов — и встал как вкопанный. Женщина звала и так, и этак — тщетно: он внимательно смотрел, слушал, но не делал ни шагу. Заподозрив, что тот попросту боится, я отошёл далеко в сторону — и овчарка сразу же подбежала на зов.

А через пару дней, уже вечером и при скоплении и людей, и зверей (но Тибула опять не было), тот же пёс неожиданно гавкнул на меня, и оттого, что я в ответ небрежно махнул рукой, сказав что–то вроде: «Да ладно, мне ль тебя бояться», — испугавшись жеста, забился под невесть откуда взявшийся на поляне стол — и сидел там, пока я не ушёл.

После этого случая мне пришлось задуматься, не отождествляют ли собаки хозяев и их питомцев, присмотреться повнимательнее к собачьим нравам — и ответить утвердительно, сославшись хотя бы на пример бультерьера Моны. Но об этом чуть позже, а пока вернёмся к работе шерифа.

В соседнем с нашим подъезде жил молодой некрупный колли (скорее, помесь) Дик. Тибул, единожды выручив в какой–то мелкой потасовке, потом особенно опекал того: всё–таки, сосед. И с этим Диком случилась непонятная на первый взгляд история: знавший своё место молодой и несильной собаки, он вдруг затеял драку с двумя борзыми, именно — с двумя сразу, оттого что осторожная хозяйка всегда водила их на сворке, не спуская: борзые — собаки серьёзные и могут разорвать кого угодно. Не знаю, на что рассчитывал Дик: каждая их них была вдвое крупнее него. Как бы там ни было, свалка началась страшная. К счастью, на поляне был Тибул. С разбега он врезался в Дика, зажатого между борзыми, выбросил этим ударом далеко в канаву, а там уж, наступив на того, опрокинутого, лапой, пространно высказал всё, что о нём думал; борзые и не подумали вмешаться в этот урок. Хозяйка же Дика опешила: мол, как это Тиба вдруг напал на своего приятеля? Пришлось объяснить ей, кто тут был зачинщиком и за что наказан, то есть — перевести на русский язык нотацию Тибула. К чести Дика надо сказать, что он всё понял и не обиделся.

Нечего и говорить, что посторонним собакам вход не только на поляну, но и вообще в наш квартал был заказан. Больше того, в пределах этого большого четырёхугольника находились две, как бы независимые, территории — церковь Тихвинской богоматери с хозяйственным двором и то ли склад, то ли некая строительная артель. Церковные собаки за свой забор не выходили, а вот стайка артельских — частенько, и этого непорядка мой пёс не терпел. Было их штук пять или шесть, но Тибул бросался на них, не считая (ризены атакуют, не разбирая дороги, напролом, вот и тут только трещали кусты). Чужаки молча спасались бегством за забор, и лишь оказавшись в безопасности, уже невидимые, они надолго устраивали запоздалую перебранку; Тиба же тотчас успокаивался и, не слушая их, возвращался к прерванным делам.

По его мнению, чужие собаки имели право появиться на нашей территории только в сопровождении человека да и то при двух условиях: они должны были понимать, что находятся в чужих владениях (а они — понимали), и быть одетыми: собака без ошейника, видимо, считалась Тибулом бесхозной. Однажды один из наших собачеев, хозяин миттельшнауцера и хороший друг моего ризена, где–то подобрал маленькую дворняжку; найти лишний ошейник и поводок ему сразу, к первой прогулке, не удалось, но эта малышка притрусила на нашу поляну вслед за миттелем и так, без сбруи. Тибул, однако, заступил дорогу, и всей компании пришлось ретироваться. Зато в следующий раз, чуть ли не в тот же день, когда новенькую одели уже, что называется, по форме, он пропустил её без разговоров. Подобные случаи потом повторялись не раз, с участием разных собак.

Миролюбие

Этот внушительный пёс был неправдоподобно миролюбив — будто кто–то при рождении вложил в его мозг строгую установку — запрет трогать человека.

Впервые это проявилось на дрессировочной площадке, когда мы проходили самые азы. Инструктору понадобилось позлить собак и, прохаживаясь перед их длинной шеренгой, он принялся небольно хлестать каждую тонким прутиком; все, понятно, огрызались, и тут Тибул неожиданно начал урезонивать своих соседей: негоже, мол, бросаться на людей.

Понятия о добре и зле у собак, видимо, похожи на те наши идеальные, каких нам бы хотелось достичь. А они — достигли, и в одинаково трудных ситуациях неизменно оказываются благороднее человека. Во

всяком случае, свято блюдут заповедь: без причины не причинить зла (вина же за все её нарушения всякий раз лежит на хозяине собаки).

Нам Тибул боялся причинить хотя бы малейшую боль. Корм с руки он брал одними губами — так, что совсем не чувствовалось касания. Однажды в игре — я будто бы отбирал у него мячик — он слегка прижал зубами мой большой палец. Ойкнув, я отдёрнул руку и, не попрекнув собаку, продолжал возню. Тем не менее он почувствовал себя виноватым и после этого дня, стоило лишь легонько коснуться его зуба, мгновенно распахивал рот настежь.

Вид у него, однако, был устрашающий — и он это понимал, замечательно охраняя меня на улице: чуть что, сразу предъявлял себя воочию. Если на поляне, где он гулял, показывались чужие (хотя бы и школьники, идущие после уроков в наши дворы), он непременно прибегал незнамо откуда и начинал прохаживаться между нами. Такие эпизоды я сначала считал случайными, но однажды Тибул выдал себя. Мы подходили к забору стройки станции метро, и довольно шумная группа — семья из четырёх человек, с детьми — вдруг буквально вывалилась навстречу из–за угла. Застигнутому врасплох Тибулу, который брёл шагах в двадцати, пришлось сделать несколько прыжков, чтобы занять своё место между. Успев вовремя, он хотя и попытался принять непринуждённый вид, но, видимо ещё не опомнившись, попросил у меня награду — чего обычно в подобных случаях не делал. Что ж, он её заслужил.

Примечательно, что при таких демонстрациях он не проявлял ни малейшей неприязни к чужим: просто знал, что если он на месте, то всё будет спокойно.

Как–то, выйдя на прогулку довольно поздно вечером, часов в одиннадцать, мы оказались одни на горке — на поляне, которая представляла собою заснеженный квадрат размером этак метров сто на сто, прозрачно обрамлённый деревьями. Одну его сторону занимал наш дом, подъезды которого выходили не сюда, а во двор, вторую, если смотреть от него — левую — церковь с погостом и хозяйственной территорией, третью, после ведущей к частным гаражам прорехи в углу, — детский сад, прикрывающий собою школу, а справа, под горкой, проходил проспект, ближе к дому отделённый упомянутой уже стройкою метро. Пешеходов там, на улице, по вечерам почти не бывало — некому и некуда там было ходить, — а школа, церковь и детский сад и подавно стояли без огней: всё спало. Тибул, едва мы вышли, отправился, по своему обыкновению, обходить весь этот квадрат по периметру: отошёл в сторону — и сразу пропал из виду, слился, чёрный, с чёрными заборами (другие собачеи, далеко не отпу-

скавшие своих питомцев, бывало, интересовались на общих наших прогулках, тревожась: «Где ваш Тибул?» — на что я только пожимал плечами: знал, что тот следит за мной и мне незачем беспокоиться). Я остался стоять в центре поляны. Когда вскоре со стороны гаражей послышались мужские голоса, я не обратил на них внимания: если кто–то и выходил оттуда, то сразу спускался вдоль забора детского сада к улице, к троллейбусной остановке. Но сегодня дело обстояло иначе: ко мне, прямо по снегу, пересекая квадрат по диагонали, направлялся одинокий мужичок. Собаки я не видел и почувствовал себя неуютно. И лишь когда прохожий приблизился шагов на двадцать, между нами бесшумно протрусил мой пёс, принявшись что–то вынюхивать на снегу с таким видом, словно только этим и занимался последние четверть часа. Незнакомец тотчас изменил направление, повернув вниз и сочтя нужным оправдаться: мол, пошёл сюда нарочно, чтобы — добрая примета — собака перебежала дорогу. Это было бы верно, да только до последнего момента этот мужичок не видел никакой собаки. Тут я вспомнил, что он только что с кем–то разговаривал.

— Пойдём, поищем, — сказал я, и Тибул был не прочь.

Второго мы нашли спрятавшимся за большим деревом.

— Ну вот и собрали всех, — продолжил я. — Можешь погулять.

Пёс, однако, предпочёл остаться рядом.

Как и все собаки, Тибул легко распознавал недобрых людей. Однажды вечером (но народу — я шёл по асфальтовой дорожке от проспекта к церкви — было достаточно) ко мне привязался какой–то молодой человек: что–то спрашивал (дорогу к храму, который уже был перед нами в ста шагах) и, не понимая ответов, шёл рядом со мною. Мы беседовали будто бы мирно, я не повышал голоса, но отвечал ему сухо, только и думая, как бы мне пристойно он него отвязаться. Тибул же, обычно не мешавший мне разговаривать с людьми, тут вдруг втёрся между нами, оттолкнув этого юношу боком. Я, конечно, похвалил:

— Молодец.

— Это ваша собака? — смешавшись, спросил мой нежеланный попутчик, и, едва я ответил утвердительно, как его и след простыл, я даже не понял, куда он делся.

Собственник

При всём своём миролюбии свою и нашу собственность Тибул готов был защищать — и защищал — с остервенением. И ухитрился никого при этом не обидеть.

Проявлялось это даже в мелочах. У нас на даче под домом жил ёжик — зверь для городской собаки совершенно диковинный, да к тому ж и вредный, колючий (помню, когда в другом месте другой мой пёс, Тагир, нашёл на дне оврага ежа, он своим лаем поднял на ноги, наверно, всю округу, пытаясь лапой закатить свернувшуюся в шар зверушку на верх крутого склона — и так ловко, что почти и закатил: я выбежал из дому, когда оба они были уже почти на ровном месте). Для этого нашего ёжика на террасе обычно стояло блюдечко, вернее — пластмассовая коробочка с молоком. И вот Тибул, впервые попав на дачу и впервые в жизни встретив не просто невиданное животное, но — животное, лакающее на нашей даче наше молоко, мгновенно прыгнул на вора и, не тронув его, то есть не изведав колючек, отнял и унёс подальше (спрятал, не пролив, под порожек) хозяйскую коробочку.

Потом, на городских улицах, я мог оставить Тибула у любого магазина, у любой двери, в которую заходил, — не привязывая, а только положив возле него какую–нибудь свою вещичку: знал, что и Тибул никуда не отойдёт от неё, и никто чужой не рискнёт приблизиться к солидному псу. Однажды я так оставил ему даже своё пальто.

Тем не менее на дрессировочной площадке охрану вещи нам предстояло отработать по обычной программе. Я, посмеиваясь, говорил инструкторам, что это излишне; они не послушались — и напрасно.

Привязав Тиба, я положил перед ним свою сумку — близко перед носом, но так, чтобы он не мог её достать, — а сам отошёл назад, за двухметровый щит — барьер для прыжков: собака не должна была меня видеть. Но и я не видел ничего.

По сценарию «воровка» — девушка–инструктор — должна была на ходу, будто бы гуляючи мимо, внезапно схватить мою сумку, а собака — поднять тревогу. Чтобы Тибу, когда он рванётся на неё, не было больно, я привязал его не за ошейник, а за кожаную шлейку, туго обтягивающую ремнями всё тело. Инструктор «пошла на дело», а я спокойно сидел за своим щитом, когда вдруг услышал, на фоне краткого злобного рыка, истошный женский вопль. Выскочив из укрытия, я увидел клочья ремней на снегу, поодаль — девушку, схватившуюся за сердце, и Тибула, спокойно лежащего животом на сумке. Он вышел из новой шлейки, как из бумажной.

В следующий раз он начудил, когда мы отрабатывали задержание преступника. Сценарий был таков: «бандит» убегает, я кричу: «Фас!» — и собака, нагнав, хватает его за руку и треплет, пока не подоспею я. Потом я командую: «Руки вверх!» — задержанный подчиняется, а собака, сев рядом, следит, чтобы тот не пошевелился. «Бандит» же,

полный преступных замыслов, вдруг опускает руки и бросается на меня — тут пёс должен схватить его уже безо всякой команды. В первый раз у нас всё так и прошло, а во второй — я, спуская Тиба, не оставил поводок в руке, как раньше, а, по примеру других, бросил на снег: мне всё равно потом нужно было сюда возвращаться. И вот — команда, пёс кинулся за убегающим инструктором, я побежал, чуть медленнее, за ним, и тут Тиб, вдруг сообразив, что на земле осталась его собственная сбруя, помчался назад, схватил её в зубы и снова бросился догонять свою жертву — догнал, схватил и так далее, всё как положено. Зрители хохотали до упаду.

И вот этот собственник совершенно не был жадным

О том, что он мог отдать свою игрушку какому–нибудь малышу, нечего и говорить: отдавал — и не раз. Лучше рассказать об его отношении к еде.

То, как ест человек, говорит много не только о его воспитанности, но и о характере (вряд ли, например, окажется милым и тактичным человек, громко чавкающий и рыгающий за столом). То же можно сказать и о животных. Посмотрите, как хищно вгрызаются в еду кошки — и у вас пропадёт представление о них как о мягких игрушках. Тогда же станет понятнее, отчего они привязываются к дому сильнее, нежели к хозяину.

Впрочем, всем пора бы усвоить, что хозяином часто оказывается не тот, кто даёт пищу, а тот, кто — отнимает. Только не стоит делиться этим наблюдением с собаками. У них если и дозволено отнимать, то — чтобы заменить кусок на больший или на лучший. Мой ротвейлер этого не понимал, и дело кончилось плохо; постаравшись учесть это при воспитании Тибула, я, наверно, перестарался, потому что тот лучше меня знал, что к чему.

В числе прочего следовало внушить ему, что у хозяина и в голове не бывает что–либо у него отнимать, особенно — еду. Для этого, посоветовал кто–то, при кормёжке надо то и дело опускать руки в собачью посуду; вняв совету, мы с Анной, когда Тибул ел, время от времени, продемонстрировав ему какой–нибудь вкусный кусочек, клали его в миску, перемешивая с остальным её содержимым; щенок согласился на это, можно сказать, без слов и не мешал нашим манипуляциям. Трудности назревали — в другом, с другим — со вкусными кусочками: мясо — где было его взять? С продовольствием становилось всё хуже, и я, бывало, к зиме, к обещанному голоду, паниковал: человек может продержаться до весны и на крупах — но как быть с собаками? К счастью, клуб служебного собаководства оказался на высоте, и на дрессировочной площадке по выходным раз в неделю или в месяц, не помню,

мясокомбинат стал продавать отходы — хрящи, кости… Мелко потом нарубленные, накрошенные мясные кусочки (для удобства назовём их фаршем) можно было смешивать с кашей или с мелко же нашинкованной капустой — это была, пожалуй, неплохая еда, но если кашу псу, хочешь не хочешь, приходилось съедать всю, то с овощным вариантом обстояло хуже: Тибул проявлял чудеса ловкости, ухитряясь, не съев ни кусочка капусты, выбрать из миски весь, до крошки, фарш.

Он и вообще ел аккуратно, бесшумно — хоть сажай его за свой стол.

К слову: мало того, что ему, конечно, ничего не давали со стола, но пёс будто бы и сам не видел наших трапез: когда мы ели, он безучастно лежал поодаль, где–нибудь в дверях. Потом ему, конечно, перепадал вкусный кусочек — но нет, он его не выпрашивал. В последние годы Тибул, правда, позволял себе приблизиться и вплотную, но выглядело это так: он садился рядом со мной, но — спиной к столу, чтобы я мог обнять его левой рукой, и не двигался, будто бы безразличный к человечьей еде, до тех пор, пока наш ужин или обед не кончался.

Самое интересное было, всё же, не в этом. Еду Тибулу подогревали, иной раз — слишком, и тогда, так как собак нельзя кормить горячим, ему приходилось ждать, пока еда не остынет: проходило какое–то время, я или Анна, попробовав рукой, наконец разрешали… Это неожиданно привело к тому, что пёс вообще перестал брать что–либо из собственной тарелки без позволения: в один прекрасный вечер, будто бы дав ему поесть и отвлёкшись на свои дела, мы вдруг нашли Тибула лежащим возле полной миски: он ждал разрешения. С тех пор так и повелось: мало было подать еду — нет, потом приходилось ещё и позволять это съесть. Тут уже не действовали никакие уговоры и объяснения: он установил для себя правило и не собирался его нарушать.

Особо надо упомянуть лакомства. Пёс получал их только за дело, как награду — за исключением кости, непременно выдаваемой после еды, как бы на десерт. Тут приходилось быть осторожным, потому что, съев с поверхности мясо и разгрызая теперь самоё кость, Тиба мог наглотаться острых её осколков — тогда его тошнило. Во избежание этого кость нужно было вовремя отобрать — какая собака позволит это? Тибул же отдавал её безропотно, тем более, что если она была обглодана недостаточно чисто, он получал всё обратно, на доработку, а если там ничего уже не оставалось, то лакомство приходилось отбирать; тогда в виде компенсации ему полагался маленький кусочек мяса. Пёс усвоил процедуру, и в последние годы стал, погрызя кость, приносить мне её на проверку: можно ли грызть дальше; если — можно, то всё повторялось.

Без нас, оставаясь один дома, пёс вообще ничего не ел. Уходя куда–нибудь вечером, мы оставляли ему что–нибудь вкусненькое, чтобы он не скучал и не обижался, — но, вернувшись, находили это угощение — кость, кусок мяса, сушку — нетронутым; однако, стоило нам войти в дом, как он набрасывался на лакомство. Нечего и говорить, что он никогда ничего не стянул. Однажды Аня хотела приготовить говядину, но тут пришёл какой–то гость, мы оба занялись им в комнате и только совсем нескоро спохватились: где же собака? Заглянув на кухню, я увидел такую картину: на столе почти у самого края лежит изрядный шмат сырого мяса, а перед ним тихо сидит, не сводя глаз, словно гипнотизируя, Тибул. Пол перед ним был буквально залит слюной. То же, что он не ел в одиночестве, в пустой квартире, не имеет отношения собственно к еде: кусок не лез ему в горло, оттого что он был расстроен, тосковал — больше: горевал… Рискну предположить, что проводив последнего из нас за дверь, он боялся — да нет, считал, — что никогда уже нас не увидит, что его покинули навсегда. Однажды вышло так, что уходя из дома последним, я уже в дверях, вдруг, вспомнил о забытой на столе нужной бумаге. Тибул в эту минуту ещё только плёлся, понурый, на своё «печальное место» — за письменным столом, в дальнем углу комнаты, — и я, поспешая за документом, обогнал его; случайно обернувшись на собаку, я был потрясён: губы Тибула дрожали, и глаза были мокры… После этого всякий раз перед уходом мы с Анной подолгу его уговаривали, объясняя кратковременность отлучки, — но слова не помогали…

Прятки

Люди легко теряются в городах — что же говорить о животных? О собаках? Увлекутся чем–то, заиграются, побегут сломя голову за кошкой или по амурным делам через один двор, другой, а когда всё ж опомнятся, то от страха уже не сообразят, как найти собственный след. Такое однажды случилось и с Тибулом, когда он был ещё маленьким: умчался, лихо сорвавшись с поводка, прочь от хозяйки, попал на хозяйственный двор какой–то конторы — и через четверть часа всё–таки выбрался сам, вылетел оттуда в панике — прямо к Анне в руки.

Потом уже он всегда был осторожен и даже отойдя далеко, то и дело оглядывался на своих. Был случай, он даже не убежал за течной сукой: бросился было — и тут в панике был уже я, хотя та собака шла с хозяином, на поводке, и их, конечно, можно было нагнать (незадолго до того соседского боксёра после подобного начала нашли только на третьи сутки километра за два от нас, в Сокольниках), — помчался, не

слушая моих криков, и скрылся было из глаз, почти забежал за угол, где уже точно его было бы не дозваться, и вдруг остановился, призадумался — и пошёл назад.

Но задолго до того, в дошкольном ещё возрасте, он вовлёк меня в смешную погоню.

Как–то мы всей семьёй ездили на дачу — случай, надо сказать, исключительный: я вовсе не питал к этому месту нежных чувств и бывал там, пожалуй, раз в несколько лет. Дорога же была — проще не придумаешь: сесть буквально под нашими окнами в трамвай и через четыре остановки вылезти уже у вокзала. Тибул вполне мог бы повторить этот путь самостоятельно — он и попытался. На даче ему, видимо, очень уж понравилось — настолько, что когда мы с ним одним погожим днём зачем–то перешли проспект и он увидел на остановке трамвай, ту самую штуку, которая возит за город, то вскочил в вагон — и был таков.

Когда я добежал до вагона, двери уже закрылись; водитель, как и всегда бывает в подобных случаях, оказалась вредной тёткой и в ответ на мои отчаянные крики только отмахнулась. Мне пришлось бежать вдогонку — сначала, пока трамвай преодолевал стрелки на перекрёстке, почти рядом, но потом, на долгом подъёме, я изрядно отстал, так что не поравнялся с ним и на следующей остановке. Там меня догнал другой состав, и я поехал стоя рядом с водителем и не спуская глаз с переднего, в котором ехал Тибул. С этого места я увидел, как довольно далеко впереди пёс наконец выбежал на улицу и канул то ли в поперечном переулке, то ли в магазине. Пока я добрался до этого места, прошло время, собаки уже след простыл; мужички, пившие на углу пиво, показали направление, но я, к счастью, ничего не разглядев вдали, замешкался — и тут мимо промчался Тибул. Он думал, наверно, что оставив меня возле трамвая, там же и найдёт, и снова нырнул в ещё стоявший вагон. Но и я вошёл туда же.

Тибул был перепуган не меньше моего, и надо ли говорить, что потом он больше не повторял подобных опытов?

Где–нибудь во дворе мы могли разминуться и не видеть друг друга несколько минут; когда потом положение разрешалось, Тибул радовался довольно своеобразно. Однажды, заигравшись на стадионе, где проходили занятия его школы, Тибул оказался на противоположном краю поля, и я его видел а он меня — нет. Вдруг спохватившись, он застыл — оглядывался, ища пропавшего хозяина. Я позвал — и пёс, обрадованный, помчался кубарем, но подбежав, не бросился ласкаться, а остановившись в десятке шагов, занялся какими–то собачьими делами, стал вынюхивать что–то на земле. И это была его обычная манера, ему

всегда бывало достаточно находиться лишь вблизи от хозяина, но не вплотную — это, он считал, наверно, было б уже слишком. Если Тибул гулял на горке с одним из нас, а другой показывался вдали, возвращаясь с работы, он бросался навстречу, не разбирая дороги, — и не добегал те же несколько метров.

В Германии мне время от времени попадаются популярные телепередачи типа «Умны ли животные?» или «Кто умнее — собака или кошка?» и тому подобные, на мой взгляд — далёкие от заявленных тем: как раз об уме в них речь и не заходит, а только — о способности к дрессировке. Прежде всякого обсуждения таких фильмов собеседникам надо бы договариваться о терминах — что чем называть; их авторы обычно предъявляют зрителям кого–нибудь вроде пуделей или мартышек, натасканных на устный счёт до трёх или пяти, но никогда — думающих животных. Возможно, они считают, вслед за нашим академиком Павловым, что таких вовсе нет на свете; в этом случае им не договориться с русскими собачеями, очеловечивающими своих питомцев. У нас, например, совершенно серьёзно объясняют, отчего крупные собаки умнее маленьких: менее подвижные, они всегда находят время спокойно посидеть и разобраться в только что увиденном, услышанном и почуянном — подумать; непоседливой же мелкоте о таком можно только мечтать. (Кстати, большие собаки занимают в человеческих домах меньше места, нежели маленькие, оттого что не прыгают там и не скачут. Впрочем, и те, мелкие, суетятся не попусту, а имея определённую цель. Однажды, например, я обратил внимание, как грамотно переходила улицу небольшая дворовая собачка: спешила, однако остановилась перед светофором и потом побежала дальше только по зелёному сигналу. Я вслух восхитился этим, и случайный прохожий заметил в ответ: «Обратите внимание на её походку. Собаки, в отличие от кошек, не бродят просто так, а всегда знают, куда и зачем идут. У них всегда есть дело». И впрямь, у этой дворняжки был такой вид, словно её послали с поручением).

Что же до способностей к дрессировке, то они не только не говорят о способностях умственных, но, скорее, находятся с ними в обратной зависимости. Если тут уместно сравнение с людьми, то ведь чем менее развит человек, тем легче он дрессируется; но попробуйте–ка вымуштровать какую–нибудь выдающуюся личность...

Вернёмся, однако, к нашим собакам.

В нашем квартале Тибул «терялся» много раз (я беру слово в кавычки, потому что для нас это уже не было происшествием). Там в беспорядке стояли несколько зданий, ничем не отделённых друг от

друга, хоккейная коробка, ещё какие–то мелкие отгородки — собаке, гуляющей без привязи, проще простого было пропасть из виду, завернув за любую из них. Вот Тибул и пропадал, но обнаружив отсутствие хозяина, не паниковал, не суетился, не бежал назад по своему следу, как это, наверно, сделали бы другие, не возвращался домой, а оглядевшись, находил вблизи себя место, где он был бы хорошо виден, и усаживался там так прочно, что уже ничто не могло его оттуда согнать; чаще всего Тиба выбирал угол ближайшего дома, чтобы быть видимым с трёх сторон, а если там стоял ещё и фонарь, то садился — под ним. Пёс рассуждал правильно: хозяин рано или поздно должен вернуться.

Однажды он таким манером и вовсе чуть ли не остановил движение. Мы шли по неширокой улице, служившей одной из границ нашего квартала — его, Тибула, территории. За въездом в уже знакомые читателю гаражи, нам надо было идти вдоль огороженного глухим забором погоста — тут уже мало кто ходил, тротуар не чистили, и в снегу была протоптана лишь узкая, в один след, тропка. Следом за мной на неё ступил крупный, широкий — закрывший мне обзор — мужчина, и я, оглядываясь, ничего не видел за ним — не видел Тибула, которому пришлось замыкать шествие. Только пройдя в таком строю метров двести, до конца погоста, и снова оказавшись на расчищенном месте, я сумел сделать шаг в сторону и оглянуться — собаки нигде не было. Времени между тем прошло немало: не так уж быстро можно было пробираться по снежной тропке. Я поспешил назад — и увидел Тиба, чугунной тумбою сидящего у ворот гаражей; какая–то машина, не сумев прогнать пса гудками, пыталась осторожно объехать его по тротуару. Пожилая женщина причитала подле, уговаривая — он не слушал, но увидев меня спокойно поднялся и пошёл навстречу.

Родная речь

Говорят, ризеншнауцеры способны за свою жизнь выучить до двухсот человеческих слов. Мне это число кажется сильно заниженным, проверить же его нельзя, разве что проэкзаменовать всё собачье население, но всё же, так как каждый учёный пишет свою диссертацию по–своему, то естественно поискать, не получены ли где–то и другие результаты. Не знаю, какой словарный запас нужен для общения, только вместо того, чтобы обучить Тибула десятку–другому стандартных команд, я говорил с ним, как с человеком, и он понимал и слушался. Правда, первые несколько месяцев, я говорил с ним намного больше обычного: на прогулках — не переставая.

Возможно, я делал это для себя, чтобы не было скучно: в самом деле, нельзя же было всерьёз рассчитывать, что Тибул усвоит человеческие правила примерного поведения после устных уроков. Например, если навстречу попадался старичок с палочкой, то я не просто подтягивал собаку за поводок в сторонку, а говорил, что вот, давай пропустим человека, а потом уже пойдём и сами. Говорить это животному не было резона, но я не унимался. Тем не менее, эта методика, возможно, сработала, а возможно, и всякий ризен способен если и не понимать речь, то всё ж догадываться о её содержании, но только, когда Тибул повзрослел, мы с Анной общались с ним достаточно свободно. Больше того, если мы хотели что–то от него скрыть, у нас бывали трудности с выдумыванием околичностей и эвфемизмов: он разгадывал их довольно скоро. Нам впору было обмениваться записками.

Даже щенком Тиб понимал речь гораздо лучше, чем от него ждали.

Я уже рассказывал, что он рос примерным мальчиком, не бедокурил, но вдруг, дожив до шестимесячного возраста, всё–таки проштрафился: «прочитал» одну мою книгу. Она так, наверно, оказалась вкусна, что Тиб постарался добраться до сути. Придя с работы и оценив новый порядок в квартире, украшенной клочками бумаги, я в сердцах высказал щенку всё, что о нём думаю, твёрдо (и почти искренне) пообещав выставить его из дома навсегда: вывести на улицу и там бросить.

Занявшись уборкой и ещё Бог знает чем, я вывел Тибула на прогулку не сразу, а лишь через пару часов, и во дворе увидел, что он заболел: не смотрит по сторонам, сгорбился и, скучный, еле переставляет ноги. Тем не менее его нужно было выгулять, и я лишь спустя какое–то время, не меньше четверти часа, посмотрев на часы, решил: «Что ж, пора, пошли домой!» Радость Тиба, вызванную этими словами, описать невозможно: мгновенно ожив, он заскакал на всех четырёх лапах, норовя при этом лизнуть меня в лицо и что–то при этом ещё произнося. В течение всей прогулки он, оказывается, ждал, что я выполню свою угрозу и где–то оставлю его, а сам уйду домой один.

С годами и я начал понимать кое–какие его слова, во всяком случае — различал его просьбы: пить, есть, подойти к нему, поиграть с ним, вывести гулять.

Например, Тибул не пил воду, долго простоявшую в миске, а предпочитал только что налитую из–под крана. Когда ему хотелось пить, он тихонько царапал коготком миску — и тот из нас, кто это увидел, менял воду. Но стоило ему однажды обнаружить, что я понимаю его краткое «тяв», как он тотчас навсегда отказался от своего жеста. Теперь, услышав его просьбу, я говорил: «Митя, дай собаке попить», — на что тот отзывался с недоверием — мол, с чего ты взял? — но выйдя в коридор, находил Тибула стоящим у миски (с коготком наготове).

Если я долго был на кухне, Тибул звал меня из большой комнаты: иногда — поиграть, но часто — работать. Он любил, когда я сидел за письменным столом, лежать рядом, причём — с правой стороны; я не мог его погладить занятой рукою — неважно, главное, что мы работали. Для этого он не просто звал меня голосом, а встретив в дверях, вёл по комнате и буквально усаживал на рабочее место.

Живи за городом, мы бы, наверно, могли посылать его в лавку, засунув за ошейник записку и денежку; можно ручаться, что провизию он доставил бы в целости — даже говядину, не говоря уже о курице, которую в сыром виде считал несъедобной. Мы, однако, жили в большом городе и за покупками одного не отпускали, а только всегда брали его с собой.

За дальним углом нашего квартала располагался продуктовый магазин, плохонький, но зато — единственный, где продавали развесной творог, любимый в нашей семье; никакой другой провизии мы там никогда не покупали. Он занимал весь первый этаж недлинного дома, вытянувшись вдоль наружной застеклённой стены наподобие светлого коридора. Вход был устроен точно в середине, и тамбур, грубо вдаваясь внутрь, мешал из одной половины узкого зала видеть то, что делается в другой. В левой части магазина торговали бакалейными и молочными товарами, в правой, куда мы даже и не заглядывали, — яйца, рыба, неважное мясо и неважная птица. Анна или я обычно входили с собакой прямо в молочный отдел, из тамбура — налево, и Тибул сразу ложился возле кассы, а мы покупали товары, укладывали их в сторонке в сумку и тогда, позвав собаку, выходили наружу.

В тот день, о котором я хочу рассказать, Анна по дороге за творогом встретила одну из соседок, и та поспешила известить, что в этом магазине «дают кур».

— Я там не покупаю, — без восторга ответила Анна. — Там всё какое–то лежалое.

— Да, да, просто безобразие, но сегодня завезли и впрямь аппетитных курочек, — и Анна, подумав, согласилась, что и в самом деле не худо бы взглянуть на свежий товар.

По пути она, конечно, забыла об этом своём намерении.

Тибул, как всегда, устроился у кассы, а она, купив творогу, поспешила домой — и оказалась на улице одна, без собаки. Пришлось вернуться в помещение, но пса на обычном месте не было, и уже

всполошившись, Анна побежала по магазину, огибая тамбур. Тибул, никогда прежде не бродивший там самостоятельно, ждал её у прилавка с курами.

Что ж, после такого напоминания курицу (которую он, кстати, сырую не считал едой) пришлось купить.

И вот ещё один случай, совсем не весёлый. Тибул смертельно болел, мы старались помочь ему, чем могли; в числе прочего надобно было делать внутривенные вливания. Делали мы это вдвоём с Митей: клали пса на диван и я его держал, а Митя, тогда — студент–медик, колол. Надо сказать, что эта процедура на собаках дело совсем не простое из–за необыкновенной подвижности вены: вот уже, кажется, нащупали, можно вводить шприц — и вена в этот момент оказывается где–то на другой стороне ноги. Один раз Митя проделал это с лёгкостью, а на второй день что–то не заладилось, колоть было не с руки, и он пару раз ткнул шприцем впустую; надо было перевернуть собаку не просто с боку на бок, а — головой в другую сторону, то есть поднять и перенести, и мы не решались подступиться к измученной собаке. Мы только ещё обсуждали, как и что можно сделать, и не видели выхода, как вдруг Тибул, коротко глянув на нас, встал и повернулся — рухнул — на диване так, как мы хотели.

И всё же боюсь, что знание нашего языка в конце концов сослужило Тибулу плохую службу. При сборах в Германию нас больше всего беспокоила перевозка собаки. Анна много звонила по телефону, расспрашивала кого только можно о разных вариантах, о том, как лучше везти пса — на поезде или в самолёте, и если в самолёте — то в какой клетке, а если — по железной дороге, то как и где можно будет — можно ли будет — его выгуливать. После таких звонков она ещё раз пересказывала их содержание Тибулу, а я в поддержку обещал, что по приезде на новое место у нас наконец не будет трудностей с мясом…

Потом у нас создалось впечатление, что он сделал из услышанного свои выводы: решил нас не обременять.

Он умер за семь месяцев до намеченного отъезда.

Как бы там ни было, я убеждён, что многие свои поступки Тибул совершал не вдруг, а по–своему обдумав их. Это было заметно, и в особенности — в последней трети жизни. Я слышал, что поведение ризенов перестраивается, становится более, скажем так, человеческим в возрасте более семи лет — мои наблюдения подтвердили это. Я шутил, говоря, что после семи Тиб стал настоящим человеком, — но в этой шутке была только доля шутки.

Прожил же он на свете десять лет.

Что они думают о смерти

Что они думают о смерти?

Хороший вопрос, потому что спрашивающий так — убеждён: собаки — думают.

Хороший вопрос, потому что заставляет прежде прямого ответа разобраться в том, что думаем о смерти мы — и думаем ли. Впрочем, сказать в последнем случае «нет» — значит выдать отсутствие вообще каких бы то ни было мыслей; будем осторожны.

С собаками обстоит будто бы проще: мы говорим о них вообще (исключая одну, свою собственную), заведомо считая типовым для всего вида их понимание добра и зла или жизни и смерти… Знатоки, однако, уточнят: в том, что касается бытия и небытия, животный мир не признаёт вариантов, подчиняясь лишь могучему закону самосохранения; о том, что собаки способны жертвовать собою, они умолчат. У меня же не накопилось столько примеров, чтобы отстоять обратную или хотя бы параллельную позицию.

Чтобы разобраться в людских представлениях о смерти, надобно написать целую книгу, а поняв, что этого недостаточно, — и целую библиотеку. Но вон их сколько, библиотек… Писать о том, как собаки представляют означенный предмет, совсем не проще — сложнее и намного, — но тут можно кое–что опустить незаметно для читателя: мало кто раньше сталкивался с нашей темой. Не так уж давно на просторах Советского Союза господствовало учение академика Павлова, отрицавшего способность собак к мышлению. В случае, если он оказался неправ — пусть в этом единственном неправ, — в этом случае наши младшие дружки в своих нехитрых соображениях, быть может, случайно догадываются о предстоящем им небытии. Всё это, конечно, чистая фантастика, потому уже, что если у человека духовное развитие связано с осмысленным снижением только что упомянутого инстинкта, то у животных этот инстинкт так силён, что всякое обсуждение неизбежности конца должно быть запретно. Уважая это табу, я пока не стану настаивать на своём несерьёзном предположении.

Но вот чувствовать смерть — собаки определённо чувствуют: предчувствуют — чужую.

Как–то наше собачье общество пополнилось самкой бультерьера — Моной. Её взяли в семью, где уже была собака — ягдтерьер, милый мальчик и хороший охотник. Бультерьер — зверь серьёзный, и что там говорить о публике, когда хозяйка и сама в первые дни побаивалась Мону: та, мол, так алчно смотрела на её длинные серьги, что

было страшно — как бы не отхватила вместе с ухом; я же, знакомясь, попросту не подумал, с какой породой имею дело (мало ли разных собак на поляне и все — дружат со мною), и машинально протянул руку. Хозяйка, побледнев, отвернулась, чтобы не видеть страшной сцены, а Мона сразу пошла ко мне, и я спокойно принялся то гладить собачку, то почёсывать её за ушком. Потом выяснилось, что на несколько секунд раньше, чем со мной, Мона познакомилась с Тибулом — и сразу прониклась к нему такими нежными чувствами, что их хватило на всю её, увы — короткую, жизнь. Я же для неё был как бы одно целое с Тибом.

Мой пёс тоже относился к ней с заметною нежностью (но иначе и быть не могло, ведь бультерьер по сравнению с ним был маленьким существом).

Она прожила всего несколько лет. У неё вдруг появилась и очень быстро стала расти — так, что было заметно на глаз — опухоль. У людей это называлось бы «тяжёлой и продолжительной болезнью», но процессы в собачьем организме идут быстрее, чем у нас, и очень скоро Мону перестали выводить на горку — ей не дойти было б, — а в одно совсем не прекрасное утро я увидел, как её на руках вынесли из подъезда и, далеко не отходя, положили на траву, просто чтобы она подышала свежим воздухом. Издали поприветствовав хозяина (и ещё два собачея стояли рядом), я пошёл к ним напрямик через газон, но Тибул не двинулся с места, оставшись стоять в проезде. Когда же я стал уговаривать, напоминая, что Мона как–никак его милая подружка, он лёг на асфальт, показывая, что решение твёрдо: не мог заставить себя подойти к умирающей. А умерла она — через две недели.

Недаром бытует такая поговорка: если собака не ест крох после больного, то он скоро умрёт.

Увы, через пару лет настал и его черёд. Мы собирались уезжать в Германию, и подготавливали Тиба, рассказывая, как хорошо будет ему житься на новом месте, как я договорюсь с мясником и тот всегда будет оставлять обрезки, какую мы купим красивую сбрую и так далее. Мы с Анной нарочно звонили при нём, узнавая все подробности переезда с собакой, — и он слушал, понимал, что разговор — о нём. Теперь не узнать, что из этого он понял и как отнёсся к нашим планам, и я не стану рассказывать о его немощи и терпении, потому что болезнь собаки — это болезнь твоего ребёнка, и её бывает даже, кажется, жальче, нежели ребёнка, оттого что она видит в тебе всемогущего Бога и ждёт облегчения, а ты — бессилен.

У Тибула была лейкемия, и с этим ничего нельзя было сделать, хотя мы лечили его как, быть может, не лечат и людей. Он лечился прилежно, терпел все процедуры — и готовился к концу. Когда ему стало трудно

ходить, мы попытались было выводить его только во двор, перед подъездом — но нет, он, напротив, вздумал обходить места, когда–то любимые, но те, которые давно уже не посещал. Так, не доходя до привычного места общего выгула, он сворачивал к пологому склону, где катались на санках малыши (когда–то он без устали буксировал их наверх, одного за другим; однажды его повела на прогулку соседская девочка, Анна вышла следом лишь, пожалуй, через четверть часа — и ужаснулась: Тибул таскал в горку санки с детьми, будучи в строгом ошейнике!), теперь он садился на верху этой горки на снег и смотрел, смотрел на катанье и никак не хотел уходить, и я не знал, почему он противится — потому ли, что не может насмотреться, или потому, что не в силах встать.

В один из последних дней он на этом пути повстречался с Крисом.

Красавец Крис был крупным, матёрым колли. Он, кажется, никогда не претендовал на власть в стае и спокойно, не заискивая, как другие, принимал первенство Тибула. Тот же и не думал как–то помыкать этим младшим, возможно — считал его равным. Они никогда не играли вместе и друзьями не стали — просто у каждого были свои интересы. Если определить по–человечьи, эти псы уважали друг друга. Встречаясь, они по–своему здоровались издали — и расходились по своим делам.

И вот они встретились в последний раз: колли уже вели домой, а Тибул, только что вышедший на прогулку, собирался повернуть к детям. Крис, как обычно, вдохнул воздух, узнавая, кто это попался навстречу, — и заплакал.

Провинциальное метро

Столичный житель — москвич или даже петербуржец — пока ещё отвечает на оксюморон «провинциальное метро» лишь неловкой улыбкой, но уже не затевает споров с губернскими ли, с уездными ли пассажирами, понимая, что те не замедлят сослаться на зарубежный опыт, преподанный им телевидением. И в самом деле, в иных странах метро можно увидеть даже и в окраинных городах, и строят его там вовсе не как бомбоубежища, а как дороги, здраво рассудив, что при атомной войне не помогут никакие укрытия: как долго ни сиди в недрах, а кончатся консервы — и выйдешь на свет Божий да не найдёшь света и скончаешься там, куда вышел, в страшных мучениях. Так что лучше уж строить метрополитен длиною побольше, а ценою подешевле, пустив сэкономленные деньги хотя бы на развлечения — бедных сограждан или свои собственные. Подешевле же — выглядит так: вдоль улицы копают широченную канаву, пускают по ней трамвай, а сверху накрывают всё это приблизительное сооружение крышкой, которая естественно становится новой мостовой, так что разорённая было строительством улица принимает прежний вид; впрочем, в российских условиях лучше бы просто присыпать крышку землицею и сажать бобовые, которые, говорят, хорошо структурируют почву. Горох на базаре, однако, нынче дёшев, не разбогатеешь, а устройство метрополитена хотя бы и в канаве требует огромных затрат, и нашу глушь, ввязавшуюся в метростроевскую авантюру, способно выручить разве что всеобщее разоружение: как только армия недосчитается какого–нибудь танка, так, глядишь, площадь перед очередным райкомом (виноват, запамятовал: мэрией) и соединится транспортным туннелем с меланжевым комбинатом или с пристанью.

Между тем что для русского здорово, то для немца смерть, а идущее во благо мировым столицам вполне может для захолустья обернуться сущей бедою, и разумные его обитатели обычно ждут от нововведений одних неприятностей. Только и они зачастую не представляют размеров грядущих потрясений. В нашем, например, случае, реклама обещает из каждого часа вчерашнего пути сделать, допустим, его четверть, но провинциальные города малы, во всяком от роддома до кладбища подать рукой, и быстрые перемещения по ним (а кто у нас не любит быстрой езды?) ведут к потерям не времени, а пространства.

Легко и страшно вообразить состояние человека, который, ещё не опомнившись после непривычной гонки в подземелье, выходит, жмурясь от яркого света, на поверхность у родного дома (завода, пивной — нужное подчеркнуть) — и не находит никакого пейзажа. Ему, привыкшему трястись в попутных колымагах, сразу не растолкуешь, что если, как считают умы, время и пространство суть две формы чего–то одного и того же, то сэкономив первое, мы урежем и последнее и значит, чем быстрее поедешь, тем меньше потом увидишь. Иными словами, редкая птица долетит до середины Днепра — именно потому, что где–нибудь на полпути как раз и покажется, что никакого Днепра внизу нету, а есть некий математический символ, точка, в которой и на часы–то не удастся посмотреть из–за невозможности не то что поднять руку, но и пошевелить ею. В нынешней нехватке места, в утрате даже просвещёнными людьми представления о протяжённости мира есть и светлые стороны, вроде, например, потери нужды в вычислениях дальности пути и точности попадания (я невольно заговорил языком военного инженера — да хорошо, что хотя бы таким, оттого что сейчас в России пропадает и всякий связный язык), и остаётся важным единственный вопрос: попадания — куда?

Русскому простому человеку издавна свойственно попадать — в участок.

Дело в том, что у нас теперь не в одних столицах, но и в провинции, где, кажется, каждый знает каждого хотя бы в лицо, в поздние часы стали на конечных остановках вытаскивать на платформу за ноги, словно чужих, всех потерявших понятие о пространстве: вытаскивать — и обирать. Там, где не существует вытрезвителей, эти обобранные, проснувшись утром на казённой клеёнке, не удивляются, обнаружив, что параллельные лобачевские рельсы сошлись не в туннеле под днепровской водою, а в тюремной камере — лучшем месте для сокрушений по поводу того, как быстро и жёстко вдруг сжался простор; почти никто из них не станет выяснять, подвела ли его под монастырь мелкая ночная птичка или же известная птица–тройка.

В тех же далёких краях, где о тройке знает хорошо если один из тысяч, да и то понаслышке, дело обстоит проще: пьяные и задумчивые там не спят в вагонах, а трезвые, сев в поезд на станции метро, допустим, в Кёльне, и через четверть часа выехав в нём на свет Божий, вдруг находят себя в обыкновенном трамвае — и так и катят в нём, ничего не поделаешь, до бывшей своей столицы, до Бонна. От Москвы до Петушков этаким манером не добраться.

Только что это я снова — о Москве? Там–то, по слухам, для начальства устроено своё метро, а для нас с вами — своё, и простому обывателю не приходится ждать в туннеле, пока мимо не прошумит персональный состав городского головы, а вслед ещё и поезд охраны. Нет, столичный железнодорожник попросту не додумается до подземного бронепоезда: и опыта подходящего нет, и бабушка плела ему когда–то совсем другие сказки. В глухомани же многое в порядке вещей: и избушка лесника, до возвращения загулявшего хозяина с боями переходящая от белых к красным, от красных к чеченцам, от тех — к каким–нибудь браткам, а от них — к тем же красным, и конкурент, сожжённый в паровозной топке, и нацеленные в дальнюю даль орудия бронированной платформы, и уже знакомое читателю свёртывание этой самой дали до полной её неузнаваемости, когда наш заспавшийся ездок, отчаявшись протереть глаза, лишний раз поминает недобрым словом местных винокуров. Понять его легко: кто не знает, что раньше спиртное было куда чище, отключая, например, память лишь у завзятых пьяниц, но не у барышень, выпивших первую свою рюмку; об исчезновении видов из окна и говорить нечего. В ту, увы, ушедшую пору пьянство славно было использовать как литературный приём — поочерёдно напаивая то героев, то самого автора. Нам же, в рассуждении имеющихся в новом алкоголе ядов, лучше в качестве такого приёма использовать не питие, а путешествие (в уездном метро, если помните); мало того, что и тем, и другим легко изменить попутные пейзажи, но оба случая одинаково предполагают перемещение в пространстве, хотя бы из магазина — к столу: разве всякому сочинителю не надобно сдвинуться с места ради знакомства с предметом будущего повествования (даже калеке — подъехать в своём кресле к книжному шкапу, где стоят атласы, словари и путеводители)? Некоторые, правда, пытаются описать лишь свой письменный стол, но это возможно проделать всего однажды, а в другой раз всё равно придётся выйти наружу, спуститься в метро и…

В этом месте приём, кстати, может и не сработать — из–за того, что автору помешают, нарушив его уединение.

Мы уже отметили, что в небольших городках все знают друг друга — это мило, старомодно и не всегда уютно, ведь если там, гуляя по главной улице, хотя и устаёшь раскланиваться направо и налево со знакомыми, тем не менее можешь с ними не останавливаться, то уж в метро, усевшись рядом с известным тебе человеком, уйти от беседы невозможно. Беда в том, что всякий диалог сбивает с мысли (да, да, отвлекает от дурного, но ведь только, казалось, начала зреть какая–то догадка, что–то умное, как нате вам — разговоры о погоде). Но с мыслью или без оной,

а поездка всегда кончается одним и тем же: поезд останавливается на конечной станции, кого–то из не нашедших собеседника вынимают из вагона за ноги, прочих пассажиров просят выйти самостоятельно, и тем ничего не остаётся как подняться из подвального этажа на улицу, и тогда–то иной из странников, отсчитав с одышкой положенные три–четыре десятка ступенек, открывает для себя, что вожделенный простор вовсе не беспределен: вот она пристань с пароходиком, вот скромные горы за лесом, но это и всё, весь его мир, в котором ему по бедности суждено дожить свой век.

В утешение себе он придумает, что вселенная и вправду ограничена линией горизонта и что сказки о загорских странах распространяют недоброжелатели, чтобы лишить народ покоя: не сказал же ничего о сколько–нибудь отдалённых местах давешний попутчик в метро, нагруженный картонной коробкой с цыплятами, или, на обратном пути — новый, на бельевой верёвке втащивший в вагон козу. Смешно было бы, конечно, ждать от них обоих разъяснения основ мирозданья, но этого и не требуется, а требуется только дать смущённому человеку излить свою душу да предложить ему выпить, на что у того найдётся довольно остроумный ответ в виде захваченной с собою из дому четвертинки водки местного разлива — отрава и мизер, конечно, однако достаточно для того, чтобы взять разгон, а там уже продолжить по способностям в другом месте. Сложный состав соблазнившего их алкоголя, для описания которого пришлось бы привлечь половину таблицы Менделеева, как раз и есть основа литературного приёма, с помощью которого легко взяться за рассказ о провинциальном метро.

Тема границы в литературе

В последние годы казённой службы мне приходилось иметь так много дела с английским письменным языком — читать технические журналы и вести переписку, — что стало чудиться, будто без него не обойтись и во всякой, не только в деловой, жизни; даже сочиняя собственную прозу, я постоянно думал о том, какою она станет в английском переводе — не потеряются ли оттенки, не исказится ли смысл. Некоторые такие будущие неловкости бывали очевидны, и текст приходилось править.

Отделаться от этой привычки удалось очень быстро, стоило лишь переехать в страну с незнакомой речью — в Германию. Английский, уйдя из быта, стал успешно забываться, а представлять, как прозвучат мои фразы на немецком, я был не в состоянии. Тут–то и встретились долгожданные трудности: оказалось, например, что простейшее, состоящее лишь из единственного слова, название одной из моих поэтических книжек — »Черта» — и то непереводимо.

Книжка эта была написана в городке Дубулты, на берегу Балтийского моря, в год моего пятидесятилетия, и под чертою в ней подразумевались не только чёткая линия морского горизонта или неверная линия прибоя, несправедливо ограничивающая пешее движение, но одновременно и возрастной рубеж, и всякий рубеж, какой нельзя переступить; у германских переводчиков, между тем, получалось из всего этого лишь что–то одно — либо линия на бумаге, либо предел и граница («Strich» и «Grenze»); вместе это не сливалось. Поочерёдно соглашаясь то на одно, то на другое, я постепенно склонился к «Grenze», объяснив самому себе, что горизонт тоже, в сущности, является скорее пределом, чем линией, и постаравшись не смущаться тем, что для русских уха и ума здесь в первую очередь слышалась вполне определённая «граница» — примерно та самая, возле которой в годы моего пионерского детства сиживал в дозоре пограничник Карацупа с собакой. Разумеется, и она достойна описания: само её существование, порождающее невесёлую картину разделения соседей, в которой Иван Иванович видит Ивана Никифоровича лишь издали и не то что прийти в гости, но и приблизиться,

чтобы просто пожать руку, но и поссориться не может, останавливаемый чем–то непреодолимым, как муха — стеклом, само её присутствие в нашем мире не скажу — отравляет, но изменяет психику каждого.

Кстати, вот и разница: здесь (для мухи) стекло — это предел, но не линия же, не Strich. Смотрим в словаре: граница — черта раздела.

Странно, что мы так мало о ней знаем. Всякий собственный опыт, даже перегруженный драмами, чаще всего односторонен; без чтения художественной литературы (или без сочинения её) он так узок, что с его помощью не то что учить других, но и образумиться самому почти невозможно. Со чтением же… Чтение может даже усугубить односторонность; это вопрос выбора, в котором мы, слава Богу, ещё свободны (только в котором и свободны — и то счастье); прежде чем выбирать, всё же не мешает справляться, что, о чём и для чего нужно или можно читать. Но как раз о границе читать почти и нечего.

Как раз о границе почти нечего и писать. Дедовщина на заставах нисколько не жесточе и не мягче, нежели, допустим, в артиллерии или на флоте, а чисто человеческие заботы несению службы солдатом–пограничником не сопутствуют — разве что заставит поволноваться собака. Быть или не быть — это решают в уме совсем другие люди и в другой обстановке, а неизбежный для служивых выбор стрелять или нет — вопрос уже не житейский, а профессиональный.

Однажды в некой войсковой части (нет, не на погранзаставе, а в середине России) произошёл такой случай. Поздним вечером или ночью — во всяком случае, в темноте — мимо какого–то склада проходил посторонний офицер. Стоявший на часах солдатик, как и положено по уставу, выкрикнул заученную формулу: «Стой — стрелять буду!» Прохожий остановился, по уставу, овеществив тем самым первую часть формулы, а солдатик не мешкая овеществил вторую: стал стрелять. Этот случай потом где только не рассказывали в качестве будто бы анекдота; того офицера, однако, уже не было в живых.

Прозвучавшую в мирное время в одном советском триллере лихую реплику: «Никогда не сомневайтесь, нужно ли стрелять — сомнение уже есть повод для стрельбы», — с удовольствием повторяла молодёжь, но, к счастью, право решать профессиональные вопросы осталось, всё ж, у профессионалов. Писателю остаётся решать иные, вечные вопросы; это возможно лишь если действие его книг вынесено за пределы дозора, секрета, засады или погони, — но тогда при чём тут граница? Да ни при чём — вот о ней и не пишут. А что до трёх греков, вёзших в Одессу контрабанду — это уже о другом, буквально: о противной стороне. Вчитавшись в написанное на выбранную нами

тему — да более того, просто вдумавшись, как если бы собираясь писать самостоятельно, — можно обнаружить или хотя бы предположить, озадачившись, что переживания в момент кульминации сюжета, а именно при переходе границы или в близкое к тому время, чаще и полнее всего испытывают персонажи активной стороны: не стерегущие, а нарушающие границу — не Карацупа со псом Индусом, а бандиты, контрабандисты или бунтовщики.

Это понятно, если рассматривать границу не только как линию, Strich на карте или даже запретную полосу на земле, пропаханную сторожевым трактором. Стеречь предел — занятие для думающего человека пустое; иное дело — к нему приближаться, волнуясь за исход (ведь он затем и назван пределом, чтобы никто подле него не претендовал на продолжение, уверовав: мол, достигни черты — и ничто уже не двинется никуда); впрочем, досягали же его люди, и с ними не случалось катастроф. Человек, между тем, любопытен, и тот, кто только приблизился, непременно захочет ещё и пересечь. Это не оговорка: там найдётся что пересекать, ведь абсолютный конец чего–либо невозможен и окончание одного всегда становится началом другого; по Набокову, «всякий предел предполагает существование чего–то за ним», и это значит, что, опершись в конце предназначенного вам тупика в глухой забор, бывает небесполезно провертеть в последнем дырочку.

Ширма, ограда или стена не могут служить единственным и последним препятствием: мало ли подобных было преодолено в детстве, безо всяких там крючьев и верёвок? — этот опыт бесценен. Вот и Берлинскую стену — одолевал же кто–то… О Китайской говорить нечего, она — деталь пейзажа. Существует, правда, нечто нематериальное, что, останавливая умышленников в каких–то условных местах, на которые ещё можно ступить, но из которых дальше нельзя сделать и полшага, позволяет рубежам оставаться рубежами, — это страх, неважно, большой или малый. И ладно б это был свойственный нелюбознательным страх перед неизвестностью (с таким мы бы справились как раз с помощью нашей дырки), но нет, в придуманном здесь положении охватывает самый настоящий, животный — перед физической болью, крушением судьбы, перед лишением здоровья, жизни и даже свободы.

Исчезни страх перед наказанием — и число законопослушных граждан заметно уменьшится, многие ринутся переходить черту — ту или иную, а затем одну за другой. Тем более нечего будет уповать на сдерживающую силу стыда перед ближними, если они–то, ближние, прямо на глазах и пойдут нарушать все заповеди подряд. Впрочем, стыд тут слишком грубая категория: удержавшиеся в такой обстановке от падения

будут благодарны куда более мягкому влиянию совести. Да и что может быть стыдно? Убить равного — что угодно, только не стыдно, а вот украсть — да. Стыдно раздеться при всех, а те, кто делает гадости другим, не стыдятся, будучи пойманы, хотя чувство стыда у них, конечно, присутствует, ведь таятся же они, спуская брюки для тех или иных дел; отсутствует же у них — совесть. Мудрейший Даль (или мудрейший живой язык наш) определяет так: совесть — «… нравственное чутьё в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка... прирождённая правда, в различной степени развития». А стыд, там же, это «чувство или внутреннее сознание предосудительного, уничиженье, самоосужденье, раскаянье и смиренье, нутряная исповедь перед совестью… срам, позор, поруганье, униженье в глазах людей…». Цитата длинна, но она и не окончена, её нельзя оборвать перед самым замечательным определением: „…застыванье крови от унизительного, скорбного чувства«. Вот чего, оказывается, надо бояться: того, что будешь жить с застывшею кровью, в унижении и скорби — если с этим можно выжить.

Зато можно выжить в любой, кажется, обстановке, даже за какою–то проходимой лишь в одну сторону границей — читая словарь Даля. На пресловутый вопрос о том, какую бы единственную книгу вы взяли с собою на необитаемый остров, чаще всего отвечают что — Библию, — кривя, конечно, душой, оттого что её, во–первых, не станешь читать подряд и залпом, а только понемногу, только нужные, то есть пришедшие в голову по случаю места, а во–вторых, оттого что тот, кто искренне хочет взять с собою Писание, и без того давно хранит его в сердце своём и в уме своём, зная наизусть. Отвечают ещё и так: называют какую–нибудь толстенную эпопею — которую, конечно, не только не вызубрили до последнего слова, но и цитируют с осторожностью. А третий вариант ответа — как раз Даль, которого можно с восторгом читать с какого угодно места, и который, на какой остров с ним ни попади, поможет, отведя опасность забвения родства, до самого момента избавления чувствовать себя причастным к живой великорусской культуре. Вчитываясь в него, не устаёшь удивляться не только точности определений, необходимых и всякой энциклопедии, но — красочности оных, но — метафоричности. Только что мы останавливались, чтобы разглядеть „застыванье крови от унизительного, скорбного чувства«, но двинувшись дальше, чтобы воссоединиться с заброшенной было заглавной темой, никак не пройдём мимо и определения черты: она, конечно, и „всякий линейный знак, прямой или кривой, сделанный в один почерк«, но она же и „линия,.. воображаемая или отвлечённая,

предел плоскости«. Загляни я в книгу раньше, кажется, так и назвал бы свою — «Предел плоскости«; это уж (когда бы само слово „плоскость« имело только геометрический смысл) адекватно перевели бы и немцы, оттого что здесь есть всё — и кромка, и обрыв, и тупик. Перед глазами невольно встаёт картина, относящаяся к другой Книге: Он, идущий по воде, аки посуху, озирая плоское море и, впереди, плоскую сушу, ограниченные, то и другая, ровной чертою горизонта — пределом, за которым существует и что–то ещё.

Сущее и «за», и «до» было ведомо Ему, и Он не любопытствовал. Грешное же ремесло сочинителя предполагает нечто иное: при незнании обстоятельств и невозможности приникнуть к дырочке — выдумывать происходящее за пределами; кстати, это не худший способ познания жизни. Другого мы, правда, и не знали, живя в стране, где всему следовало втискиваться в указанные сверху границы, строго, к тому ж, охраняемые — настолько, что и говорить о них не дозволялось ни в периодике, ни даже в литературе. Собственно, советская литература как раз и была олицетворением этих границ.

В пользу романа

Многознание ума не прибавляет
Гераклит Эфесский

Книги, увы, сопутствуют в жизни далеко не всем. И не всякие книги. В последние годы стало особенно заметно, как, пренебрегая художественным словом, бывшие читатели стали обращаться к мемуарам, документалистике, вообще — к прикладной литературе: то ли мода пришла, то ли человек измельчал, но они искренни в своём новом пристрастии, объясняя, что там, мол, всё подлинно, одни случаи из жизни, — не ведая, что как раз там автору всего легче покривить душой, пусть и ненароком, и что лишь против собственного вымысла, в романе, согрешить невозможно (в романе? — но я для краткости и всякую художественную прозу стану здесь именовать романом).

Спрос рождает предложения, и многие издатели охотно берутся за сочинения, имеющие документальную основу. Стоит в аннотации упомянуть, что в основу сюжета положен действительный факт — и произведение повышается в цене: ему словно бы присвоен пресловутый знак качества, хотя на самом деле для романа клеймо «Основывается на действительных событиях» является верным признаком неудачи. Оно значит только, что автор, скован в своей работе некими общеизвестными фактами и мнениями, не мог полностью выразить себя.

Мне вовсе не хочется клеймить здесь научно–популярную или документальную литературу как таковые. Без них молодые люди вступали бы во взрослый мир недорослями. В молодости хочется знать всё — вот и хорошо бы читать всё подряд, накапливая знания, чтобы потом пристроить их к какому–нибудь делу (непременно — к делу, потому что трудно понять энтузиастов–эрудитов, без устали пополняющих свой ум новыми данными, но не умеющих обратить их на пользу кому бы то ни было). И хорошо бы потом вовремя остановиться.

От автора популярных текстов, неспециалиста, неловко требовать скрупулёзного знания предмета, да он и не знает, он же как правило не специалист в нём, и у него где–нибудь да вкрадётся неточность,

что–нибудь он да упустит, что–нибудь да приукрасит. И это не вся беда, гораздо хуже, что чтение прикладных сочинений, тем паче — газет, не только не требует работы воображения, но и гасит его за ненадобностью; оно включается лишь при чтении художественных текстов. Здесь, кстати, лежит и объяснение того, что многие к старости вдруг начинают не в меру интересоваться мемуарами в ущерб роману, словно фотографиями — в ущерб живописи: просто с годами воображение угасает, и воспринимать искусство становится не под силу. При этом степень достоверности чужих припоминаний бывает несущественна, ведь они читаются в возрасте, когда добытые факты всё равно уже нельзя приспособить к делу.

Тут, впрочем, всё связано одно с другим, и живое воображение не только необходимо для восприятия художественных текстов — оно ими же, в славной компании со сказками и детскими играми, рождено и развито. В конце концов, на чём мы все выросли? Да именно на романах и выросли… Ну, хорошо, отступлю на шаг назад: на художественном письме. Оттого что сказки, рассказанные нам бабушками, оттого что и они суть художественная литература и романы.

Нынешних детей не оторвать от телевизора, хотя отказ от книжки ради готовых картинок мультика — это погибель в зародыше всякой фантазии. А когда–то (я обращаюсь к собственному далёкому, довоенному детству) всё начиналось с бабушкиных сказок. Не было на свете телевизоров, мультфильмы в кинотеатрах были совсем не частым удовольствием, а вот домашние сказки рассказывались ежедневно, и детям приходилось, слушая, каждому по–своему представлять себе то Кощея Бессмертного, то Царевну–лягушку (между прочим, не такое это простое дело — не имея образца…). Потом, по мере взросления, на смену устным сказкам приходили книги, и труд воображения усложнялся и уже никак не мог быть исключён. Но смею утверждать, что он начисто исключается при рассматривании на экране движущихся картинок: ну, бежит кошка за мышкой…

Здесь надо бы срочно оговориться: меня могут посчитать ярым противником кинематографа; в действительности ж я большой его любитель. Всему, однако, своё место и время.

Что же до необходимости всем читателям, какие есть, разжиться воображением, то я приведу лишь несколько фраз из прозы классиков (чтобы не приводить в пример вообще всю их прозу), которые трудно или даже нельзя было бы понять, если не напрягать воображение; в буквальном исполнении они совершенно теряют смысл. Вот они:

...выходя… оставлял сапоги в сенях и отправлялся вновь на *собственной подошве.*

…*имел, по обычаю людей своего звания*, крупный нос и губы.

…то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая *привлекательной наружности.*

…по стенам *поднимали ножку балетные снимки.*

…Они говорили мало, *говорить было слишком темно.*

…тяжёлый, словно *всею жизнью наполненный гроб.*

И так далее. Объяснять метафоры никогда нет смысла. Просто над каждым из приведённых отрывков, надо задуматься хотя бы на секунду, сравнить с чем–то своим, вообразить ситуацию.

Сегодня принято считать, что современные дошкольники как раз благодаря телевидению знают больше, чем прежние ученики, одолевшие, скажем, начальный курс; не спорю, это так, но и не совсем так, потому что разглядывать изображение — вовсе не то, что задумываться над фразой. Беда же в том, что кино с его готовыми картинками (и телевидение, естественно, но я опять буду пользоваться общим термином) предъявляет к воображению довольно скромные требования, и зрители постепенно привыкают обходиться почти без оного; им больше не нужно выдумывать своего Кощея, если его портрет уже всем показали на экране (я имею в виду только зрительный ряд фильмов, но не диалоги, которые в принципе могут иметь собственную, отдельную ценность именно как факты литературы). Бывает, что важные мелочи на изображениях пропадают без толку, оттого что глаз попросту не знает, на чём нужно остановиться — на плохо повязанном галстуке, на манерно оттопыренном мизинчике дамы, пьющей чай, на размоченных кусочках бисквита… Авторы фильма, конечно, могут помочь, допустим, наездами, голосом за экраном — но это будет уже нарочито, грубо. Зато в художественных текстах не бывает лишних слов: каждое, если уж написано, что–то значит для писателя в противном случае он бы им пренебрёг. Если оно, например, одевает своего персонажа коричневый костюм, то это уже целая характеристика.

Если угодно, вот развёрнутый пример.

Не знаю, экранизирован ли рассказ Набокова «Весна в Фиальте», но позволю себе представить, как выглядела бы в кино его развязка. Там три персонажа уезжают из города на жёлтой спортивной машине — и разбиваются. В фильме нам, вероятно, мельком показали бы замечательный яркий автомобильчик, а потом — безрассудную гонку по серпантинам, то ли азарт, то ли отчаянье в глазах водителя, стрелку спидометра, дрожащую у невероятной цифры, колесо, скользящее у самой кромки, над пропастью, разорванный, истекающий тормозной жидкостью шланг… А перед всем этим — трое садятся в машину и уезжают,

не более того. Уезжают — но это уже почти финал фильма, — а у зрителя нет дурных предчувствий, он, скорее всего, предвкушает happy end, какую–нибудь голубую дорогу вдаль, с машиной, трогательно, как Чарли Чаплин с тросточкой, уменьшающейся в перспективе.

Но вот как это звучит у Набокова: перед выездом этот жёлтый, похожий на жука «автомобиль стоял ещё неподвижно, гладкий и целый, как яйцо…». Я очень хорошо помню, что, читая рассказ впервые, на этом месте с абсолютной уверенностью почувствовал, что автор непременно разобьёт машину — и с такою уверенностью и читал дальше. Он и разбил.

Подобное предчувствие беды не передать изображением, не внушить средствами кино, при всех его цвете, звуке и стереоскопии. Но одно точное слово писателя — и я уже знал всё наперёд. Только позже, размышляя о прочитанном, я представил происхождение своей догадки: в Начале было яйцо! Машина была жёлтой, как яичный желток, который можно увидеть, лишь разбив скорлупу. Само же яйцо как предмет — символ хрупкости, и у читателя после набоковской строки остаётся неосознанный привкус несоответствия: целый, как яйцо? Оно же тронь — и треснет… Эта мимолётная неправильность и создала предчувствие скорого несчастья, автомобильной катастрофы — ещё не описанной, но уже предъявленной воображением.

Излишне говорить о том, что и Набоков тоже не был очевидцем крушения.

Зато можно говорить о том, что и обыкновенно сцены, в которых автор даёт волю фантазии, как правило, выходят живее и правдивее (это не оговорка) тех, что честно списаны с натуры, если только особенно позаботиться о слоге: стиль, оказывается, чужд фальши. При скрупулёзной отделке фразы как–то само собой получается, что несообразности и ложные утверждения проявляются как дурно написанные места, и добросовестная работа над стилем приводит к изгнанию неправды. И трудно оспорить Жюля Ренара, когда–то определившего: «Плохой стиль — это несовершенство мысли».

То же — и о персонажах прозы. Автор художественного произведения всегда знает, что пережил, что думал, думает и как собирается поступить его вымышленный герой, то есть знает всю правду; кое что потом остаётся про запас в писательской памяти, а кое что заносится на бумагу для читателя; обо всех тонкостях его биографии можно спросить у писателя — и он ответит. Автор же документальной вещи о ком бы он ни писал, никогда не может поручиться за достоверность мыслей или речей своего персонажа; какое бы подлинное письмо он ни

переделал для диалога, всё будет неправдой, хотя бы потому что доверенное частной записке не может быть произнесено вслух.

Давая волю воображению, пишущий человек освобождается и сам, и на ум ему приходит нечто давно припасённое и хорошо обдуманное. Тот же Набоков в размышлениях о Гоголе утверждал, что: «Внешние впечатления не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, как если бы они и в самом деле существовали», а Феллини написал совсем уже прямо: «Чем вернее ты воспроизводишь действительность, тем скорее скатываешься к подделке».

У каждого писателя — свой опыт и свой метод: одни, задумав роман, отправляются в так называемые творческие командировки, чтобы собрать какие–то материалы, а самое малое — хотя бы надышаться подходящим воздухом, другие — просто пытаются поделиться всем, что наболело в душе, что накипело… Однако первым — надобно знать меру.

Здесь я вынужден обратиться к собственному опыту.

Я всегда очень много читал (романы и стихи), благо места моей инженерской службы располагались либо в пригородах Москвы, либо на далёких её окраинах, и долгая дорога бывала необыкновенно удобна для спокойного чтения. Мои коллеги, попутчики, тоже не отрывались в электричках или в служебных автобусах от книг, но большей частью — специальных, или от периодики, но — научно–популярной. Естественно, не чужд был подобных интересов и я — во всяком случае, не пропускал свежих номеров таких журналов, как «Наука и жизнь», «Знание — сила» или «Техника — молодёжи». Однако постепенно у меня стало сгущаться подозрение, что такое чтение мешает моему собственному письму, словно после него в голове скапливается бумажный мусор, который всякий раз надо убирать прежде, чем заняться делом; иногда на уборку помещения уходило всё свободное время. Конечно, я немедленно проделал опыт, и стоило мне на пару месяцев забыть о разного рода занимательных физике и механике, как стихи начали приходить охотнее. Не утруждая себя формулировкой этого феномена, я просто сделал практические выводы, перестав интересоваться просветительской литературой в пользу литературы художественной, тем более, что у меня давно уже (вовремя, в юности) набралась, как теперь бы сказали, изрядная база данных по многим областям знаний, и дальнейшее беспорядочное их накопление становилось пустым делом, оно имело бы смысл лишь если б от этого была возможна отдача — когда б они годились для какой бы то ни было работы.

Недавно я прочёл где–то, что просвещённым следует считать не того человека, который знает всё, а того, кто знает, где взять то, чего он не знает. Собственно, тому же меня научили и в институте (а я кончал труднейший — авиационный): мои однокурсники, смущённые объёмом преподносимых нам знаний, исподволь пришли к выводу, что всего запоминать и не надо, а надо, имея за душой упомянутую выше базу, понимать задачу и при необходимости знать, каким справочником воспользоваться. Смею считать, что я избежал многих неудобств благодаря знанию такого адреса. Что же до бумажного мусора, то он не отвлекал больше, чем я и удовлетворился, не дав себе труда вникнуть в суть явления, как это позже сделал Иосиф Бродский, выведя: «Знаю по своему опыту, что чем меньше информации получает мой мозг, тем сильнее работает воображение». И даже, добавлю, тем ближе и ниже становится порог сочувствия чужой боли.

Воображаемый мир не так уж далёк от нас: с детства все мы видим его существующим параллельно с нашим, реальным. Это мир сказок, а потом — книг, это мир сначала детских, а позже и взрослых выдумок и игр, без которых ничего не сделается на свете. Да, никакое дело не сделается лучшим образом, если работник не увидит в нём хотя бы от звуков игры, а увидев и сработает играючи. Работа же художника или писателя и подавно — игра, от начала до конца; у них это — серьёзно. Это серьёзно и у детей, в игре они учатся жизни, разыгрывая выдуманные роли взрослых. Девочки играют в куклы, воображая, что это — живые люди: куклы ходят друг к другу в гости, пьют чай со сладостями, беседуют за столом о чём–то для себя важном, иногда — ссорятся, всё это понарошку, но так и персонажи романов встречаются друг с другом, иногда — пьют вместе чай, а иногда ссорятся и много чего ещё делают такого, что придумает за них писатель, переживающий в уме всё, что с ними происходит; не обладая воображением, роман не напишешь, но и наоборот: не читая романов, воображение не разовьёшь — такой получается замкнутый, заколдованный по–доброму круг.

И всё–таки: для чего люди читают книги?

Если речь идёт о прикладной литературе, то ответ прост: для получения информации — неважно, из простой любознательности или для использования в работе. Если же говорить о литературе художественной, то многие решат, что — для получения эстетического удовольствия: не могут же романы быть примитивными источниками знания, да и научить жить, дать какие–то рецепты поведения они тоже не могут. И не должны. Правильный ответ может показаться неожиданным: романы и стихи читаются тоже для получения информации, но не фактической (иначе зачем бы по нескольку раз перечитываются любимые книги?), а той, что припасена в неких тайниках умов самих читателей. Иными словами, художественные тексты тоже являются источником информации, возможно, даже более щедрым, нежели документальные, просто мы извлекаем из них не отдельные сведения или числа, а — новые собственные соображения и выдумки, вдруг возникающие при чтении из попутных ассоциаций, воспоминаний, нечаянных сравнений: мысль читателя цепляется за какую–нибудь неожиданную метафору или просто за удачно написанную, точную фразу, или… да за что угодно, за любой намёк и тогда начинает жить самостоятельно, ища продолжения, плодя себе подобных и приводя к догадкам и открытиям, часто даже не имеющим общего с прочитанным текстом — вплоть до мыслей о вечности и о Боге.

В другой раз, при очередном перечитываньи того же романа, читателя может задеть совсем другая метафора, и тогда в его уме образуется иная, нежели раньше, ассоциативная цепочка…

В свете этого становятся нестрашными крамольные, казалось бы, слова Шопенгауэра: «Надо меньше читать и больше думать», — потому что не одни лишь изящные затеи вроде сочинения новелл, но и многие, многие случаи в нашем бытии суть игры воображения. Не дай ему волю, и тогда что последние известия по радио, что бабушкины сказки — всё будут пустые слова. Этак даже к описанию тридевятого царства останешься равнодушным, пока не вообразишь себя — в нём, со всеми приключениями в пути.

Но сумеешь вообразить — и тогда уже не грех затронуть и высокие материи, обратиться к теме вечности, оттого что вечно само настоящее искусство, и оттого, что настоящее искусство создано вымыслом — тут достаточно вспомнить творения классиков. Великих обессмертили отнюдь не документальные работы, вечными оказались лишь произведения, рождённые воображением: не секрет, что реальность не имеет отношения к вечности.

В пользу рифмы

> Не читая стихов, общество опускается до такого уровня речи, при котором становится лёгкой добычей демагога и тирана.
>
> *И. Бродский*

… да и не одной только рифмы, а, пожалуй, и всего традиционного русского стиха.

Былая служба в Союзе вынуждала меня многие недели проводить в горячем Казахстане, где летом не редкость и сорок градусов в тени, и когда подходило отпускное время, уже не хотелось и думать о каких–нибудь черноморских пляжах — нет, я отправлялся в прохладную Прибалтику, в любую из трёх республик. Были и другие причины обращения в эту сторону, но не о них нынче речь.

В одной из трёх столиц меня встречали так: «Неужели ты потратишь целый месяц впустую? Возьми–ка лучше переводы», — и нагружали папкой подстрочников. Её хватало как раз на весь отпуск.

По мне, так лучше было бы переводить рифмованные стихи, это интересней и легче, нежели возиться с верлибрами, но, увы, последние как раз и составляли основную массу местной продукции, что я, в первое время наивно не углубляясь в предмет, объяснял особенностями языка — пока не столкнулся там с поэтом, который и рифмовал отменно, и строго выдерживал размеры (здесь я не называю его имени — не из конспирации, а потому, что и ниже не стану оглашать имён, имея задачу не исследовать отдельные сочинения или оценивать таланты, а — разобраться в тенденции). Мы переводили друг друга, и лёгкость нашего совпадения он объяснял совсем просто: «Вы — педант, и я — педант», а я, сегодня должный снова задуматься об упомянутом пристрастии к верлибрам, мало–помалу пришёл к новому объяснению. Эта, вторая, модель проста, но отражает взгляды многих. «Силлабо–тоническое стихосложение присуще русской поэзии? — считали эти многие прибалты. — Но мы не хотим, чтобы у нас было, как у русских». И если на Западе преобладал верлибр, то они и захотели, и стали писать, «как на Западе». Тогда «русское» и «советское» были для них синонимами.

Можно понять их (да я и понимал), а можно найти в такой переориентации националистический перебор, но суть видится совсем в другом: верлибр, кажется мне, в западных литературах выбран не из–за особенностей национальной психологии, не вследствие исторических событий и т.п. (хотя и то, и другое, и какое–нибудь третье, разумеется, сыграли свою роль), а попросту из–за отсутствия под рукой нужного художественного инструмента. Французы, например, скованы фиксированным ударением на последнем слоге — и как им, например, перевести «Я помню чудное мгновенье…», сохранив музыкальность этой строки? Или даже «Во поле берёзонька стояла… «? И так далее, и так далее. Досадные ограничения можно найти и в других языках. Недаром Набоков, в детстве заговоривший на английском чуть ли не раньше, чем на русском, не стал переводить на свой почти родной английский «Евгения Онегина» рифмованными стихами, а чтобы не потерять ничего пушкинского, ограничился прозаическим переводом с обширнейшими комментариями.

Русским поэтам было бы по меньшей мере неостроумно стараться писать, «как на Западе»: напротив, иностранцы, возможно, с удовольствием писали бы, «как в России» — когда бы могли.

Известно мнение, что поэзия вообще непереводима — это, собственно, аксиома, — и всё–таки во всём мире пытаются переводить стихи со всех языков на все (строго говоря — лишь пересказывать или даже рассказывать о них), другой вопрос — насколько успешно (видимо, здесь можно говорить лишь о формальных результатах: то, что называется поэзией и чему на самом деле нет определения, в результате, конечно, в значительной степени теряется, и перевод стихов не есть перевод поэзии). При этом, на мой взгляд, трудность переводов стихотворных текстов несимметрична: русский язык богат оттенками хотя бы за счёт возможности самой разнообразной, но точной, рифмовки или свободного использования приставок и суффиксов, а в меньшей степени — инверсии, отчего русские стихи переводятся на европейские языки, сразу всеми этими особенностями не располагающие, лишь с большими потерями. Оговорка «на европейские» здесь существенна просто потому, что не будучи ни в какой мере знаком, например, с восточными языками, я не смею говорить даже о восприятии оных на слух: не смею судить. Зато рискую утверждать, что на русский можно адекватно перевести (и точно воспроизвести) стихи — с любого. Из, повторю, европейских.

Речь у нас, однако, не о переводах, а о стихотворцах нового века, не понимающих, как важна для русских стихов музыкальность, и стара-

ющихся избавить себя от труда соблюдать ритм и подыскивать рифму. Может бы, всё дело просто в большей для них лёгкости письма… Один встреченный мною молодой человек, любитель–стихотворец, начитанный и грамотный, в год моего с ним знакомства пытался писать вполне традиционные стихи, проявляя, однако, полное неумение находить сколько–нибудь сносные рифмы, а только — бедные, бледные. Его гибельные старания стать плохим поэтом не пропадали зря, и мне было искренне его жаль. И вдруг юноше повезло: в моду, оттесняя прежние трудоёмкие вещи, требовавшие от художника таланта и мастерства, стали входить небрежные поделки, и никто уже не мог попрекнуть нашего стихотворца неумением. С оглядкой на окружение он стал писать «как все» — с нестрогим ритмом или вовсе без оного, с лёгкой и редкой подрифмовкой, — и скоро начал даже кое–где выступать и печататься в студийных сборниках. Но что за участь он выбрал? Нынешние удачи булькнут и заглохнут, а он, как бы непризнанный, так и пребудет в обиде на всех и вся.

Его более удачливый собрат, когда в общем разговоре прозвучала похвала кому–то третьему, поэту, возразил с жаром: «Но он же пишет традиционные стихи!» — не понимая, что это–то и есть, по меньшей мере, самое замечательное, но трудное, и что ему самому с этим уже не совладать.

Сальвадор Дали по похожему поводу написал: «Сначала выучись рисовать и писать красками, как старые мастера, затем можешь делать что хочешь — все будут тебя уважать». В другом месте то же звучало чуть иначе: научись рисовать лошадь. Справедливое, будто бы, требование, но когда у одного известного художника–абстракциониста спросили; «Виктор, а вы могли бы нарисовать лошадь?» — он ответил коротко: «А зачем?»

В журнале «Дети Ра» однажды промелькнуло такое: «…поэтическое произведение, свободное от бремени силлабо–тонического стиха…». Да такое ли уж это бремя? А может быть, всё–таки — инструмент мастеров?

Мало кто из нынешней литературной молодёжи рвётся обучиться мастерству: теперь многих тонкостей ремесла будто бы можно и не знать. Вот что я нашёл в двадцатилетней давности статье Юрия Милославского о поэте Борисе Чичибабине, который «никакие верлибры, никакие свободные стихи не признавал. Он видел в этом облегчение задачи. Он ценил тех поэтов, в которых, как чётко сформулировал литературовед Б. Эйхенбаум, «мы видим отсутствие этих раздражающих попыток вырваться из будто бы сковывающих свободу цепей искусства, попыток, которые обнаруживают только недостаточ-

ную полноту обладания». Я по–прежнему убеждён, заодно с покойным Чичибабиным, что все эти попытки написать как бы повольнее, попроще, происходят всего–навсего от недостатка поэтических средств. Талант есть, но он недостаточен, чтобы самому себя отковать, заковать в форму, которая и есть искусство». (Но если достаточен, если чрезмерен, то кто же может ограничивать его в поисках? Чухонцев, например, тоже вышел из строгих рамок традиционного стихосложения — и только поднялся на новую ступень. Но то — Чухонцев…).

Результатом массовых новаторских поисков может стать вот что.

Примеров сочинений нового фасона можно привести сколько угодно, начни выбирать — и никогда не остановишься, и поэтому я взял пару стихотворений просто наугад, раскрыв пару толстых журналов и ткнув пальцем в оглавления. Так как анонимные (здесь) авторы обошлись с ритмом вольно, то и я позволил себе не соблюдать исходную графику, а записал тексты подряд, как прозу:

«Боеголовые пацаны — яйца, облупленные на заре цивилизации варваром Оцеолой.

Акцизные марки в кляссерах всех убийц, родственники в пижамах морали, ошпаренной кипятком брачной похоти, влажные жалюзи на загривке Вселенной: кинокомедия ужаса на застиранной простыне мира. Мы играем в ма–джонг, собираем букеты ветров и драконов, а земля зеленеет под нами, как розовый ракитовый куст в тумане».

И второе: «Они приводили в ужас и негодование пенсионеров, наблюдавших за ними сквозь запотевшие стёкла освещённых голыми лампочками кухонных окон, они хохотали и падали в снег, ели его, заедали им глотки кисловатых пузырьков, бросали снежки в знаки, запрещающие проезд и парковку. И потом долго заседали на больших кухнях с круглыми столами или маленьких кухоньках с трёхногими табуретками, отогревались, отшёптывались, перемигивались, запивали всё это чаем, слушали на шуршащих бобинных магнитофонах оригинальные записи людей в блестящих штанах и рубахах с вырезами на груди. Обсуждали услышанное».

Терпеливым читателям можно теперь предложить (нет, не найти в приведённых отрывках следы поэзии), а попросту снова записать эти слова «столбиком», разбив на обычно свойственные стихам строки: интересно, угадает ли кто–нибудь, как тексты выглядели раньше? Результат, думаю, будет неоднозначен.

Можно подумать, что проза отличается от многих нынешних стихов всего лишь ясностью изложения. Тем, что рассказы или романы, даже утопающие в потоке сознания, можно пересказать.

В приведённых двух примерах из текстов исчезло всё, когда–то скреплявшее стих, — ритм, рифма, — и нам теперь самое время поинтересоваться, что же мы теряем, отказываясь от этих двух элементов.

Те, кто доказывает возможность прожить и без рифмы, не преминут напомнить о белом стихе, верном размеру, но пренебрегающем созвучиями. Что ж, им легко пользовались классики. Однако я не забываю одну интересную мысль — увы, не мою, но мною потерянную. Я не помню ни имени автора, ни источника, зато не могу забыть верное наблюдение, суть которого в том, что мы часто вспоминаем какие–то замечательные стихотворные строки и удивляемся: какие гениальные слова! или: какое верное пророчество! И вот что интересно: такие строки всегда принадлежат рифмованным стихам. И никогда — белым.

Мне возразят: язык — это живой организм, он изменяется со временем, будучи всегда в движении. И ещё скажут, что всякому движению присущ свой авангард, ведь кто–то должен разведывать новые пути. Не буду спорить, потому что это верно, по определению, но один умный человек заметил (а повторили — многие, так что и не упомнишь, кто был первым): «Ничто не устаревает так быстро, как авангард».

Очень долго я воспринимал авангардное искусство исключительно со знаком плюс. Ещё бы: в годы моей юности, то есть в хрущёвские годы, оно открыто противоречило занудству соцреализма и его идеологов, а может быть — и чему–то большему. Такое искусство было явлением протестным, а потому и гонимым. Говоря примитивно, то есть приняв навязанную нам сто лет назад отличительную раскраску, в большой красной луже это была свежая белая струя. Однако теперь, на Западе, открылась и обратная картина: в этой светлой струе завелись грязные, опять–таки красные, вкрапления. Абстракционизм революционен, как и прежде, но оттого, что сменились его оппоненты, стала заметна неприятная тенденция: мастер, революционный в своём ремесле, скорее всего, будет таким и в политических пристрастиях; теперь не редкость художники, исповедующие левизну. Но если революционер приходит к авангардному искусству — это одно, а если авангардист проникается революционными идеями — это гораздо, гораздо тревожней. Первое — как бы прогресс, второе — катастрофа.

Всё ж интересно, что если всплески передового искусства и в самом деле скоро старятся и уходят на наших глазах, вытесняемы новорожденьями последующих, то при такой смене обстановки зрителей не оставляет ощущение дежавю: едва образуется когорта новых авторов, приверженных собственной, особенной эстетике (а то и этике), как раздаются их знакомые всем призывы сбросить классиков «с парохода современности»; это слыхано не раз в разные времена, но, слава Богу, классики плывут себе и плывут в прежних каютах.

С ними жива и стихотворная традиция. С ритмом, правда, теперь экспериментируют не так уж редко: наше меняющееся мышление требует и нового ритма (читайте — Бродского), а вот без рифмы всё–таки не обойтись стихи увянут.

Найденная при работе (но не отдельно заготовленная заранее) рифма всегда будто бы немножко сбивает исходную мысль с начатого пути, находя выход, в той или иной мере парадоксальный. Без неё — можно ли парадоксы придумать нарочно? Ведь каждый — находка нечаянная. Каждый — открытие (вот намёк: «И гений, парадоксов друг…»). Иной раз находка неожиданной рифмы меняет всё стихотворение, открывая в нём новую тему, а иной — просто дарит мимолётный образ, метафору, картину. Евтушенко, например, срифмовал «фиакра — фиалка», но не позволил этой находке повернуть всё стихотворение, а только мимолётно оживил изображение парижского дождя единственным мазком: «озябшая фиалка».

Есть в русском языке слова, трудно рифмующиеся с другими: с каждым удаётся составить две–три рифмующиеся пары — и всё. А многие ещё и повторяются несчётно: роза — проза — слёзы — мороза… Вот, уже и Пушкин посмеивался:

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей…
(Читатель ждёт уж рифмы *розы*;
На вот, возьми её скорей!)

Пушкин был в нашем начале, но за прошедшие двести лет износились и стали банальными не только эти рифмы.

Трудно, например, найти рифму к слову «лошадь»: лошадь — площадь — огорошить… И всё? Причём надо ещё подумать, как связать, например, «лошадь» с «огорошить». Вот с «площадью» тут всё ясно, она — из одного сюжета с «лошадью»: последняя выезжает на площадь, куда же ещё? Но это и говорено уже тысячи раз (вот и в прозе не обходится без этой пары: «Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика… О. Бендер»), а новые рифмы, буде найдутся, потянут всё стихотворение, вопреки задумке поэта, к новому смыслу; на первый взгляд далёкие, чужие, они подскажут удивительный выход, какой нарочно не придумать, как ни тужись.

Даже и в детских стихах (но, быть может, там как раз и проще?)

Вот как обыгрывает «лошадиную» рифму Вадим Левин.

Лошадь купила четыре калоши —
Пару хороших и пару поплоше.

Здесь сама «лошадь» даже будто бы и не рифмуется, она же — первое слово в строке, но ведь какой ловкий выстраивается ряд: лошадь, калоши, поплоше… И на этом, на парадоксальной связке лошадь — калоши, держится замечательное детское стихотворение. Но попробуй Левин написать его белым стихом… Трудно представить, как бледно это бы получилось.

Сейчас мне, к сожалению, недоступны черновики поэтов, и нельзя проследить, какие банальные рифмы были отброшены при работе, а какие смелые — остались, повернув первоначальный замысел. Можно только гадать…

Пастернак для той же «лошади» нашёл: «ладоши» — и эту рифму тоже не только не назовёшь точной, но и не назовёшь рифмой. И всё же…

Облачно. Щёлкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

Будто бы и не нужна была лошадь у ледяной воды, а вот пришла — и теперь без неё уже немыслима петербургская речная картинка, и зрителю — читателю — ясно слышится и плеск волны на пристани, и то, как грохочет по камням мостовой повозка — и внезапно звук обрывается на песке!

Конечно, первым классикам было легче: для них всякая рифма была свежей.

А потом все рифмы оказались использованы

Пушкин ещё не брезговал — глагольными, но после него — извините, надо искать что–то новое. С течением времени поиски этого нового требуют с каждым разом всё больших усилий но и приводят ко всё более интересным разрешениям начатых строк или строф — к самым неожиданным поворотам мысли. И тут чем неочевиднее выбор рифмы, тем более интересного поворота мысли — такого, что нарочно не придумаешь, — можно ожидать.

Недаром всеми запомнились и повторятся самыми разными людьми слов Андрея Вознесенского «Стихи не пишутся — случаются, как чувства или же закат…». И в самом деле, стихи часто идут словно впереди воли поэта, у них — свои законы, которых нам не узнать (да и не надобно), и рождаются — вдруг. Их приход может уловить не всякий и

не всегда, ведь для того, чтобы сесть за работу и чтобы вызвать рифмы, чтобы увидеть мир внезапно обострённым зрением, необходима такая неосязаемая вещь, как вдохновение:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман.

Если бы мой настоящий опус был критическим разбором, можно было бы называть конкретные имена тех, кто как раз нарочно придумывает свои вирши, и если бы кто–то спросил, отчего же те придумщики известны как поэты, популярны, ответ был бы прост: довольно часто для выхода в печать или для издания книги у нас годятся уже не художественные, а пробивные способности. Увы.

Я знаю одного такого «конструктора». Его сочинения слишком очевидно придуманны и скучны (оттого что не случились — сами), но на это обращают внимание не все из тех, кому следовало бы обращать, и тогда сам автор, встав из–за письменного стола и направляясь к издателям, превращается в настоящий танк без башни, ползущий напролом, сокрушая и подминая и жалкие плетни, и кирпичные стены. Про него один замечательный русский писатель сказал с удивлением: «Да это же какой–то сгусток агрессивной графомании!»

На графоманов можно смотреть двояко. С одной стороны, это — наши квалифицированные и верные (если исключить неизбежные тут мотивы зависти) читатели. С другой стороны — они пишут и сами, много и плохо, и беда, если — издаются. Кто–то может махнуть на них рукой: пусть, мол, пописывают — всё лучше, чем пить водку, по мне же — лучше пусть пьют: гораздо хуже будет, если их сочинения попадут к неискушённым читателям, а те поверят, будто это и есть образцы литературы и родной речи. Грешно — портить читателей.

Но довольно — о бездарностях.

Предметом литературы может стать что угодно — любое из наблюдаемых действий и любое случайное слово в любой среде. Но для осмысления и записи впечатлений от всего этого среда годится уже не любая; тут у каждого из писателей свои пристрастия или капризы, но большинству необходимо какое–то время, чтобы побыть наедине с самим собой: необходимо уединение. Большинство существующих на свете профессий предполагают непременное общение, развитие связей и т.п., но творческие ремёсла тут стоят особняком. Много раз можно услышать такое: «Кто может быть смотрителем маяка? Только философы

да поэты». Тем можно, мол, сидеть в своей слоновой башне на клочке суши, отрезанном от мира водой, и творить в своё удовольствие. Да, видимо, можно, только нельзя ставить тех и других на одну доску. Они будто бы делают одно дело, однако тут есть неодолимый барьер: в отличие от поэта, философ не может быть пророком.

Часто можно услышать, как иные строки больших поэтов называют пророческими, зато никакие цепочки логических построений философов не могут разрешиться в предвидение так, как в музыке доминантсептаккорд разрешается в тоническое трезвучие: предвидение, не подчиняясь правилам алгебры и логики, не может стать итогом долгого напряжения ума. Учёные могут вычислить, когда погаснет наше Солнце, но будет это так или иначе и будет ли это вообще, знают только поэты.

Предвидение же — случается, «как чувства или же закат», и права была Юнна Мориц, заметив однажды, что поэзия — не работа сознания, а дар речи в момент потери сознания.

И такая речь вряд ли обойдётся без найденных с трудом неожиданных рифм.

СОДЕРЖАНИЕ

Как необычно зренье поутру... 5
Автопортреты: 6
с музой 6
с понятыми 15
берлинские 20
Автопортрет в день рожденья 21
Автопортрет на империале 22
Автопортрет в маске 26
Автопортрет без собаки 27
Автопортрет в оконной раме 28
без музы, но в музее 32
мой, но — другого человека 36
Пейзаж в окне напротив 40
Ночная жизнь Китежа 49
Девушка в витрине 56
Эффект отсутствия 62
Похороны меня 68
Туннель в конце света 72
Темна вода во облацех 83
Разговоры о погоде 115
Младший 157
Провинциальное метро 194
Тема границы в литературе 198
В пользу романа 203
В пользу рифмы 210

Фадин Вадим Иванович

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ

Главный редактор издательства
Игорь Александрович Савкин

Дизайн обложки *И.Н. Граве*
Оригинал-макет *Е.А. Виноградова*
Корректор *Д.Ю. Былинкина*

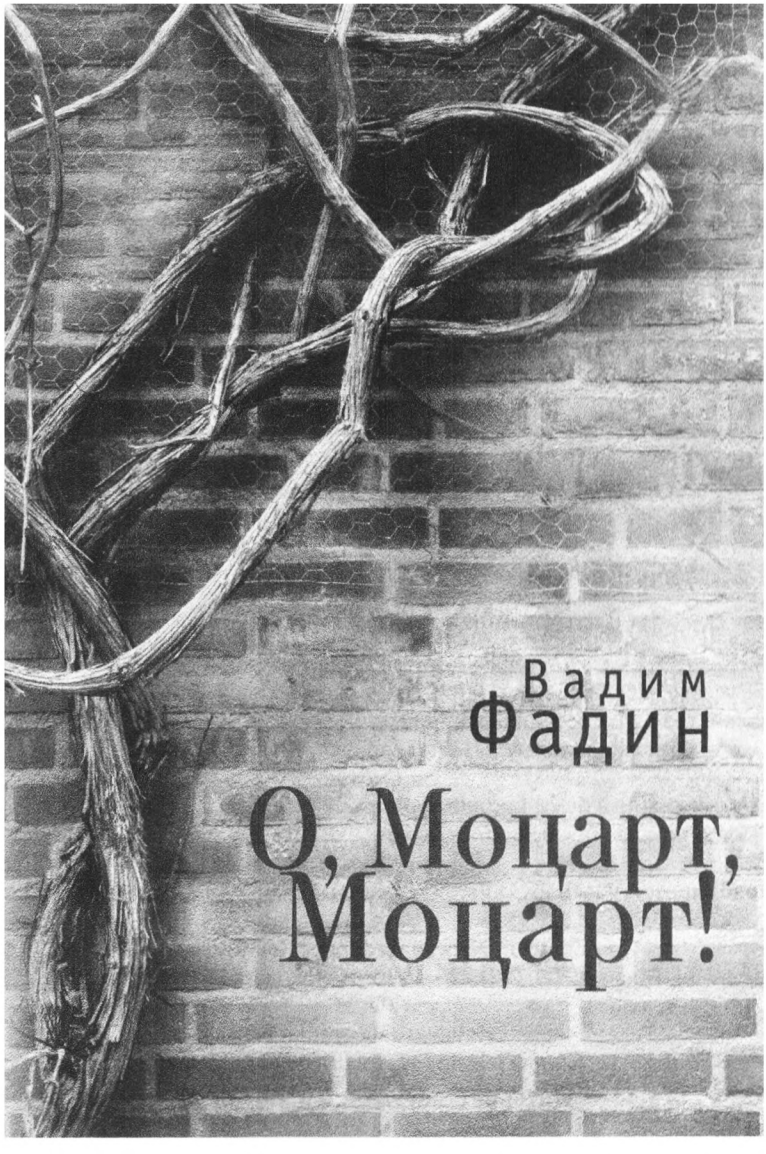
16+

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru
Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99
www.aletheia.spb.ru

Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97
«Фаланстер», М. Гнездниковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
в Киеве:
«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.
Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru
в Минске:
«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by
в Варшаве:
«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Tel. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl
в Риге:
«Intelektuāla grāmata»
Riga, Kr. Barona iela 45/47. Tel. 67315727, info@merion.lv
Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88 1/16. Усл. печ. л. 13,44. Печать офсетная.
Заказ № 126712

В издательстве «Алетейя» вышла в свет книга:



Вадим Фадин, известный русский поэт и романист, родился в Москве в 1936 году.

Давным-давно, ещё в самой середине минувшего века, Павел Антокольский сказал авиационному инженеру Фадину, делавшему первые шаги в литературе: «Вы избрали трудный путь», — слова, означавшие поэтическое признание. Тот и сам не знал, что имеет право на такой выбор и что уже сделал его. Ему было очень тяжело пробиваться в советскую печать, тем не менее сейчас на его счету не только несколько сборников философской лирики, но и шесть книг прозы: три романа, повести, рассказы. «Девочка на шаре» — одиннадцатая его книга.

Вадим Фадин — номинант премий «Русский Букер» и «Русской премии», лауреат премии Марка Алданова (Нью-Йорк).

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги: